

Genre

prose_history

Author Info

Адыл Якубов

Сокровища Улугбека

Роман «Сокровища Улугбека» — о жизни великого мыслителя, ученого XV века Улугбека.

Улугбек Гураган (1394–1449) — правитель тюркской державы Тимуридов, сын Шахруха, внук Тамерлана. Известен как выдающийся астроном и астролог.

Хронологически книга Адыла Якубова как бы продолжает трилогию Бородина, Звезды над Самаркандом. От Тимура к его внукам и правнукам. Но продолжает по-своему: иная манера, иной круг тем, иная действительность.

Эпическое повествование А. Якубова охватывает массу событий, персонажей, сюжетных линий. Это и расследование тайн заговора, и перипетии спасения библиотеки, и превратности любви дервиша Каландара Карнаки к Хуршиде-бану. Столь же разнообразны и интерьеры действия: дворцовые покои и мрачные подземелья тюрьмы, чертоги вельмож и темные улочки окраин. Чередование планов поочередно приближает к нам астронома Али Кушчи и отступника Мухиддина, шах-заде Абдул-Латифа и шейха Низамиддина Хомуша, Каландара Карнаки и кузнеца Тимура. Такая композиция создает многоцветную картину Самарканда, мозаику быта, нравов, обычаев, страстей. Перед нами — последние дни Улугбека. Смутные, скорбные дни назревающего переворота.

Событийная фабула произведения динамична. Участвовавшие мятежи. Измены вельмож, которые еще вчера клялись в своей преданности. Колебания Улугбека между соблазном выставить городское ополчение Самарканда и недоверием к простолюдиям. Ведь вооружить, «поднять чернь — значит еще больше поколебать верность эмиров». И наконец, капитуляция перед взбунтовавшимся — сыном, глумление Абдул-Латифа над поверженным отцом, над священным чувством родства.

Адыл Якубов

Сокровища Улугбека

День вчерашний — день нынешний (Вступительная статья)

Он был Тимуридом. Внуком Железного Хромца, «Потрясателя Вселенной». Но душа его тянулась не к мечу, не к захвату и грабежу чужих земель, не к завоевательным походам, а к знанию.

Его слава — это поражающая современников эрудиция: «В геометрии он был подобен Евклиду, а в астрономии — Птолемею».

Его слава — это блестящая плеяда талантов, работавших рядом с ним, под его покровительством: Кази-заде Руми, Али Кушчи, Мухаммед Хорезми, Гиясуддин Джамшид.

Его слава — это точнейшие астрономические таблицы, составлению которых он отдал десятилетия жизни.

Его слава — это изысканная архитектура медресе, возведенных им тогда в Бухаре и Самарканде; это его обсерватория — лучшая в тогдашнем мире, подлинное чудо инженерного и астрономического расчета.

Они и сейчас величественны, развалины некогда грандиозного сооружения. Глубокая траншея, прорезавшая холм, проложенные по ее дну дуги гигантского секстанта. Вырывающаяся из-под земли, набирающая разгон траектория каменных лент словно бы символизирует дерзость разума, его

порыв в небо. Но траектория насильственно оборвана. И это тоже символ. Зловещее напоминание о ярости невежд, о слепом фанатизме, о ненависти к Улугбеку, повелевшему начертать на дверях бухарского медресе гордые слова: «Стремление к знанию является обязанностью каждого мусульманина и мусульманки».

И нетрудно понять мотивы, которые побудили Адыла Якубова обратиться в романе «Сокровища Улугбека» к этой трагической судьбе и к этой трагической эпохе.

Исторический жанр в узбекской советской прозе сравнительно молод. Но, несмотря на молодость, достижения его значительны. Всесоюзную известность обрел опубликованный еще в 1944 году роман Айбека «Навои». Тогда, в годы войны, писатель обратился к прошлому, чтобы укрепить священное чувство патриотической гордости за свою землю, за свой народ и его культуру. Чувство, ставшее мощным оружием в борьбе с фашистским варварством.

Новая приливная волна исторической романистики относится к шестидесятым — семидесятым годам. Причем поднялась она не только в Узбекистане, но и во всех соседних республиках.

Достаточно сослаться на книги А. Алимжанова, И. Есенберлина, Р. Касымбекова, А. Кекильбаева, С. Санбаева, С. Улугзоды, Р. Хади-заде и других. И вот что хотелось бы сразу подчеркнуть — тематическое богатство, необычайную стилевую многоцветность прозы. Тут и разработка легендарных, притчевых сюжетов, и пространные хроники, и биографические повествования.

Причины этого жанрового расцвета разнообразны: стремление понять истоки трудовой, народной этики, стереть «белые пятна» с карты истории, осмыслить вклад своей нации в мировую культуру. «Я знаю, — писал в одной из статей О. Сулейменов, — что отношения моего народа с другими складывались не только в плане грубых действий, но и в культурном, гуманистическом плане. Эти знания крайне нужны нам, сегодняшним, когда мы не мыслим своей жизни без такого плодотворного сотрудничества, взаимодействия со всеми людьми, населяющими эту землю».

Вот и узбекская историческая проза семидесятых годов активно осваивала этот «культурный, гуманистический план» минувшего, те духовные ценности, в которых воплотился творческий гений народа. Таковы романы «Бабур» П. Кадырова, «Сокровища Улугбека» А. Якубова, «Зодчий» Мирмухсина. Их герои — поэт и полководец Бабур, ученый и правитель Улугбек, создатель бессмертных шедевров архитектуры.

Поэт и полководец, ученый и правитель... В самом сочетании этих слов скрыта некая двойственность, дисгармоничность. Двойственность, предостерегающая от упрощений, от идеализации, взывающая к точности, объективности анализа. И примером такого исследовательского мастерства было для узбекских романистов искусство Сергея Бородина, выдающегося русского прозаика, связавшего свою судьбу со Средней Азией. Его трилогия «Звезды над Самаркандом» воскресила для читателей кровавые времена Тимура, времена разбойничьих захватов и неисчислимых народных бедствий.

Покоряя чужие земли, Тимур не обременял себя соображениями морали, не беспокоился об оправданиях.

Для внука Тимура Улугбека категории добра и зла, истины и заблуждения уже не были призрачными химерами. В одном из эпизодов романа А. Якубова Улугбек размышляет о сентенциях Абхари:

«... что есть истина? — спросили однажды мудреца Абубакира Тахира Абхари, и он ответил:

„Наука“. „А что такое наука?“ — снова спросили его. И он ответил: „Истина“. А я бы добавил еще:

„И добро...“

Хронологически книга Адыла Якубова как бы продолжает трилогию Бородина. От Тимура к его внукам и правнукам. Но продолжает по-своему: иная манера, иной круг тем, иная действительность. В „Сокровищах Улугбека“ нет столь характерной для „Звезд над Самаркандом“ глобальности действия, сопряжения судеб стран и народов. Нет и детальной реконструкции биографии главного героя.

Перед нами — последние дни Улугбека. Смутные, скорбные дни назревающего переворота. Событийная фабула произведения динамична. Участвовавшие мятежи. Измены вельмож, которые еще вчера клялись в своей преданности. Колебания Улугбека между соблазном выставить городское ополчение Самарканда и недоверием к простолюдинам. Ведь вооружить, „поднять чернь — значит еще больше поколебать верность эмиров“. И наконец, капитуляция перед взбунтовавшимся — сыном, глумление Абдул-Латифа над поверженным отцом, над священным чувством родства. Тимур остается в трилогии С. Бородина непобежденным. И все же на склоне лет завоевателя обуревают то ли тревога, то ли недоумение. Ибо время подтачивает фундамент империи, ибо нет веры в потомков. А коли так, то что были его дела? Суета сует.

Такой же гнев на непокорное, неукротенное время испытывает и Великий Повелитель из романа казахского прозаика А. Кекильбаева „Конец легенды“. Утопивший в крови „половину вселенной“, заставивший цепенеть от ужаса народы, он одинок на вершине своего могущества. И в этом одиночестве — признак брэнности усилий, предвестие заката.

И Тимур, и Великий Повелитель — разрушители, а не созидатели. Это люди без будущего, люди, обреченные на проклятия потомков.

Улугбек же видит в грядущем своего союзника, восприемника своих мыслей. Умирая, он с благодарностью думает об учениках: „Коль есть такие ученики, жизнь, право, не прожита напрасно и не пропадут, нет, не пропадут ни сорокалетний труд собирания духовных сокровищ, ни собственные творения“.

И все же в противоположность своему венценосному предку, герой книги А. Якубова уходит из жизни не победителем, а побежденным. Четыре десятилетия трудился султан Улугбек для блага Мавераннахра, „тратил наследство деда не для захвата земель... а благоустраивал города и дороги, возводил медресе и ханаки“. Он старался быть милостивым, великодушным даже к своим противникам. Но вместо благодарности — ропот придворных, злоба духовенства, междоусобицы, смуты.

Однако Улугбек в концепции произведения не только обвинитель, но и обвиняемый. Писатель подходит к этой выдающейся личности с позиций историзма, не сглаживая, не затушевывая ее противоречий. Отсюда сложный нравственно-психологический рисунок образа.

И на страницах повествования не смолкает полемика об Улугбеке, перемежаются голоса одобрения и хулы. А. Якубов пробивается к объективной истине через разнобой субъективных оценок. К его персонажу устремлены взоры признательных учеников и разгневанных святош, самаркандских ремесленников и зарящегося на трон будущего отцеубийцы Абдул-Латифа.

Да, Улугбек навлек на себя ярость невежественных улемов. Однако кузнец Тимур Самарканди тоже упрекает его: „Умный человек, ученый, мудрец, наверное, все звезды пересчитал, говорят, будто все их тайны у знал... А зачем в последние годы войны затеял? Что не поделил, с кем? Войны да поборы

истерзали дехкан...“

Эта полемика вокруг Улугбека переплетается в романе с его собственной исповедью. Отстраненный от власти, он придирчиво анализирует минувшее, перебирает в памяти четки лет. И суд над собой столь же строг, сколь и мучителен. Увы, далеко не все свои деяния может оправдать опальный султан. Разве не от его имени брошенные на усмирение бунта воины грабили кишлаки вокруг Герата? Разве не по его указу облагались непомерными поборами дехкане? И до сих пор печет стыд за случившееся на строительстве обсерватории. Не кто-нибудь, а он сам на глазах у почтенного Кази-заде Руми избил каменщика, взроптавшего на скверную пищу.

Закатные дни Улугбека становятся в концепции романа днями катарсиса. Возвышения души над суетным, ее самоочищения. И не страхом окрашены прощальные раздумья, а мудростью сострадания.

Конечно, Улугбек был сыном своего времени, воспитанным как на скрижалях Тимура, так и на сокровищах культуры восточного ренессанса. Конечно, его гуманизм был ограничен сословными предрассудками, самими обязанностями самодержца. Писатель постоянно учитывает двойственность натуры героя, расхождение интересов правителя и ученого. И „не перед султаном Улугбеком преклонялся“ самый верный его последователь Али Кушчи, а перед просветителем, обогнавшим свою эпоху, перед дерзостью гения, посягнувшего на непререкаемость догм Корана, не убоявшегося обвинений в ереси и богохульстве. Гения, отважно заявившего, что религия рассеивается, как туман, царства разрушаются, но труды ученых остаются на все времена.

Для деспотов типа Тимура смысл жизни отождествлялся с безграничной властью, с безраздельным господством над подданными.

Для Мирзы Улугбека трон уже не был фетишем. И не утраты привилегий опасалась душа — расставания с обсерваторией. Единственная просьба к захватившему престол сыну — об этом: пусть сохранит секстант, „пусть позволит заниматься отцу наукой, только наукой“.

Побежденный как государь, Улугбек побеждает как мыслитель. Приговоренный к смерти, он восходит к бессмертию.

Собственно говоря, мы видим великого ученого только в первой части романа. Вторая же часть озарена памятью о нем. Той самой памятью, которая, сокрушая запреты и клевету, пробивает дорогу в будущее.

Эпическое повествование А. Якубова охватывает массу событий, персонажей, сюжетных линий. Это и расследование тайн заговора, и перипетии спасения библиотеки, и превратности любви дервиша Каландара Карнаки к Хуршиде-бану. Столь же разнообразны и интерьеры действия: дворцовые покои и мрачные подземелья тюрьмы, чертоги вельмож и темные улочки окраин. Чередование планов поочередно приближает к нам астронома Али Кушчи и отступника Мухиддина, шах-заде Абдул-Латифа и шейха Низамиддина Хомуша, Каландара Карнаки и кузнеца Тимура. Такая композиция создает многоцветную картину Самарканда, мозаику быта, нравов, обычаев, страстей. Правда, писателю не всегда удается свести разветвленные сюжетные ходы к общему философскому знаменателю, выдержать тональность, заданную присутствием мирзы Улугбека. И тогда возникают досадные подмены: напряжение интеллектуального, нравственного анализа уступает место напряжению занимательной интриги, проникновение во внутренний мир личности — информационному описанию. Явно бесплотна, например, фигура кузнеца Тимура, призванного

олицетворять глас народа.

Подлинный же успех сопутствует художнику там, где он верен своей исследовательской миссии, где он бережно чуток к реальности исторической хроники, к специфике тогдашнего противоборства Света и тьмы.

Книга А. Якубова приблизила к нам далекую и грозную эпоху Тимуридов, обозначила нерасторжимые связи между прошлым и настоящим, преемственность гуманистических традиций. В узбекской исторической прозе это социально-аналитическое полотно по праву занимает место рядом с таким выдающимся творением, как роман Айбека „Навои“.

Между тем обращение писателя к „преданьям старины глубокой“ было в общем-то неожиданным. Слишком уж прочно его имя ассоциировалось с проблемами современности. На протяжении двух десятков лет.

Внешне писательская манера не слишком изменилась: то же чередование ракурсов, проблем, характеров. Все та же изобретательность в разработке интриги. И тем не менее трансформация художественного почерка очевидна. Только не внешняя, а внутренняя, глубинная.

Л. Теракопян

Часть первая

1

Было за полночь, и в обсерватории стояла гулкая тишина.

Али Кушчи, как обычно, еще с вечера занял свое место для наблюдений за перемещениями светил. Но на сей раз он не провел ночь в любимой напряженно-спокойной работе: какое-то недомогание томило его. Мавляна[1] отложил в сторону астрономические приборы, привстал в кресле, и с этим его движением совпал неясный шум на верхнем ярусе обсерватории. Послышались чьи-то шаги. Они не были похожи на мягкую, размеренно чинную поступь талибов[2], студентов медресе, юношей, чающих изучить науки о звездах, а скорее напоминали бесцеремонный шаг воинов — нукеров[3]. Али Кушчи, подняв голову, остановил взгляд на маленькой, чуть более окна, двери, что пробита была наверху, у спуска к секстанту.

Дверца распахнулась, резкий стук нарушил тишину, и в помещение, залитое чернильной мглой, вступили два нукера с горящими факелами в руках. Хриплый голос повелительно произнес:

— Мавляна Али Кушчи! Великий султан Мирза Улугбек Гураган высочайше соизволил приказать, чтобы вы поспешили к нему в Голубой дворец!

Али Кушчи, приставив ладонь ребром к надбровью, силился разглядеть бородатые лица нукеров, но без успеха: слишком высоко над головами они держали факелы.

— Повремените немного, — попросил Али Кушчи. — Мне нужно сложить приборы.

— Простите, мавляна, но приказ велит поспешать. Кони ждут у ворот.

И нукеры, простучав подковками сапог по мраморным плитам, удалились. Отблеск их факелов на мгновение осветил позолоту стен, тут же исчез, и еще темнее стало в обсерватории. Только крупные белые звезды можно было различить через отверстие в потолке. Свет их проникал сюда, в обсерваторию, и падал на секстант, установленный внизу, на эту открытую для устода[4] Улугбека книгу, читая которую он разгадывал тайны движения далеких небесных светил.

Шагирд[5] Улугбека Али Кушчи привык не торопиться в случаях важных и требующих душевной сосредоточенности; потому и теперь, зажав в руке короткую клиновидную бородку, он постоял

минуту-другую, глядя на темный лоскут неба над головой.

Нукеры нетерпеливы, хотя и почтительны. Такими нередко бывают посланцы беды. Но что могло случиться в Кок-сараяе — Голубом дворце именно сейчас, глубокой ночью?

Позавчера в предрассветную рань повелитель сам пришел в обсерваторию. Он не вычислял, не писал, не диктовал. Сел в любимое кресло, накрытое тигровой шкурой, и долго молча всматривался в темно-синюю бездну, полную крупных белых звезд. Читал судьбу.

Али Кушчи знал, что в нынешнем году, как и в год рождения Тимура Сахибкирана, надо ждать близкого противостояния владыки неба Юпитера и Венеры. Внук Тимура Улугбек, обеспокоенный треволнениями государственными, связывал с этим противостоянием какие-то свои надежды. Но чего он мог ожидать от судьбы, как видно, не благосклонной к нему?

Два года назад из далекого Герата пришла скорбная весть: умер отец Улугбека, могучий Шахрух, Шахрух-счастливец, как его называли, владыка, обогнавший в удаче и богатстве многих других наследников Тимура, а тем паче мятежников из некогда покоренных Сахибкираном племен и династий, — пришла эта весть в Самарканд, и вот уже два года не рассеиваются черные тучи зла и неурядиц над Мавераннахром и Хорасаном. Немало было тех, кто рвался к Тимурову престолу; не раз Шахруху приходилось помогать сыну утверждаться вновь и вновь над Самаркандом и всем Мавераннахром или отбиваться от бунтовщиков вассалов, от ферганцев и туркмен, от моголистанцев и кочевых узбеков, и вот, когда наконец выяснилось, что сабля устода острее иных и в государстве, можно было думать, установилось спокойствие, столь необходимое и для торговли, и для занятий астрономией и медициной, и для сочинения стихов и музыки, тогда-то и поднял оружие наследник Улугбека, собственный его сын Абдул-Латиф. С годами Улугбек становился все менее склонным к воинским утехам, но в начале месяца раджаб[6] пришлось ему собрать войско и спешно выступить к Джейхуну[7]. Однако смута и заговор, вспыхнувшие в столице в его отсутствие, заставили повелителя вернуться в Самарканд. Несколько дней как он здесь, а все ходят по городу подлые, сеющие страх слухи, будто конница мятежника Абдул-Латифа преодолела бешеную реку и подошла уже к Кешу[8].

Кто знает, может, так оно и есть, хотя досточтимый устод третьего дня в обсерватории не сказал о том ни слова. Устод Улугбек долго сидел тогда, сидел и молчал, углубленный в свои думы, а потом, устало ступая по мраморной лестнице, поднялся на второй ярус в книгохранилище. Медленно и рассеянно, словно в забытии, обозревал в тот раз Улугбек бесчисленные книги, уложенные на полках от пола до потолка, множество редких и редчайших рукописей, собранных им здесь за долгие десятилетия управления Самаркандом. Устод, видно, вспомнил, стоя в библиотеке, покойного наставника своего Салахиддина Казизаде Руми, перелистал его «Математику», после чего, тяжело опустив голову, все также молча и тихо направился к выходу.

Досточтимый учитель, да смилостивится над ним всевышний, приходил попрощаться с обсерваторией, любимым детищем, созданием своим, — вот что понял тогда Али Кушчи и вот что последние два дня отзывалось в груди щемящей болью, не давая работать. Печальное лицо устода так и стояло с тех пор перед глазами Али Кушчи; несколько раз мавляна порывался пойти в Кок-сарай, но сделать это без приглашения не хватало духу. Теперь же сам устод повелел явиться ему, Али Кушчи, в Голубой дворец...

Али Кушчи намотал поверх темной бархатной тюбетейки чалму мударрисов, преподавателей

медресе, надел парчовый жилет, поверху набросил на плечи белый чекмень[9] из верблюжьей шерсти. Мысленно успокаивая себя, стал подниматься по крутым каменным ступеням...

Небо блестело, словно хорошо протертый темно-синий фарфор, перемигивались звезды, но месяц шагбан[10] уже вступил в свои права. Было холодно, с гор порывисто дул ветер, деревья шумели, будто река на перекатах; старые тутовники и крепкие чинары скрипели, жаловались на приход осени. Али Кушчи вышел во двор обсерватории.

У ворот стояли, дожидаясь Али Кушчи, воины с лошадьми. Один из них подвел нетерпеливо всхрапывающего коня и взял ученого под руку, чтобы помочь взобраться на скакуна. Но Али Кушчи сам нашел в темноте стремя, удержал норовистого коня, легко вскочил в седло: недаром мавляна носил имя Кушчи, что значит — ловчий-соколятник, и не раз на пышных охотничьих гонах султана мчался он на ретивом за добычей.

Вскоре цокот копыт раздался в ночи; один нукер поехал вперед, другой рядом с Али Кушчи. Так они пересекли речку Сиаб, поднялись на древние холмы Афрасиаба. Слева от них смутно замаячили высокие купола Шахи-Зинда, средоточия усыпальниц владык. Ночь была без луны, но лазурь куполов отражала свет звезд и разливала вокруг себя голубое мерцание. Откуда-то с кладбища, видимо из усыпальницы святого Кусамы ибн-Аббаса, догадался мавляна, донеслось до всадников унылораспевное чтение Корана; голос был полон такой печали, что казалось, будто идет он из иного, потустороннего мира.

И в том мире кто-то стенал, и там кто-то жаловался на судьбу.

Все тут чудилось жутковатым, таинственным.

Впрочем, недолго так чудилось... Чем ближе к соборной мечети и к Регистану[11], тем чаще попадались воины у костров — по десятку вокруг каждого костра. Нукер впереди словно расчищал путь перед Али Кушчи. А выехав на Регистан, они увидели, что и вся эта огромная площадь полна воинов. Со стороны медресе Мирзы Улугбека — о, истинное украшение славного Самарканда! — ученому послышалось сквозь приглушенный шум человеческих голосов и звяканье оружия мрачное, самозабвенное пение — то дервиши[12] из ханаки[13], что расположились напротив величественного медресе, начали свое раденье:

О аллах, о всемогущий,

О создатель наш аллах!

Пение это будто не бога прославляло, а угрожало кому-то: может, так казалось потому, что над городом нависла опасность.

Али Кушчи и нукеры миновали Регистан и углубились в узкие улочки, образованные длинными рядами лавчонок под навесами. Выехали к Кок-сараю. Высоченные зубчатые стены высились в ночи, как горы. Окруженный рвом дворец был похож на крепость, но Али Кушчи, глядя на купола за стеной, мрачные и черные, опять вспомнил об огромном кладбище, об усыпальницах владык Тимурова корня.

Во дворце — ни единого огонька. Ни один костер не горел у ворот.

Перед самым дворцом, в темноте, что хоть глаз коли, всадников остановила стража. В каменных фонарях чуть теплился огонь; латы слегка серебрились, и щиты были словно не совсем затененные зеркала; робкий свет порою выхватывал из тьмы наконечники длинных копий.

Прибывшие прошли первый ряд стражи, приблизились к громадным воротам, тут им снова

преградили путь охранники с обнаженными кривыми саблями в руках. Нукер показал свернутую трубочкой грамоту, гостей пропустили в дарваза-хану, предвратное помещение для караульных. Звон — тяжелых цепей и трудный скрип двустворчатых железных дверей — и перед ними проход во дворец, а на пороге знакомый привратник с таким же, как у стражников, фонарем.

Али Кушчи соскочил с коня. Нукер принял поводья. Привратник склонился в поклоне, осветил фонарем, пропустил ученого вперед.

Изнутри огромный двор слабо, но освещался. В мерцании огоньков открывались стены с нишами, ползли куда-то вверх высокие башни, в которых таились, как о том знал Али Кушчи, пушки и метательные орудия; налево виднелись приземистые, будто вбитые в землю, строения канцелярии, за ними огорожены были домики гарема, а сам дворец поблескивал золочеными куполами в правой стороне двора. «Угрюмо, как в Шахи-Зинда», — подумалось снова... И тихо было вокруг, лишь откуда-то из-под земли доносился неясный гул: видно, в подземельях работали оружейники. Привратник миновал мраморный водоем, окруженный кольцом душистых елей, и подошел к высокому с двумя массивными овальными башнями по бокам portalу главного здания. Стражники, что стояли по обеим сторонам входа, расторопно открыли деревянные резные двери, обитые блестящими медными полосами.

Узкий полутемный коридор вел в просторную, ярко освещенную комнату с мраморной лестницей в левом углу, что соединяла нижний и верхний этажи дворца.

Здесь их встретил сарайбон — дворецкий, неразговорчивый, замкнутый человек. Жестом пригласил ученого следовать за собой.

Зала на втором этаже тоже была пуста. Сарайбон, пройдя к двери напротив, скрылся в следующей зале — там обычно повелитель принимал гостей и устраивал советы. Из-за двери, на миг приоткрывшейся, до Али Кушчи донесся глуховатый ‘ голос устода: видно, Улугбек был раздражен и потому необычно резок. Но сарайбон плотно прикрыл дверь за собою, и голос исчез.

Али Кушчи не раз бывал в этой зале.

Тонкие языки пламени множества свечей, подобранных по размеру и толщине одна к одной, ярко вспыхивали и колыхались, отражаясь в золотом ободке люстры. По всем четырем стенам были развешаны ковры ширазской работы, а поверх них охотничьи трофеи и воинские доспехи повелителя... Над аркой небольшого оконца, что напротив входа, чуть выше украшенной камнями кольчуги, разветвились огромные — нехватишь руками — рога архара. Гордость устода! Он сам повалил этого архара во время осенней охоты в Гиссарских горах, и по его приказу могучие рога украсили изумрудами... А рядом над красным сафьяновым колчаном, полным длинных гибких стрел, распялена по стене тигровая шкура — добыча с берегов Джейхуна, когда повелитель возвращался домой после трудной хорасанской войны.

Тогда Улугбек, устав от тяжелого и совсем не победоносного похода, послал в Самарканд за Али Кушчи особого гонца. Приезд ученика к учителю оказался вдвойне счастливым. Не только беседами наслаждался устод. Во время охоты случилось так, что выскочил внезапно из густых камышовых зарослей на берегу вот этот тигр и кинулся на Улугбека. Али Кушчи, шедший неподалеку от султана в цепи охотников с луком наготове, первым опомнился и первым успел пустить стрелу.

Непостижимое везенье, благосклонность судьбы! Стрела угодила точно в правый глаз зверя, яд подействовал мгновенно, и тигр, подпрыгнув высоко вверх, с ревом пал прямо к ногам устода. Не раз

потом при сановниках Улугбек называл Али Кушчи своим спасителем. Кому ведомо зачем — может, для того, чтобы оправдать свою милость к нему, дружбу с ним? Чтобы отвести зависть придворных от неродовитого мавляны?

Али Кушчи грустно усмехнулся. Вспомнилось, как некогда впервые переступил он по милости устода порог Кок-сарая: разволновался тогда столь сильно, что шагу не мог ступить дальше мраморного водоема во дворе. От робости, от священного трепета, как эту робость называют, у него колени дрожали, стоило только подумать, что здесь, в этих раззолоченных палатах, жил, вынашивал свои тайные мирозавоевательные замыслы сам Тимур Гураган, султан Сахибкиран, велевший именовать себя не султаном, а просто военачальником-эмиром. А ныне?.. Нет уже Тимура, потрясателя вселенной. И нет больше страха в душе Али Кушчи... Вот он снова в этом дворце дворцов, в чертогах того, пред кем трепетало полмира, в сердце же мавляны совсем иное чувство — горькая, щемящая боль. Нет, не оттого, что хиреет величественный Голубой дворец, что его не украшают военные трофеи. Вовсе нет. Сердце Али Кушчи тревожится за устода, над головой которого, совсем уже седой, поднялись черные тучи междоусобицы.

Отчего ополчилась судьба на Мирзу Улугбека? За что она мстит ему?.. Знает об этом Али Кушчи, знает, хотя боится сказать вслух... Устод сдернул покров тайны с небесных светил, открыл новые звезды, постигнул мудрое устройство вселенной, удивил мир своими познаниями, но не понял того, что давно уже понял он, смиренный мавляна Али Кушчи. Выше многого-многого в жизни поставил устод разум и не понял, однако, сколь суетна борьба за власть, сколь ничтожен смысл обладания тронном, да простятся такие мысли милостивым и всемогущим! Конечно, мысли эти еретические в глазах невежд, в глазах тех, кому не дано вкусить тяжких забот и светлых радостей разума, но мысли эти справедливы и праведны, ибо аллаху угоден вовсе не отказ от дерзости познания, не страх перед неведомым, а, напротив, именно дерзость и преодоление страха. Бесстрашен устод, истинно кладезь познаний, тот, кому, словно пять пальцев собственной руки, ясна история народов, династий, удачливых и неудачливых завоевателей... И при такой-то ясности ума не понять, что власть, подобно ветреной красавице, не остается верной до конца ни одному властелину, сколь бы удачлив, силен или страшен он поначалу ни был?.. Но, может быть, повелитель, да будет милостива к нему судьба, не захотел понять этого? Или, понимая, не нашел в себе сил отринуть соблазны власти, почести и радости трона?.. О, если бы он отдал себя, всего себя, весь свой пытливый ум, все дарования свои Науке, свет которой только и озаряет, только и возвеличивает само имя Человека! Почему так не случилось? Почему?

Двери распахнулись; дребезжащий дискант шейх-уль-ислама[14] Бурханиддина долетел до ушей мавляны, прервав раздумья.

— Нет бога, кроме аллаха, а султаны, правители наши, его тени на земле. Повиновение законному повелителю — первейший долг подданных!

Слова верховного законника перекрыла разноголосица, но тут же и смолкла, знакомый властный голос произнес глухо, но внятно:

— Довольно споров! Слушайте приказ, повинуйтесь ему... Эмир Султаншах Барлас! Вместе с передовыми отрядами отправляйся в путь немедленно!.. Эмир Султан Джандар! С основной частью конницы выезжай следом... Если аллах позволит, встретимся между Самаркандом и Кешем на перевале Даван... За участие в совете благодарю. Меджлис[15] окончен!

Из покоев повелителя первым вышел Мираншах, даруга — градоначальник Самарканда. За ним теснились эмиры и вельможи в богатых красных, зеленых, синих халатах, в темных бобровых шапках. Лица у всех придворных хмурые. Мираншах на ходу одернул подпоясанный широким кушаком златотканый халат, чуть задержался, поправил пояс и саблю с золотой рукояткой, глянул исподлобья в угол на Али Кушчи и отвернулся. Еще раз поправил оружие. Полное круглое лицо его скривилось, но, ничего не сказав, Мираншах быстро пересек залу, и слышно стало, как он нарочито загромыхал по мраморной лестнице. Могучий телом, жгуче-черный бородач, любимец и ценитель женщин, эмир Джандар, придерживая кривую саблю, заспешил за Мираншахом.

Подобно этим вельможам ни один из следующих не ответил на вежливый поклон Али Кушчи. Лишь шейх-уль-ислам Бурха-ниддин протянул в сторону мавляны холено-белую, раскрытую, словно развернутый свиток, ладонь, то ли приветствуя таким странным жестом человека в углу, то ли просто распутывая нитку янтарных четок, которой обвита была рука законника.

Шейх-уль-ислам покинул залу последним.

И снова установилась тишина.

И в этой зале, и в соседней. И во всем огромном ночном дворце.

Может, досточтимый устод забыл, что вызвал Али Кушчи? Ведь столько трудных забот пало на его плечи!..

Но тут тихо приоткрылась резная дверь и показался Улугбек.

2

Вместо златотканого халата, обычно надеваемого для важных заседаний, на Улугбеке был коричневый простой суконный чекмень; голову покрывала темная шапочка, сшитая из трех кусков бархата (ее он любил носить в медресе и в обсерватории); широкие голенища сапог были чуть вывернуты, виднелся беличий мех подкладки. Улугбек стал у порога, нашел глазами Али Кушчи. Во всем облике Улугбека — в его высокой, начинающей полнеть фигуре, в смуглом, медного отлива, узком лице, в прищуренном взгляде из-под густых белых бровей — была и затаенная сила, притягивающая к себе, и какая-то скрытая, ранее не известная Али Кушчи неуверенность.

Приложив руки к груди, ученик приблизился к учителю и почтительно склонил перед ним голову. Но Мирза Улугбек приостановил его поклон, обнял за плечи и повел к высокоспинным, покрытым шелковой тканью креслам, расставленным в правом углу залы.

— Пойдем побеседуем, сын мой...

Улугбек нередко называл своего шагирда сыном. Но сегодня и в голосе наставника, и в том, как мягко приобнял он Али Кушчи, чудилась некая особенная задушевность. Она — спутник скорби, подумал мавляна.

Султан хлопнул в ладоши. Снизу простучали сапоги, и перед ними возник дворецкий.

— Бакаулы[16] не спят?

— Они всегда к вашим услугам...

— Кушаний и вина!

В ожидании яств устод сидел молча, чуть склонив к плечу голову и полузакрыв глаза. Узкое лицо его с выступающими скулами казалось худым и изможденным, на лбу и у губ сгустились морщины, в недвижных пальцах рук, брошенных на колени, чувствовалась усталость.

Али Кушчи хотел сказать что-то утешительное, но не мог найти слов. Улугбек же вдруг произнес

тихо, будто самому себе:

— Сегодня во сне... я видел пира[17].

Перед глазами Али Кушчи предстал далекий весенний день.

На мраморном помосте во дворе медресе Улугбека в тени густой листвы чинар были разостланы ковры, ярко цветные в солнечных лучах. Талибы нарядились в лучшие халаты, они в волнении торжественном: сегодня встреча с мавляной Салахиддином Кази-заде Руми, им предстоит послушать великие истины непосредственно из благословенных уст знаменитого мудреца!.. Али Кушчи уже тогда был много наслышан о мавляне, да и читывал трактаты высокочтимого мудреца, и, надо сказать, трактаты сии, посвященные таинствам математическим, были таковы, что истинно стоило преклоняться перед тем, кто их написал, и не считать преувеличением восторженные рассказы об этом «Платоне нашего времени». В воображении рисовались величественная и горделивая фигура старца, ясное чело святого.

На самом деле Али Кушчи увидел щедушного старика с трогательно легким ореолом волос над лбом и редкой бородкой клинышком. Белыми, как снег, были и брови старика, и ресницы, и его шапочка конусом, вроде кулоха[18], сшитая из трех кусков ткани. Даже чекмень на нем был белым-белым.

В тот весенний день мавляна Салахиддин Кази-заде Руми поцеловал Али Кушчи, а Мирза Улугбек впервые милостиво пригласил его к себе в Кок-сарай.

О, сколько лет пролетело, сколько воды утекло с того дня, а стоит Али Кушчи закрыть глаза, как возникает перед ним ласковый старик, мудрец, да не исчезнет светлая память о нем! И снова чувствует Али Кушчи кожей лица своего прикосновение губ и щекотание шелковистой белой бородки...

Улугбек покачал головой, усмехнулся краешком губ.

— Во сне... покойный пожурил меня... Сказал, что я забросил науку ради неверной прелести власти, ради блеска трона... Желая владеть престолом, погубил, мол, свой дар!

Али Кушчи весь встрепенулся, не удержал восклицания:

— О, всемогущий!..

Улугбек быстро глянул на него, в глубоко посаженных глазах устода промелькнул вопрос. Чувствуя нарастающую неловкость, Али Кушчи заговорил:

— Пусть устод простит меня, но полчаса назад здесь, в этой зале, то же самое подумал и ваш шагирд...

Улугбек сидел, чуть сгорбясь, не касаясь спинки кресла. Молчал. Постукивал по расписному низкому столику — хантахте алмазом золотого перстня. Белые мохнатые брови султана сошлись к переносице, и между ними пролегла глубокая складка. Взгляд был устремлен в одну точку.

Али Кушчи прервал свое признание: как физическая боль, его пронзило раскаяние: вместо утешения он еще больше ранил устода произнесенными словами.

— Мавляна Али, — заговорил Улугбек, не отрывая глаз от какой-то лишь ему ведомой точки в пространстве. — Раб божий, недостойный милости всевышнего, я почти сорок лет правлю Мавераннахром... И вот ты думаешь, что труды мои, затраченные на обеспечение спокойствия в стране, на благоустройство государственное, на улучшение хозяйства и приобретения в казну, напрасны и недостойны... Неужели и ты так думаешь?..

Скорбно-красноречивая, торжественная речь Улугбека неожиданно прервалась.

Да как он, Али Кушчи, посмел беречь душевную рану устода в столь трудный для него час? Али Кушчи сказал:

— Заслуги ваши, досточтимый устод и повелитель, и на попроще державном и в научных занятиях столь велики, что никто не может в них усомниться!

Улугбек нетерпеливо взмахнул рукой.

— Не надо, я все понимаю, Али... Но ход событий таков, что... ученые мужи, вы не понимаете меня, Али! Не оттого, что разум таких, как ты, меньше разума шахов и султанов, нет! Всевышний щедр: разум — лучший его дар человеку — отдан поэтам и ученым. Но одарил их он еще и такой чистотой, такой наивностью, что вы не в силах понять ни с чем не сравнимую жизнь тех, кто... обречен... править.

Улугбек словно задохнулся. Потрогал шею под бородой. Снова взмахнул рукой.

— Ты не подумай, будто боюсь я расстаться с престолом. Другого боюсь. Того, что все, накопленное мною за сорок лет — медресе, обсерватория, главное сокровище мое — библиотека, наконец, произведения мои, что писал, не замечая ночей, — все это пойдет прахом, будет пущено на ветер наследниками. — Последнее слово Улугбек произнес со злой горечью. — И еще одного боюсь... забвения боюсь. Того, что грядущие поколения будут гнушаться именем Мирзы Улугбека, внесут его в ряд прочих имен бесславных правителей... Кто будет знать, что Мирза Улугбек стремился разгадать тайны вселенной? Узнают ли про меня правду, мавляна Али?

С болью и состраданием ответил Али Кушчи:

— Досточтимый учитель! Верю, верю в то, что потомки будут знать правду, будут судить о вас в согласии с нею... И в чьих же суждениях правда, если не в суждениях людей науки, устод? А разве забудут они ваши заслуги? Разве может превратиться в пыль каталог звезд?.. Или не разум людской только и вечен в мире?!

Улугбек грустно улыбнулся.

— Ты уверен в этом?.. Ну, пусть будет так. Благодарю, Али.

В эту минуту послышались шаги, в зале показался дворецкий, а за ним толстяк бакаул — мастер-шашлычник, знакомый Али Кушчи по охотничьим пирам повелителя. Шашлычник нес серебряный поднос, на котором стояли ажурные кувшинчики и тонкие, точно из шелухи, китайские пиалы. Такие же серебряные подносы внесли затем помощники бакаула, и на каждом подносе шипел горячий шашлык, дразня острым запахом.

Улугбек последил взглядом за тем, как бакаулы расставляли кушанья, как потом, пятась и кланяясь, выходили из залы. За ними собрался было и дворецкий, но султан остановил его вопросом:

— За мавляной Мухиддином послал гонца?

— Гонцы уже вернулись, повелитель.

— И что же?

— Мавляна Мухиддин, оказывается, тяжело занедужил, повелитель.

— Вот как!.. Ну, ладно, ступай... Я сам разолью вино.

Дворецкий вышел, тоже пятась, прижав руки к груди.

— Гм... Тяжко занедужил... — повторил Улугбек и насупился. — Ты знал об этом что-нибудь, Али?

— Нет, досточтимый устод.

— Отчего же?

Али Кушчи смутился.

— Возможно, вы слышали, устод, о том, что этой весной я сватал дочь мавляны Мухиддина. За молодого мударриса по имени Каландар Карнаки. Но мавляна, а особенно отец его, хаджи[19] Салахиддин... тот самый, известный в Самарканде ювелир... отказали. С обидными словами меня выпроводили... С тех пор я не бывал в том доме... Об остальном вы знаете, устод.

Улугбек молча следил за игрой золотистого вина в хрустальном бокале... Да, он знал «остальное»... Вскоре после сватовства, о котором рассказал Али Кушчи, мавляна Мухиддин отдал свою дочь за сына эмира Ибрагим-бека-тархана[20]. На той богатой свадьбе был сам Мирза Улугбек. Но, когда Улугбек повел потом войско против Абдул-Латифа, оставшийся в столице младший сын, Абдул-Азиз, придрался к чему-то и казнил ни за что ни про что эмирского сына, а молодую жену, дочь Мухиддина, взял в свой гарем. К произволу этого Улугбекова сына в городе привыкли, но такой дерзко незаконный поступок вызвал среди вельмож и богачей Самарканда взрыв недовольства, да такого, что султан-отец должен был, оставив войско, с берегов Джейхуна немедленно вернуться в город. В первый же день после возвращения Улугбек пожелал увидеть Хуршиду-бану — так звали дочь мавляны Мухиддина.

— Дочь моя, — сказал Улугбек, взволнованный красотой и глубокой печалью пленницы. — Что случилось, то случилось. Я наказал сына за бесчестье, тебе нанесенное. А теперь... твоя воля — хочешь, возвращайся домой, хочешь... останься.

Хуршида-бану выбрала первое, а Улугбек хотел надеяться на второе. Ибо красота всеильна, и, может быть, в преклонные годы человек ценит ее больше, нежели в годы юности.

Эта встреча взволновала Улугбека потому еще, что он узнал о красавице раньше, до ее свадьбы, за год до последующих печальных событий. Как-то мавляна Мухиддин, ученик Улугбека, сказал, что его дочь весьма искусна в каллиграфии. «Если пожелаете, устод, она перепишет вам ваши труды...»

Улугбек не очень поверил в эти слова, но все же отдал Мухиддину один из своих трактатов по истории. А спустя месяц — изумился, увидев его переписанным на тонкой шелковистой бумаге почерком, который и в самом деле был преисполнен редкой красоты...

Отчетливо, как бывает во сне, увидел сейчас мысленно Улугбек занавеску из прозрачного розового шелка, за которой, низко опустив голову, стояла пленница Абдул-Азиза, увидел водопад ее волос почти до ковра, руки ее, изящно-длинные пальцы с покрашенными хной ногтями, — руками она закрывала лицо от стыда и горя.

Словно пробуждаясь, Улугбек поднял голову и взглянул на Али Кушчи.

— Аллах свидетель, я не виновен в том зле... Говорили, правда, что я слишком легко наказал Абдул-Азиза, снизошел к его раскаянию, мольбам. Но что я мог сделать? Убить его? Как отрезать свой палец? Абдул-Азиз — родной сын, моя кровь.

— Понимаю, учитель... — кивнул Али Кушчи, а сам невольно подумал: «А Абдул-Латиф? Тоже ведь родной сын, а поднял меч на отца... Его тоже простить?»

— А что стало с тем поэтом, с Каландаром Карнаки? Я слышал, будто он оставил медресе, избрал удел дервиша. Это правда?

— К сожалению, правда, учитель. Каландар — человек редких способностей и смелых решений. После свадьбы дочери мавляны Мухиддина он, охваченный горем и яростью, надел рубище, на

голову — кулох. Ныне, говорят, ходит по улицам, нищенствует, участвует в дервишеских радениях... во имя аллаха.

Улугбек сжал губы. Желто-золотистое вино, разлитое в бокалы, оставалось нетронутым; шашлык так и стыл неотведанным. Каждый из собеседников думал о своем. Улугбек глубоко вздохнул:

— О, грешные мы, грешные! — И, повернувшись всем телом к Али Кушчи, спросил неожиданно: — Найдутся ли надежные талибы среди твоих?

— Найдутся, устод, конечно, найдутся...

— Хорошо, если найдутся... Тогда перейдем к делу. — Улугбек положил на колено мавляны руку и снова пристально взглянул в лицо ученика. — Ну, ты знаешь, конечно, что небо Мавераннахра снова заволокли тучи междоусобицы. Тучи бунта, правильнее сказать! Старший сын мой Абдул-Латиф, кому я отдал прекрасный Балх, затеял против меня войну. Ему мало Балха, ему нужен Самарканд. Он перешел Джейхун и сейчас уже недалеко от Кеша... Ты слышал об этом, Али?

— Слышал, досточтимый устод! Но... нельзя ли надеяться на примирение? Если вы простите сыну его вину...

Улугбек пристукнул кулаком по колену Али Кушчи.

— Э, если б все решалось прощением... Если бы он попросил прощения, я простил бы его... Ради спокойствия в стране! Ради того, чтобы нам с тобой спокойно следить за звездами... Но ты не знаешь Абдул-Латифа, Али. Не знаешь! — Улугбек вдруг вскочил с места и нервно прошелся по зале. — Я вызвал тебя неспроста, Али. И то, что ночью, тоже неспроста, хотя сарайбону надлежало сделать так, чтобы они... вельможи мои... не видели тебя здесь. — Улугбек снова подошел к собеседнику, сел рядом с ним. — Мои сокровища: обсерваторию, библиотеку, рукописи свои, законченные и незаконченные, чувствую, что не закончу их теперь, — все это передаю в твои руки, доверяю их только тебе, Али, сын мой! Богатства бесценные, богатства разума человеческого...

Улугбек откинулся в кресле, сложил на груди руки.

— Но подумай, Али! Это опасное дело. Ты же знаешь настроение темных невежд, фанатики шейхи не любят меня.

— Знаю, устод, знаю.

— По силам ли будет тебе это бремя?

Лицо Али Кушчи залилось краской. Он поднялся.

— Вы сомневаетесь в своем ученике, досточтимый учитель?

— Нет, Али, нет, — продолжал Улугбек. — Сомневался бы, так не открывал свою душу тебе. Я только не хочу погубить тебя... Эти мнимопочтенные улемы[21], обделенные умом и жалостью маддохи[22], сколько лет уже точат они зубы на людей науки!

— Да, но мы живы по воле аллаха!

— ...И по воле... силы моей и страха их перед силой, Али. Пока их боязнь перевешивает их ярость. Али Кушчи опустил глаза. Он знал, что такое ярость улемов и шейхов против тех, кто не схож с ними. Вот совсем недавно на кладбище «Мазари шериф» пришло человек двадцать студентов из медресе Улугбека предать земле тело безвременного скончавшегося от тяжелой болезни товарища своего, но, когда они приблизились к кладбищенскому холму, высоко неся гроб на вытянутых руках, в воротах появился шейх Низамиддин Хомуш, окруженный толпой мюридов[23] и дервишей. Он преградил путь талибам, стал потрясать дорогой тростью, изрыгая проклятия и ругательства, совсем

не приличествующие шейху:

— Прочь, убирайтесь прочь, нечестивцы, куда сами целы. Прах нечестивцев не осквернит эту святую землю! Убирайтесь, или мы сейчас разможем вам головы, богоотступники!

Али Кушчи выполнял обязанности хассакаша[24], он вынужден был приблизиться к разгневанному донельзя шейху, попробовал вразумить его.

— А-а-а, и ты тут, мавляна! — иступленно закричал Низамиддин. — Вероотступник, нечестивец, поганая собака! Совратитель тех, кого вы приучаете заниматься богомерзкими делами, называя это наукой... Прочь отсюда, а то и тебе несдобровать... Испустишь здесь же свой нечистый дух!.. Во славу аллаха... гоните-ка их!..

— Ну, о чем ты задумался, Али?

Улугбек сидел перед Али Кушчи, сложив на груди руки, глаза его были прищурены. Прогнав видение, от которого похолодело у сердца, Али Кушчи поклонился и сказал:

— Повеление устода — закон для шагирда.

— Не то говоришь, Али. Это не повеление. Просьба. Потому и спрашиваю: не будешь потом раскаиваться?

— Устод...

— Ладно! — Требовательно-пытливое выражение в глазах устода смягчилось. — Следуй за мной, — и Улугбек открыл дверь в саямхану — залу для приемов близких гостей и для тайных советов.

В красном углу ее на возвышении было установлено высокое золотое кресло — трон. Горело в зале почему-то всего лишь несколько свечей; в робком дрожании света на стенных мозаиках, выложенных из лазурита, и на узорах куполовидного потолка причудливо играли тени и отблески, придавая всему окружающему таинственную величавость, а может, так происходило потому, что Али Кушчи никак не мог отделаться от мысли, что именно здесь и, как говорили, в излюбленные предутренние часы сидел в холодных сумерках на золотом троне хромой потрясатель вселенной, сидел наедине со своими, до поры не ведомыми никому, алчными и мстительными замыслами. И казалось, что в этом чертоге еще витал его беспокойный дух и гневался из-за того, что здесь и в такой же час появился человек, низкий саном, столь далекий от государственных забот и не знающий ничего полезного для мирозавоевательных планов.

Улугбек прошел за трон, раздвинул темно-серый шелковый полог, что закрывал стену до самого потолка. Обнажились часть стены и дверца, обитая полосами ковеной меди, совсем маленькая, так что в нее с трудом мог протиснуться один человек.

Улугбек извлек откуда-то из-за пояса связку ключей, чуть помедлив, отпер замок. Из овальной ниши они взяли по свече, зажгли. Пригнувшись, султан плечом толкнул дверь. За нею зияла темная пустота.

Не разгибаясь, Улугбек шагнул куда-то вниз, Али Кушчи сделал шаг вслед, задержал дыхание: затхлый воздух был слишком непривычен.

Держа свечу в одной руке, а другой ощупывая стену, стали спускаться в мрачный колодец. Наконец достигли дна. Показалась еще одна дверь. Улугбек отпер ее, и они вошли в узкий прямоугольный подвал. Стены тут были выложены черным камнем, с пола дуло ледяным холодом, потолок нависал над головой тяжелой глыбой. Каменная могила!

По углам подвала стояло четыре стальных сундука. Их приковали цепями к железным кольцам,

ввинченным в пол.

И здесь царил все тот же мрачный дух. Казалось, где-то за сундуками, может, вон в том черном углу, куда совсем не дотягивается огонек свечи, затаился хромой властелин и тайно наблюдает за пришельцами, зловеще помалкивая до поры.

В руке Улугбека появился еще один ключ. Султан прочитал короткую молитву, беззвучно шевеля губами, поднес ладони к лицу в знак ее окончания. Потом вложил ключ в замок большого сундука, обернулся к Али Кушчи, показал глазами, чтобы тот помог.

Крышка сундука была до того тяжела, что и вдвоем они приподняли ее не без усилий. А когда с грохотом откинули крышку, полутемная комната озарилась будто костром.

Сундук был доверху наполнен алмазами, рубинами, жемчугами, изумрудами, еще какими-то камнями, коих Али Кушчи ни разу дотол не видал. Они сверкали, переливались, завораживали, испуская голубые, бирюзовые, пурпурные лучи, радуя глаз нежными переливами волшебной-прекрасной радуги.

— Из Багдада и Каира, — сказал Улугбек нарочито спокойно, скрывая собственное восхищение. — В этом сундуке трофеи деда, эмира Тимура, привезены сюда после победы над султаном Баязетом... Но ты не брезгуй ими. Возьми мешочек, Али.

— Для чего они мне, устод?

— Пусть послужат добру... Тебе не нужно богатство, знаю. Но без богатства, без денег чего мы достигнем? Так уж устроен мир... Пусть же и власть, и богатство служат добру, как я сказал.

С этими словами Улугбек стал разгребать драгоценности внутри сундука.

Под драгоценными камнями оказалось золото! Круглые слитки, словно крохотные пиалы, рядами поднимались со дна сундука, один ряд над другим, кверху донышками. Они источали яркость и, казалось, даже обдавали жаром.

Улугбек вытащил один слиток, распрямившись, взвесил его на ладони, обрадованно сказал:

— Вон какой тяжелый... Все это мое! Наследство деда: он любил меня. Но, видит бог, я тратил наследство деда не для захвата земель, как внушал мне он сам, а благоустраивал города и дороги, возводил медресе и ханаки. Пусть же и впредь эти богатства послужат доброй цели! — повторил Улугбек.

Со дна сундука он достал небольшой, толстой красной кожи мешок и отсчитал в него десять золотых слитков, каждый размером в маленькую пиалу. Потом пригоршней ссыпал туда драгоценные камни.

Протянул мешок шагирду.

Мешок был до того тяжел, что Али Кушчи с трудом удержал его в вытянутой руке.

Улугбек медлил закрыть крышку сундука, не в силах оторвать взгляда от сверкающей красоты камней, от жаркого пламени золота. Наконец обернулся к Али Кушчи:

— Пожалуй, ты не знаешь, с чего начать, как пустить это богатство в дело... Его надо превратить в деньги. Слава аллаху, мне удалось по-настоящему обеспечить деньги Мавераннахра. Это не те обесцененные монеты, что раньше мучили и казну и налогоплательщиков... Нужен честный меняла.

Обратись к ювелиру хаджи Салахиддину. Передашь ему и сыну его, мавляне Мухиддину, он ведь друг тебе, мой привет и благорасположение мое... И еще раз извинение за поступок Абдул-Азиза...

Улугбек говорил сейчас совсем просто, не стараясь словами поддержать высоту, на которую вознесла его судьба; так просто разговаривал он с Али Кушчи в обсерватории.

— Да, Али... Ты одна гора, на которую я опираюсь в своей беде, надеюсь, Мухиддин будет второй... Как я буду рад, если он позабудет нашу вину перед ним и дочерью. Достоянная дочь у него. Передай ему все это.

— Исполню, устод.

Улугбек закрыл сундук.

— Остальное пойдет Абдул-Азизу. — И, словно извиняясь, добавил: — Ты знаешь, он несчастный, немощный юноша, его гложет какая-то болезнь, не знаю, как его лечить...

Жесток, своенравен и неумен этот Абдул-Азиз, а вот поди пойми отцовское сердце. Мысленно Али Кушчи произнес: «О досточтимый устод! За что вы любите этого своего отпрыска, за что можно любить его, виновника стольких горестей? Немощный, несчастный, больной? А он, как и старший, мечтает о власти, с охотой бы вышел из-под отцовской державной руки».

Улугбек словно прочитал мысли Али Кушчи, что бывало частенько в их разговорах. Тяжело вздохнул.

— За себя не боюсь, Али. Дарованную творцом жизнь я проркил, плохо ли, хорошо ли, но прожил. Сверх меры, наверное, испытал и сладость и тяжесть власти. А вот как у них сложится жизнь, у сыновей, как отнесутся друг к другу без меня, после того, как умру? Думаю, думаю об этом, и сердце обливается кровью. Особенно тревожусь за младшего. Он больной, очень больной.

Али Кушчи отвел глаза.

— Да облегчит всевышний ваше бремя! — тихо пробормотал мавляна...

Наверху Улугбек предупредил Али Кушчи: никто не должен прознать о том, что унес мавляна из Кок-сарая. Посоветовал, как лучше, надежнее завязать в пояс халата драгоценный мешок.

— Какие еще будут приказы вашему слуге, досточтимый устод? — спросил Али Кушчи.

Улугбек устало провел ладонью по лицу.

— Ночь кончается, Али. Обо всем я уже сказал... Главным богатством своим всегда считал не трон, а труды для науки, — горячо, с болью и страстью сказал Улугбек. — Моя самая большая любовь — библиотека, кладезь мудрости. Участь этого сокровища, повторяю, в твоих руках. Кому принадлежит оно? Стране нашей и всему роду людскому, разуму человеческого, выше и долговечней его ничего нет на свете, это ты верно сказал... И помни: если создатель лишит меня, своего смиренного раба, поддержки своей, лишит трона и власти, если невежды восторжествуют в Мавераннахре, тебе сохранить это сокровище для будущего. И мое доброе имя тем самым!.. Может быть, книги придется вывезти осторожно, тайком из города, спрятать где-то в горах... Уже сейчас поищи мастеров, пусть срочно делают десять... пятнадцать больших сундуков. Ты понял меня, Али?

— Понял, устод!

Улугбек положил руки на плечи шагирда.

— Благодарю тебя, аллах! Пусть не повезло мне с родными сыновьями, зато ты для меня, мавляна, большая награда в жизни.

И Улугбек, как когда-то Салахиддин Кази-заде Руми, поцеловал в лоб Али Кушчи, до слез растроганного и до крайности расстроенного.

Учитель и ученик по-братски крепко обнялись на прощанье.

3

Проводив Али Кушчи, Улугбек вернулся в залу, увешанную охотничьими трофеями и оружием. Из

всех других комнат дворца он больше всего любил эту — просторную и тихую, где часто читал, думал над научными загадками и сочинениями мудрецов и поэтов, а порою, устав, просто спал. Ему приносили постель из опочивальни, и он отдыхал в углу, затененном ширмами.

Сейчас в этом углу на маленьком столике так и стояли блюда, подносы, разнообразная еда: шашлыки, приправы, хлебные лепешки, вино — ни к чему из этого не притронулись ни Улугбек, ни Али Кушчи...

Доложили, что прибыл Бобо Хусейн Бахадыр, любимый нукер из Улугбековой охраны; вчера он поскакал гонцом в Кеш.

Высокий и ладный красавец, Хусейн почти вбежал в залу, растрепанный, потный, даже не сняв остроконечного шлема; руки почтительно сложены на груди, но весь облик его яснее ясного говорил, что сейчас не до соблюдения ритуала: широкая грудь Хусейна вздымалась и опускалась, подобно кузнечным мехам, капли пота усеяли чернобровое лицо.

Воин пал ниц. Улугбек поставил на стол пиалу, побледнел.

— Что повалился? Вставай!

Хусейн легко приподнялся на колени.

— Не смею сказать, повелитель... Весть нерадостная...

— Говори же! — приказал султан.

— Неприятель и вправду в Кеше, повелитель. Градоначальник Кеша эмир Камалиддин отдал город без кровопролития.

Улугбек этого и боялся. Но, как всегда, когда подтверждались опасения, пусть и худшие, но подтверждались, у султана пропадала боязнь. Вместо нее появлялся гнев. Улугбек встал с кресла, прошелся по комнате. Глаза сощурены. Желваки ходят по скулам. Беспощаден. Крут. Бобо Хусейн Бахадыр опять пал лицом к полу.

— Вставай, вставай... Через час в поход! Чтобы все было готово, оружие, лошади, запас — все, все, слышишь?.. Правильно думаю? Говори!

— Воля повелителя — закон для подданных...

— Не о том спрашиваю! Правильно ли идти сейчас же, не собрав все силы воедино? Что думаешь, что скажешь?

— Правильно, повелитель. Времени терять нельзя... Только... ваш верный слуга полагает, надо бы поднять городское ополчение...

— Ополчение? Почему?

— Войска ведь немного, повелитель, и... город любит вас, верен вам, повелитель... Я говорю, город... простой люд городской... Военные отряды покорны воле эмиров, предводителей.

Улугбек задумался. Он понял намек Хусейна. Сам из низов, Хусейн и верил только им. Улугбек знал, чего стоит нынешняя преданность иных эмиров.

— Нет, не надо, Хусейн, — султан отрицательно покачал головой, — не надо. Что они смогут, ремесленники и чернь, против обученных воинов?.. Иди отдохни с дороги, Хусейн. Скоро опять в путь, а там...

Когда дверь за гонцом закрылась, Улугбек долил до краев пиалу вином и одним махом осушил ее до дна.

«Проклятье! Вот она, цена надежд!»

Да, он понимал, что войско Абдул-Латифа велико и что не будет Абдул-Латиф задерживаться перед Джейхуном: не тот характер, да и заповедь Тимура отлично известна его потомкам — используй время, когда ты сильнее, не медли. Быстрота увеличивает силу! Расчет Улугбека, не вполне, может быть, осознанный, и состоял в надежде на то, что у Кеша сыну придется задержаться, помучиться, чтоб взять город, потерять время, а стало быть, силы и, не исключалось, сторонников. А тут на тебе: без боя вошел! А ведь Улугбек считал Камалиддина одним из верных себе людей... Раз уж эмир Камалиддин изменил ему, то кому теперь верить, на кого опереться? Что делать с остальными военачальниками?.. И опять пришли на память слова деда, сказанные однажды в Герате, в саду «Баги джахан[25]» Султан Шахрух произнес что-то возвышенное о верности какого-то военачальника Тимуру Гурагану, на что последний ядовито засмеялся и ответствовал: «Эмиры преданны, когда меч в твоей руке намного длиннее и острее, чем у них. Держи их в страхе и не доверяй им, сын! Преданность из страха иль преданность по разумному выбору — тебе какая в том разница? Из страха преданности достичь — это в твоих силах, а по разумному выбору — не от тебя зависит». Улугбек не был с этим согласен... Раньше не был, а вот сейчас... Почти сорок лет он судит и рядит в Мавераннахре. Человечным стремился быть и с теми, между прочим, кто предавал его, кто за спиной козни чинил. Надвигалась беда, когда все решала сила, и что же? Где был их разумный выбор, этих эмиров? Чувствовали, что за ним сила, и оставались. Теперь почуяли силу молодого шакала и начинают перебегать к нему...

И что за напасть такая в последнее время — беда за бедой, неудача за неудачей. За что немилость судьбы? За море крови, пролитой дедом? Пусть аллах простит ему, внуку Тимура, такое кощунственное предположение, но ведь сказано пророком, что ничто не остается без возмездия в деяниях человеческих, особенно же кровь невинных. Только за что же его, внука, а не сына, не Шахруха, положим, карает небо?.. А внук так уж безгрешен, так уж человеколюбив был всюду и всегда? А завоевание Хорасана, гератские несправедливости, прорицание дервиша?

Мурашки пробежали по телу Улугбека.

Он вспомнил... Была тогда пятница, светлый, благочестивый день. Богослужению в соборной мечети Герата придавало особый блеск предшествующее событие — победоносное прибытие в город Улугбека, сына Шахруха, с войском. Перед мечетью собрались служители веры, вельможи, предводители крупных отрядов. Ждали Мирзу Улугбека. Он выехал из медресе Шахрухия; блестящая кавалькада миновала странноприимный дом, обитель дервишей, возведенный благословенным родителем Улугбека. И вдруг перед султаном появился, будто из-под земли вырос, заросший густым волосом, покрытый грязью дервиш, полусумасшедший, видно, — дико вращал глазами, махал руками, словно плавал, и кружился в каком-то ведомом ему одному танце. Всадники впереди рванулись к дервишу, пытаясь или прогнать с дороги, или потоптать конями. Улугбек остановил их, изъявил желание выслушать дервиша. Дивана [26] свят, прогнать его грех, про то все знают. А этот дервиш, безусловно, дивана: гремя малютками-бубенцами, которыми было увешано его рубище, все так же странно приплясывая, он приблизился к султану, с пеной на губах восклицая: «О аллах, о всемогущий, создатель наш аллах!» Но между этими восклицаниями, сквозь кривляния и бормотания он говорил что-то, обращаясь именно к султану, и Улугбек не без труда, но стал разбирать его речь. А говорил дервиш, что воины султана — человеколюбца, справедливого и мудрого — клялись его именем и грабили, а то и убивали людей, ни в чем не повинных; что они

опустошили кишлаки вокруг Герата; что они насильники, чуждые сострадания сирот, богохульники, обкрадывающие мечети и ночлежные дома, и что сам султан тоже насильник, сын отца-насильника и внук деда — трижды насильника, и потому, предрек дервиш, весь род Тимуров будет проклят во веки веков!

Улугбек все понял, но не захотел покарать дервиша. Ибо тогда пришлось бы объявить свите, за что карашь, недостойно же имени Улугбека карать лишь за то, что тебе загородили дорогу. Мирза Улугбек сделал вид, что не разобрал бормотаний диваны, стегнул коня и поскакал на торжественную встречу. Елей льстивых и лживых вытравил на первых порах из сердца горечь обвинений правдивого, и все-таки Улугбек хотел бы забыть проклятия и пророчества дервиша, хотел бы, но не мог забыть.

Да, тот поход на Хорасан поистине злосчастен. И тем еще, что показал, как отпадают эмиры и вельможи, — они подбивали его совершить этот поход, а когда удача не дала себя поймать, отвернулись от султана, а кое-кто начал рыть ему яму. За спиной, разумеется. В глаза продолжали угодливо кланяться, поддакивать, льстить. Поход на Хорасан был неудачным... Но его пришлось предпринять. Дражайшая родительница Улугбека Гаухаршод-бегим строила такие козни, что все государство покойного Шахруха готово было развалиться из-за распрей наследников, а подействовать на неукротимую и надменную Гаухаршод-бегим, эту гератскую затворницу, как лживо она себя называла, можно было только напугав ее, а пугать могла лишь сила, войско, да чтоб побольше, пояростней да побезжалостней, чтобы войско напоминало Тимурово, вызывало трепет. Улугбек закрыл глаза, совсем ушел в воспоминания. Он силился пробудить в душе хотя бы тонкий лучик теплого чувства к Гаухаршод-бегим. Но в воображении представляла надменная женщина, и в старости красивая, с черным льдом глаз, с вечно подвижными пальцами, перебирающими четки. Ханжа, она ходила в темно-синем траурном платье, накрыв голову темносиним платком, — в память, мол, о султани Сахибкиране. Своими красивыми ручками она как хотела вертела Шахрухом, да витает дух его в раю по воле аллаха! А после его кончины своенравная правительница забрала всю власть над дворцом, наводнила его жадными к золоту и недалекими умом прихвостнями. Да и не только над дворцом! Герат стал гнездом раздоров... И стоило Улугбеку, до поры до времени остававшемуся в стороне, послать ей предупреждение, Гаухаршод-бегим обозвала его во всеуслышание распутником и начала подговаривать Абдул-Латифа поднять мятеж против родного отца.

Ну а что же Абдул-Латиф? Он жаждал получить престол. И нашел пути к тому, чтобы обеспечить перевес сил для достижения этого замысла. Он вступил в тайный сговор со столпами веры, с теми, кто косо смотрел на Улугбека-ученого, на Улугбека-просветителя, и прежде всего с шейхом Низамиддином Хомушем из влиятельнейшего ордена «Накшбендия». Фанатичные невежды шейхи отнюдь не забывали себя и ревностно следовали принципу «сила в богатстве». Они скрежетали зубами, но, пока у султана Улугбека была мощь, терпели, выжидая. И вот теперь их час настал... Улугбек осушил еще одну пиалу вина, но это не пресекло течения безрадостных и, казалось ему, безнадежно леденящих волю мыслей.

Шагирд Али Кушчи сегодня обвинил его в том, что заботы о престоле он ставит выше служения науке... Ну, пусть не обвинил, пусть упрекнул, мягко, извиняя и извиняясь, пусть намекнул, но на самом-то деле виноват ли он, Улугбек, в этом грехе?.. Неужели не зачтутся ему, правителю, заботы,

которые он приложил, чтобы не только самому заниматься наукой, но чтобы за ним пошли и другие той же благородной дорогой, неужели не зачтутся щедрые расходы на сооружение каналов, бань, дорог и в первую очередь медресе? Может, он обманывает себя, считая, что отличается от других владык?.. Но ведь отличается, ведь и вправду готов он уйти от власти и рад был бы стать мудarrisом в медресе... По-детски наивен Али Кушчи, если полагает, что, случись такое, сыновья утихомятся и дадут Улугбеку спокойно заниматься наукой, любимой наукой... Наблюдать планеты, вычислять их пути... А для этого смотри, смотри в оба за земными делами! Вот и выходит: чтоб освободиться от забот, которые несет с собой власть, нужно позаботиться о том, чтобы власть твоя не шаталась... Да и кто ныне поверит в искренность желающего отказаться от власти?.. Если бы поверили! Как ни мучительны, как ни безысходны были размышления улугбека, силам человеческим поставлен предел: султан заснул. Уже засыпая, он подумал, что, выполни Абдул-Латиф единственное требование отца, он, отец, отрекся бы от престола в пользу сына. Но, когда яркосолнечным утром в Кок-сараяе собрались военачальники, Улугбек даже сам себе не напомнил про это; в крепкой кольчуге, препоясавшись длинным мечом султана Шахруха, что умел подчинять себе непокорных, султан Улугбек сел на боевого коня. Не разум — сила пусть решает спор! Влечение куда более могущественное, чем тихая радость науки, призывало его к битве за власть. И Улугбек покорился этому влечению.

4

У ворот обсерватории Али Кушчи передавал поводья сторожу. Зашел во двор. Прислушался к затихающему стуку копыт: это нукеры поскакали обратно.

— Мавляна, вас дожидается ваша матушка, — сказал старик.

— Где она?

— В келье Книгочия, Так прозвали Мирама Чалабай — любимого ученика Али Кушчи за то, что он дни и ночи проводил в книгохранилище за чтением.

Мавляна свернул к одноэтажному дому позади обсерватории, где жили талибы.

В келье Мирама Чалаби мерцала одинокая свеча. Хозяина в келье не было. На циновке в углу сидела, обняв колени, мать Али Кушчи — Тиллябиби. Она дремала. Али Кушчи хотел было, не тревожа ее, выйти обратно, но сон материнский чуток: Тиллябиби открыла глаза, проворно поднялась, подбежала к сыну и, взмахнув руками, словно птица крыльями, припала к нему.

— Где ты пропадал, ненаглядный сынок, верблюжонок мой? — Тиллябиби была из степного аула, и потому любимым ласковым словом у нее было «верблюжонок». Али Кушчи осторожно обнял старушку за хрупкие плечи.

— А сами-то вы, матушка? Откуда пришли в такую-то пору... ведь скоро утро...

— Обо мне беспокоиться нечего, да и в другой раз о том можно поговорить, а с тобой что приключилось, верблюжонок?.. Не таись от матери, расскажи.

— О чем, матушка?

— Ну, как же, как же... Кругом только и слышишь новости, одну страшней другой... Будто султана Улугбека уже лишили престола, а всех его приближенных и особенно шагирдов ждут разные суровые кары... А ведь ты...

Тиллябиби скорбно взглянула на сына вмиг повлажневшими глазами. Лицо ее, все в сетке морщин, с седыми прядями из-под платка, было полно безграничной любви и безграничной тревоги за сына.

Теплая волна нежности к старой своей матери омыла сердце Али Кушчи. Осторожно обнимая мать, ласково поглаживая ее плечи, он провел Тиллябиби в глубь кельи, посадил на тахту, нарочито-беззаботно рассмеялся.

— Какой это негодяй врет так подло?

— Ты смеешься, верблюжонок?.. Вся махалля[27] только про то и судачит... Ах, ты плохо разбираешься в жизни. Как говорил твой покойный отец на старости лет? «Чем дальше от сильных, тем лучше для низких». Сорок лет он служил верой и правдой повелителю Тимуру, а чего добился? Одни опасности да беды сулит близость к владыке, поверь мне...

— За меня бояться не надо, матушка, право слово, не надо.

— Как не бояться, как не бояться, верблюжонок мой?.. Ну-ка, скажи, что получил ты за службу султану Улугбеку, да сохранит его аллах? Что? Одними книгами только и обзавелся. И не женился-то из-за них, я думаю. Ни очага своего, ни детей...

— Аллах захочет, и все еще будет.

— Когда это будет, ты уж седеешь, верблюжонок... Видно, не доведется мне внуков понянчить, не благоволит аллах к тебе... Ты все с книгами возишься, все с книгами...

Как сумел, он успокоил мать, пригасил, ему показалось, ее тревоги.

Тиллябиби вскоре заснула.

Али Кушчи так и не прилег в эту ночь.

Рассвет был уже близок; от местечка Оби-рахмат доносились предутренние переклички петухов, взвизгиванья и тьяквань собак; небо заголубело немного, но звезды еще не погасли.

Мавляна все прохаживался и прохаживался по двору, наконец зажег свечу и поднялся на верх обсерватории. Его влекли к себе книги, и зрелище их было для растревоженного сознания словно чудодейственное лекарство: в книгохранилище сердечная боль отпустила Али Кушчи.

«Мир чистоты и мудрости, — чуть не вслух прошептал мавляна, — далекий от мира козней и страданий, который нас, увы, окружает». Но тут же и подумалось Али Кушчи, что не совсем он прав: ведь страдания человеческие, страдания тех, кто уже ушел, тоже запечатлены в этих свитках, запечатлены так же, как и радости людей, и светлые заботы разума, открывающего то, что до поры казалось тайной. Без страдания и сострадания нет ни поэзии, нет и самой науки. Только корысть не могла запечатлеть себя в этих созданиях разума и сердца.

Ни корысть, ни злоба, ни наглая надменность — низкие страсти, бесчеловечные вожеления.

Две просторные прямоугольные комнаты заняты были множеством высоких — с полу до потолка — полок. Эти полки и сами были воплощенной красотой: так прекрасно выглядит обработанное ореховое дерево, из которого они были сделаны, а тем паче прекрасна тонкая, изящная резьба на их поверхности. Старинные книги, редчайшие рукописи — поистине собранным здесь сокровищам нет цены!

Али Кушчи расстегнул чекмень, размотал два кушака под чекменем, вытащил тщательно завернутый мешок.

Как сказал устод? Без этого богатства неохранишь и того, что на полках? Так ли? Многое может этот мешок, многое, это бесспорно. Но заменить книг и золото не сможет.

Ничто не сможет заменить, например, вот этих книг, стоящих на полках с правой стороны: целая библиотека, три ряда доходящих до потолка тяжелых томов в иссиня-черных кожаных переплетах.

Это сам Тимур Гураган привез их, отняв у Баязета. Потрясатель вселенной, говорят, мало смыслил в науках, но цену, а лучше сказать, бесценность книг понимал. Эти ряды взывают к миролюбивым мудрецам — взывают своей неизученностью. Устод Улугбек все намеревался вызвать ученых мужей из Каира, Багдада, Дамаска, дабы они перевели эти труды и прокомментировали их. Можно было бы попробовать и самаркандцам... Но научные занятия требуют мира и спокойствия, а ни того, ни другого сейчас здесь нет. Время устода и его шагирдов уходит на иные заботы: не до комментирования.

Рядом с полками, на которых были разложены оберегаемые от пыли рукописи арабского Египта, высятся другие — с редкостными сочинениями из багдадского кладезя наук, академии «Хизонат уль хикмат». Чарующий свет источали их позолоченные цветистые узоры зеленых, красных и синих сафьяновых переплетов. Чуть поодаль в шкафах, стенки которых замысловато изукрашены резными изображениями животных и птиц, сложены книги из Китая и Индии, и каждая завернута в зеленый или желтый шелк.

Шесть лет назад, когда жив был еще Шахрух-счастливцев, ревностно поддерживающий сына, в том числе и казною, досточтимый устод Улугбек пригласил — за плату золотом, иначе приглашение было бы с вежливостью отклонено — двух ученых мужей: одного из Индостана, другого из страны фарфора. По воле аллаха индеец вскоре оставил сей бранный мир, не успев довести до конца перевода знаменитого произведения индийских астрономов «Сидхаита». Что же до говорливого безбородого ханьца, то его судьба сложилась удачливее, ибо, на несколько лет став прилежным и сообразительным студентом в медресе Улугбека, он неплохо освоил персидский и тюркский языки, даже стал смешно лопотать на них, усердно занимался и арабским. Затем приступил к переводу на фарси́ и тюрки́ привезенных из Китая книг и успел оставить три тома переводов по древнекитайской астрономии; дальше этих трех томов не пошло, китаец заявил, что соскучился по родине, куда и отбыл с караваном, шедшим на восток, естественно, взяв золотом плату за сделанное. Ну, а наибольшим почетом пользовались в библиотеке устода книги и рукописи ученых, философов и поэтов Мавераннахра, что видно из того хотя бы, что шкафы, где они собраны, стояли на самом видном месте помещения и были заботливо и с тщанием инкрустированы. Каждая книга, а уж тем паче каждая старинная рукопись покоилась в особо обработанном кожаном переплете и в футляре из кожи голубых и бирюзовых тонов; золотым тиснением увековечены были на них благословенные имена авторов, и даже сейчас, в тусклом мерцании свечи, затейливая буквенная вязь этих имен сияет, подобно звездному свету.

А как ликует глаз твой и сердце твое, о смиренный мавляна Али Кушчи, один из немногих пригубивших мудрости великих, один из редких счастливых — людей науки, при виде вон той большой верхней полки! Что там? — спросит кто-то. И наизусть, не глядя наверх, ты ответишь: там прежде всего шесть томов Абу Абдулла аль-Хорезми, причем три из них, судя по всему, и написаны его благословенной рукой; эти сокровища устод выписал из Багдада, из знаменитого «хранилища тайн», библиотеки «Байтул хикмат»... Рядом с Хорезми мудрейший и воистину все постигший Абу Али ибн Сина, двенадцать его томов, и среди них знаменитейшая «Книга исцеления», «Китоб уш щифо», а кроме того, три книги его стихов... Что еще? Шестнадцать томов великого разумом аль-Фараби и мудрейший из мудрых Абу Рейхан Бируни, чьи книги все в красном сафьяне, и лишь одна в бирюзовом, та, что излагает устройство вселенной, «Ал-Канун ал масъуди». А почему в

бирюзовом? Да потому, что устод чаще других перечитывал ее и надо было выделить ее цветом, отличить от других... Ну а дальше — произведения, что запечатлели глубочайшие познания Ахмада ибн Абдуллы Марвази, и учителя математиков Ахмада ибн Мухаммада Фаргони, и мавляны Абул Вафо-ас-Самарканди, земляка нашего, и наставника звездочетов Гиясид-дина Джамшида, и Насриддина Туси, — о каждом не будет преувеличением сказать как о мудреце мудрецов, и сие тем больше имеет оснований быть распространенным на благословенного Салахиддина Кази-заде Руми, что он ведь устод моего устода и тем самым, осмелюсь сказать, мой устод.

Да и как же он не твой благословенный учитель, пусть ликует его светлая душа в раю? Он заходил сюда, в эту сокровищницу знаний, и ты видел его! Он останавливался на том самом месте библиотеки, где ты сейчас стоишь, смотрел на ту же самую, ценнейшую из ценнейших полку, а перед тем, как раскрыть книгу, взятую с нее, закрывал глаза, шептал молитву, затем касался переплета устами и только после этого раскрывал книгу — и ты все это видел собственными глазами и слышал, как устод требовал того же, что делал сам, от каждого юноши-талиба, ибо, вступив в храм знаний, человек должен понимать, так говорил наставник, что самое великое, к чему следует питать благоговение, есть разум, а воплощается разум в книге, в слове.

И снова вспомнился Али Кушчи тот весенний день, когда повелитель-устод привел к ним, талибам, великого мудреца Салахиддина Кази-заде Руми. Улугбек был тогда в расцвете сил, полон дерзновенных замыслов. Златотканый блестящий наряд, серебристого цвета чалма, порывистые движения — все шло тогда к нему, молодило, выделяло среди людей. Рядом с ним старичок мудрец выглядел еще более старым и хилым. Но какое обаяние было у этого старца, как быстро покорила он их всех! Досточтимый старец весь в белом и блистательный Улугбек заняли места под ветвями густой чинары. По просьбе повелителя наставник взял толстую книгу, завернутую в парчу, раскрыл ее. Он повел речь о математике, этом великом создании человеческого ума, о необходимости ее для изучения небесных светил. Али Кушчи читал эту книгу раньше, но впечатление от того, как объяснял ее сам Кази-заде Руми, было несравненно большим. О сложнейших вопросах старец говорил так просто, неотразимо логично, что Али Кушчи показалось тогда, будто слышит он не сложнейший трактат, а дивную музыку — она чарует душу, умудряя разум. И не один Али Кушчи, и не только повелитель, не только талибы, даже сановники, что прибыли в медресе вместе с султаном (хотя и то сказать, что им наука, зачем им математика, если не для подсчета барышей или убытков?!), даже они были захвачены уроком и слушали Кази-заде Руми в глубоком, почтительном внимании. Правда, когда султан Улугбек, поблагодарив наставника, спросил, всем ли все понятно, не одни только скромные талибы, но и важные сановники, потупив глаза, предпочли отмолчаться, чем вызвали печальную улыбку старца. И тогда Али Кушчи стеснительно приподнялся и, робея и заикаясь, отвечив, что беседа наставника понятна и принесла наслаждение.

Глаза мавляны Руми блеснули радостью. Мирза Улугбек же устроил Али Кушчи чуть ли не целый экзамен, более всего по геометрии.

Али Кушчи, к радости старца, все более воодушевленно отвечал султану. А султан вдруг подозвал его к себе и спросил уже о том, какого он рода, где учился, что мыслит о дальнейшей судьбе своей. Вот тогда-то мавляна Руми поцеловал Али Кушчи в лоб, коснувшись лица белой шелковистой бородкой...

Растроганный, вошел Али Кушчи в следующую рабочую комнату обсерватории. И здесь было

множество книг, старинных, ценнейших. И здесь полки закрывали три стены комнаты, оставляя открытой лишь одну, обращенную на запад, к Мекке.

Тут были вывешены астрономические таблицы Улугбека. На плотной шелковистой египетской бумаге, словно россыпь золотых монет, изображения звезд. Можно не смотреть на небо: точной копией его была эта картина! Она притягивала к себе, чаровала.

Внизу под таблицей светились сделанные золотой краской пояснения, указатели, цифры.

В углу помещения измерительные приборы, два мягких кресла с высокими спинками (к таким спинкам привык Улугбек). Устод любил вечерами сживать здесь, в этой комнате, читать, работать над самым дорогим своим детищем — звездной картой. Али Кушчи был с ним рядом. И труд мавляны есть в чудесной таблице, висящей напротив. И не только в ней! Ведь Али Кушчи тоже собирал книги, манускрипты, помогал устоду находить редкости для библиотеки, уподобляясь искателю жемчуга в далеких странах южных морей... И сколь приятно и дорого, что вон там, на угловой полке рядом с шестью томами исторических сочинений устода стоят и его, Али Кушчи, книги!..

А что ж теперь? Неужели ему угрожает разлука с этим храмом знания, с этой обителью светозарного разума, где он научился жить подлинной жизнью духа, подниматься мыслью в сверкающую, облагораживающую человека сферу, что высоко парит над тяготами и суетами повседневного мира? Именно здесь он понял: есть счастливые муки — муки познания, и нет выше и чище радостей, чем радости познания же!

Слепые невежды, о которых недавно с гневом и боязнью говорил устод, не раз обвиняли и его, Али Кушчи, в грехах против заповедей шариата, кричали о том, что он пьяница, чревоугодник, развратник. И это о нем, для кого не существует благ суетного мира, не существует, ибо нет у него желаний обладать ими. Ведь он, Али Кушчи, и впрямь отказался от счастья иметь семью, детей, ибо думал, что они помешают его научным занятиям. О, бедная матушка правильно все объяснила, хотя, может быть, слишком просто сказала об этом... Ему уже за сорок, уже впереди брезжит конец жизни, мимолетной и брэнной, как у всякого человека. Будет ли у него на старости лет теплый очаг? Вряд ли. Вот эта обсерватория и есть его очаг. Без нее что будет он делать, куда денется?

Но Али Кушчи, хоть и называли его ученым-затворником, не относился к числу людей, находящих сладость в бездеятельной печали. Надо было подумать о том, как лучше выполнить наказ устода Улугбека. Пусть не пропадало у Али Кушчи пугающее чувство, будто остался он один на свете с таким немислимо трудным поручением, да что же делать, надо действовать!

Подняв над головой свечу, Али Кушчи еще раз огляделся. Всюду книги, книги... Нет, для них не хватит десяти — пятнадцати сундуков. Значит? Значит, досточтимый устод имел в виду выбрать из редких редчайшее, из драгоценных драгоценнейшее... Да, а кому заказать сундуки?! И куда же спрятать отобранное?

Начать с обмена золота на деньги. Идти к хаджи Салахиддину, ювелиру — это так только говорится «ювелир», он ведь владелец едва ли не всех ювелирных лавок Самарканда...

Али Кушчи взял несколько золотых «пиалок» и драгоценных камней, мешок запрятал между книгами и вышел во двор. Было еще рано, однако он совершил утреннее омовение, прочел предрассветную молитву — бомдод.

Али Кушчи был готов действовать.

Вершины Ургутских гор на горизонте слегка зарозовели, но сквозь редкие облака все еще виднелись на небе звезды. Ветер был прохладен и заставлял поеживаться; деревья вдоль дороги клонились под его порывами, а огромный сад «Баги майдан» встретил путника шумом, сходным с шумом реки. Обычно месяц шагбан бывал в этих краях теплее; багряночервонные сады и рощи Самарканда, увядая, дремали под ласкающими лучами осеннего солнца; по большаку мимо обсерватории тянулись на базар арбы с плетеными кузовами, полными дынь и арбузов; молодые джигиты несли на головах корзины, пламеневшие рубинами гранатов, желтевшие крупными грушами, каждая с маленький фарфоровый чайник; садовники гнали ослов, навьюченных ящиками изумруднозолотистого винограда; бывало, в такие ранние часы, поднимая пыль до голубеющего неба, проходили отары овец, а то и караваны торжественно шагнувших верблюдов, и колокольчики их пели о нескончаемости дорог, о притягательной силе благословенного самаркандского базара и вообще об этом украшении вселенной — славном городе Самарканде... Сегодня же на большаке, что бежал мимо обсерватории, мимо садов и дворов, отъединенных друг от друга глиняными заборами и зелеными изгородями, стояла непривычная для любого самаркандца плотная тишина. Будто не только люди, но и все живое чувствовало опасность, нависшую над городом, и потому перестали петь птицы, блять овцы, мычать коровы. Даже собачьего лая не было слышно, будто и собаки попрятались в укрытиях, затаились в ожидании чего-то таинственно-страшного.

Миновав гробницу святого Кусамы ибн Аббаса, Али Кушчи свернул налево. От этого поворота дорога вела к Реги-стану. Пройдя немного, Али Кушчи услышал барабанный стук, трубные призывы карнаев[28], — звуки начала похода. Они нарастали, и чем ближе подходил мавляна к Регистану, тем яснее становилось ему, что это повелитель собрался на битву. Мысленно пожелал он удачи устоду, закрыв лицо руками, прошептал молитву-просьбу о даровании победы.

По широкой мощеной дороге мавляна двинулся к соборной мечети.

Со стороны странноприимного дома, расположенного напротив входа в Шахи-Зинда, он опять услышал дервишеское пение.

Показалась группа дервишей. Все в рубищах, все в треухах из козьей шкуры, кое-кто с дымящим кадиллом в руке. Полузакрыв глаза, покачивая в такт пению лохматыми головами, дервиши брели нестройной толпой, но напев тянули согласно, возвеличивая всевышнего:

О аллах, о всемогущий,

О создатель наш аллах!

Тот, кто бранный мир избрал,

В сердце бога потерял.

В Судный день найдет беду —

Он окажется в аду.

О аллах, о всемогущий,

О создатель наш аллах!

Резкий запах гармалы[29] из кадилниц бил в ноздри, уши болели от дервишеских возгласов «ху-ху», «ху-ху», которыми сопровождалось пение. Пританцовывая, группа дервишей прошла мимо Али Кушчи.

Пред вратами смерти ждущей

Равны нищий, воин, шах...
О аллах наш всемогущий,
О создатель наш аллах!
Ожидая смертной сени,
Словно труп живой, хожу.
Этот мир подобен тени.
Миром тем я дорожу.
Человек, ты горстка праха
И о том не забывай,
Помни день и ночь аллаха,
Его имя восславляй!
О аллах, о всемогущий,
О создатель наш аллах!

«Славить аллаха следует добрыми делами и трудом разума, а если и стихами, то уж явно не такими», — усмехнулся Али Кушчи, и тут взгляд его упал на шедшего последним в группе человека, высокого и плечистого. Дервиш оглянулся, поразив мавляну лихорадочным блеском глаз и огромной густой бородой. У мавляны дрогнуло сердце: Каландар Карнаки, тот самый, о ком сегодня ночью спрашивал устод!..

Каландар Карнаки украдкой кивнул Али Кушчи.

Или так только показалось мавляне?

Угрюмое пение дервишей, их пугающие вскрикивания постепенно отдалялись, замирали, а перед глазами застывшего на месте Али Кушчи все стояло лицо, заросшее густой бородой, все припоминался скорбный взгляд дервиша...

Каландар был родом из дальнего северного города Ясси, вернее, из крепости Карнак неподалеку от города. Лет двадцать назад он вместе с другими воинами приехал к Улугбеку, прося защиты от кипчакского хана Барака, который завладел тогда городами Сигнак и Ясси. В битве Улугбека с Барак-ханом Каландар проявил примерную отвагу и даже был, можно сказать, среди спасителей жизни Улугбека, ибо по воле аллаха повелитель потерпел в той битве жестокое поражение и должен был оставить поле брани.

Каландара ждала после этого дорога воина и военачальника.

Но то ли потому, что в той битве пали его близкие друзья-земляки, то ли потому, что трудно стало верить в благосклонность переменчивого воинского счастья к султану Улугбеку, а тем самым и в освобождение родного города, Каландар Карнаки пошел по другой дороге — науки и знания.

Сменив доспехи воина на халат талиба, Каландар стал ревностно учиться в медресе Улугбека под наставническим оком мавляны Али Кушчи и мавляны Мухиддина. К занятиям математическим и астрономическим он оказался весьма способен, равно как и к сложению изящных стихов на языке тюрки. Последнему делу способствовала, видно, и любовь Каландара к дочери своего учителя Мухиддина — к юной красавице Хуршиде-бану.

Мавляна Мухиддин, проявив человечность, согласился было сделать бедного студента-чужестранца своим зятем. Но высокомерный Салахиддин-ювелир нашел, что молодой поэт — юнец, у которого ни кола ни двора, не пара для его любимой внучки. Сыну эмира он, конечно, не отказал. Это ведь не

полунищий поэт!..

Переживая разлуку с любимой, мучась от обиды и бессилия, Каландар стал сторониться людей, а потом и вообще покинул медресе.

С тех пор Али Кушчи не раз встречал Каландара среди дер вишей, а его бывший ученик делал вид, что не замечает учителя. Затем Каландар куда-то пропал и вот только сегодня очутился на пути мавляны и впервые ответил, обернувшись, на взгляд учителя взглядом, кивнул ему. И что же значил его кивок: просто ли вежливость, свидетельство ли прежнего уважения... а может, угрозу? Или, напротив, знак предупреждения об опасности?

Может быть, все это почудилось Али Кушчи? Но нет, слишком выразителен был взгляд Каландара. При удобном случае следовало бы поразмыслить о происшедшем: ведь бывает так, что взглядом скажешь больше, чем словом, хотя Али Кушчи всегда предпочитал ясное слово бессловесному намеку.

Со стороны Кок-сарая все еще продолжал доноситься грохот барабанов и трубный призыв карнаев. Но улицы и дома безмолвствовали.

Обычно в эти часы уже выходили водоносы. Враги уличной пыли, они поливали землю водой из тяжелых кожаных мешков, повешенных на шею; в эти часы делали свое дело подметальщики площадей и улиц. А затем распахивались двери и окна бесчисленных торговых и ремесленных лавок, выстроившихся в два ряда по сторонам улиц, и кузнецы уже разжигали горны, бросали в огонь саксауловые полешки и хворост, стучали огромными молотами, звенели малыми — подковывали первых скакунов; и резчики камня усаживались на корточках и на низких скамейках перед глыбами и плитами, тесали, скоблили, долбили, и под их руками оживали орнаменты, радующие глаз даже тогда, когда узор предназначался для надгробия; и точильщики уже точили первые топоры и ножи, и мастера по костяным дорогим рукоятям для сабель и кинжалов не сидели сложа руки... Начинался трудовой день ковровщиков и ткачей, гончаров и столяров, жестянщиков и оружейников, тех, кто изготавливал сундуки, и тех, кто мастерил зыбки для младенцев — бешики. Стук, грохот, людской говор! А хлебопеки уже месили тесто, кондитеры приступали к варке халвы, шашлычники готовили жаровни, и вскоре горьковато-обольстительная волна запахов лепешек и шашлыка, вкуснейшей самаркандской самсы[30] и жареного лука, пряностей и сладостей обрушивалась на путника, вызывала у него радужные мечтания, и кто, в самом деле, мог устоять перед соблазнами знаменитой кухни Самарканда, если не брать в расчет тех, у кого не было за душой ни гроша?.. Не раз приходил сюда Али Кушчи проветрить усталую голову, посидеть в спокойном местечке, где ему видно и слышно было все происходящее на этой улице, в этих рядах. Понаблюдать за работой мастеров, поговорить с ними, отведать свежей вкусной пищи — вот и отдых, вот и радость для мавляны. И как же горько думать, что эта уличная жизнь, несмотря на пестроту свою и шумливость, спокойная, словно большая равнинная река, что она тоже сейчас под угрозой, как и жизнь владыки Кок-сарая и его приближенных. Страшно помыслить о том, как Абдул-Латиф, победи он устода, пригнет к земле эти лавки и лавчонки поборами и налогами, если попросту не ограбит всех этих кузнецов и ткачей, резчиков и ювелиров.

Али Кушчи прибавил шаг.

Через узкий переулок он вышел к небольшому майдану, посреди которого росла роскошная шелковица, выстлавшая палыми листьями целый золотистый ковер вокруг себя. По правую руку от

дерева стоял богатый особняк, как водится, с массивными двустворчатыми воротами и маленькой калиткой-входом, но с необычной балаханой, чьи окна смотрели не внутрь, а наружу. Майдан был замкнут с трех сторон небольшими строениями, сложенными из плоских кирпичей. Это были торговые лавки, на каждой висел здоровенный, с лошадиную голову, замок. Жилой дом и лавки принадлежали знаменитому богачу ювелиру хаджи Салахиддину, то было его царство.

Али Кушчи постучал в ворота тяжелым медным кольцом, предназначенным для того, чтоб пришедший дал таким образом знать о себе. Довольно долго не отвечали. Потом глухо послышалось: — Торговли сегодня нет и не будет.

— Я из медресе... друг мавляны Мухиддина... Передайте ему, что пришел мавляна Али Кушчи. Первое, что увидел Али Кушчи, когда ему наконец открыли, был какой-то смуглолицый великан, вооруженный саблей. «Ого, у хаджи своя стража?»

— Здравствуйте, устод.

Тихонько приоткрылась на веранде одна из дверей, и тоненькая, словно лоза, молодая женщина в темно-синем платье до щиколоток и с голубым шелковым платком на голове предстала перед Али Кушчи. Она остановилась у порога, потупив глаза и прикрыв лицо розовой кисеей.

«Вот так день выдался сегодня, — подумал мавляна. — Сразу с обоими влюбленными повидался за какие-нибудь полчаса».

— Пусть жизнь твоя будет долгой, дочь моя. Дома ли отец, да ниспошлет аллах вам обоим счастье?

— Дома, устод. Добро пожаловать к нам.

Через веранду Али Кушчи прошел в прихожую, а потом налево в знакомую комнату — опочивальню мавляны Мухиддина. Просторная эта комната с необыкновенным, редкой цены золотым светильником в хрустальных подвесках, что мог быть принят и за дворцовый, застлана китайскими коврами. На сложенных в несколько рядов шелковых одеялах — курпачах[31], на пуховых подушках лежал мавляна Мухиддин. Он не спал и, увидев гостя, столь раннего и неожиданного, хотел было встать с ложа, но Али Кушчи опередил его:

— Ради аллаха, не беспокойтесь обо мне и простите, что тревожу в такую рань да еще занедужившего друга своего, — и, сказав так, заторопился к Мухиддину, присел на колени близ него, пододвинув под ноги себе одно из одеял.

Мухиддин, мужчина немолодой, ему перевалило за сорок, выглядел больным: худой и длинный, он лежал сейчас под дорогой собольей шубой, подогнув ноги в коленях, голову он повязал вышитым шелковым платком, а сверху надел остроконечную тюбетейку.

— Да ниспошлет вам аллах столь желаемое мной исцеление, — Али Кушчи поднял ладони к лицу. — Что сказал лекарь, мавляна?

Мухиддин приподнялся на локтях. Позвал слугу.

Лепешки были горячи и свежи, самса просто таяла во рту, мед, миндаль и кишмиш в тонких фарфоровых вазочках порадовали бы всякого любителя и знатока сладостей, а беседа дальше взаимных расспросов о самочувствии так и не продвигалась. Али Кушчи все время казалось, будто в комнате, знакомой ему, чего-то не хватает. И вдруг его осенило: не было книг на полках! Их заменили хрупкие китайские блюда, стоящие на ребре, прелестные пиалы в золотых ободках, серебряные подносы, отчеканенные по всему полю; изящные медные кувшины и кувшинчики перемигивались в солнечных лучах с разноцветными вазами и тарелками.

Али Кушчи оторвал недоуменный взгляд от полок вдоль стен, перевел его на полулежащего, почти закрывшего глаза свои Мухиддина. Недоброе предчувствие кольнуло Али Кушчи. Он не спросил, что случилось с книгами мавляны Мухиддина, вместо этого сказал:

— Вчера я был в Кок-сарая у устода.

Мавляна Мухиддин шевельнулся, открыл глаза, кашлянул тихонько:

— И к вашему слуге повелитель присылал гонца... Да что я мог сделать, кроме как обратиться к повелителю покорнейшую просьбу простить мне мой недуг, столь неуместный, но оттого не менее сильный... — Мухиддин почему-то покраснел, приподнялся с той же живостью, что и в начале встречи, стал настойчиво угощать гостя. О здоровье Улугбека он не спросил.

— Досточтимый устод передал вам свой привет, — сказал Али Кушчи.

— Да будет он в вечном здравии. Прошу, угощайтесь, откушайте этих яств, почтенный мавляна, — Мухиддин придвинул к Али Кушчи кушанья, разломил лепешку.

Не без холодности Али Кушчи продолжил:

— А вместе с приветом досточтимый устод высказал одно особое пожелание...

Пальцы Мухиддина, ломавшие лепешку, остановились.

— Пожелание? Какое пожелание?

— Да будет вам известно, уважаемый мавляна, сегодня утром повелитель пошел войском против сына своего, мятежника. Станем надеяться, что всевышний вновь не оставит милостью нашего устода и повелителя. И все же, — Али Кушчи тяжело вздохнул, — и все же... откуда нам, простым смертным, постичь волю аллаха... Если птица счастья — хумо бросит свою тень не на устода, а на шах-заде, на сына, что будет значить, что удача отвернулась от отца... то тогда... тогда на нас с вами, друг мой, повелитель возложил обязательство сберечь, укрыть самые ценные книги и рукописи из его... из нашей обсерватории.

— Укрыть?... Не понимаю, где укрыть?

— Разумеется, в надежном месте, мавляна.

— Это место... мой дом, мавляна?!

И такой испуг мелькнул на лице Мухиддина, что Али Кушчи с трудом скрыл усмешку.

— Нет, друг мой, ваш дом не подходит для того, о чем мы беседуем. Ведь речь идет не об одной книге, и даже не о десятке книг: пять или шесть верблюдов не поднимут этого клада.

Мавляна Мухиддин затеребил край скатерти, поигрывая персидскими.

— Коль скоро мой дом не подходит для укрытия столь большого числа книг, то чем же может быть полезен ваш покорный слуга? Не понимаю, чего вы, почтенный друг, ждете от меня?

— Что ж тут непонятного, мавляна? — Али Кушчи уже еле сдерживал возмущение. — Устод считает нас с вами своими ближайшими шагирдами, он соблаговолил возложить на нас эту задачу. Разве воля устода не закон для шагирда?... Я и пришел посоветоваться, как выполнить волю устода.

Огорченный таким поворотом дела, мавляна Мухиддин вымолвил:

— Прошу снисхождения к вашему слуге, мавляна, но задача кажется мне настолько трудной, что без совета благословенного родителя своего не рискую за нее взяться. Если вы позволите...

И Мухиддин, забыв о недуге, торопливо встал с одеял, сунул ноги в узенькие лодочки — кауши, сделанные из блестящей узорчатой кожи.

Мавляна Мухиддин оставил Али Кушчи одного.

Медленно вращая в пальцах расписную пиалу, Али Кушчи вспоминал день, когда хаджи Салахиддин устроил в своем доме пир, созвав всех ученых мужей Самарканда. Был повод: Мухиддин стал мударрисом в медресе Улугбека. Пир тот, нельзя забыть, удостоили посещением благословенный Салахиддин Кази-заде Руми и сам повелитель-устод. Ювелир выложил перед устом редкие старинные рукописи, что собирались для мавляны Мухиддина долгие годы, и тем заслужил похвалу Улугбека... В сущности, все богатство этого дома, почет, коим умело пользовался его хозяин ювелир, — все это по милости султана, благоволившего к Мухиддину. Да, Мирза Улугбек высоко оценил знания и способности молодого мавляны: несмотря на молодость, сделал его мударрисом, положив немалое жалованье. Еще больше, может быть, выиграл отец: хаджи Салахиддин был зачислен в тарханы, и уж ему ли, освобожденному от всех податей и налогов, было не развернуться со своими финансовыми дарованиями! Мирза Улугбек дал ему грамоту, освобождающую даже от налога — тамги, обязательного, казалось бы, для всех торговых людей. Словом, хаджи Салахиддин милостью Улугбека превратился во влиятельного в Мавераннахре человека, не говоря уже о том, что стал самым большим, пожалуй, скупщиком и менялой денег в Самарканде. «Что же он предпримет теперь, когда на голову устода пала беда?» — подумал Али Кушчи.

Хаджи Салахиддин вошел в комнату неторопливо, приостановился у порога, чтоб внимательно оглядеть гостя. Опираясь он на белую трость слоновой кости, но двигался легко и непринужденно, несмотря на свои семьдесят лет. Была в ювелире скрытая, не заметная первому взгляду красота — в одежде безукоризненного вкуса и понимания своего возраста, в худобе лица, почти гладкого, без морщин, в статности, делавшей его, маленького ростом, гораздо выше, во взгляде, острота которого сравнивается обычно с орлиной.

Али Кушчи поднялся и отвесил вошедшему почтительный поклон.

Старик приставил к стене трость, любовно погладив ее рукоятку, инкрустированную жемчугом, неторопливо прошел на почетное место и опустился на курпачу. Али Кушчи и сыну указал, куда сесть — рядом, по обе стороны от себя.

Юноша-слуга появился в комнате, неслышно освободил скатерть — дастархан от серебряных подносов с едой, а потом принес золотые — с фруктами и сладостями. Пятясь и кланяясь, слуга покинул комнату, и только тогда Салахиддин произнес первое слово, повернув к гостю голову и внимательно взглянув ему в глаза:

— Давно не испытывали радости видеть вас в нашей убогой хижине, уважаемый мавляна. Но лучше поздно, чем никогда. Добро пожаловать!

«Убогая хижина» вызвала у Али Кушчи ироническую усмешку, но он вовремя успел погасить ее.

— Благодарю вас... Я пришел в ваш замечательный дом, почтенный хаджи, с радостным чувством друга и ради исполнения важного долга, о коем мавляна Мухиддин, наверное, успел сообщить вам. Салахиддин-ювелир кивнул утвердительно. Отхлебнув душистого чаю из пиалы, неторопливо заговорил:

— Прежде чем обсуждать это дело, хотел бы сказать два-три слова, уважаемый мавляна... Знаете ли вы, что Мирза Улугбек лишился престола, а тем самым и возможности распоряжаться в государстве нашем?

Глубоко посаженные глаза старика из-под густых насупленных бровей впилась в Али Кушчи.

— Недостойные слухи, почтенный хаджи! Ваш покорный слуга не далее как в эту ночь был во

дворце у повелителя. А сегодня на рассвете войско султана Улугбека...

Ювелир нетерпеливо передернул плечами.

— А известно ли вам, что осчастливленный благосклонностью аллаха шах-заде Абдул-Латиф со своей ратью уже стоит на перевале Даван и все военачальники Мирзы Улугбека перешли на сторону сына?

О размерах беды Али Кушчи догадался еще ночью, глядя на своего повелителя. Но откуда так быстро узнал о состоянии дел повелителя Салахиддин-ювелир?

Али Кушчи вопрошающе взглянул на Мухиддина. Мавляна сидел отрешенно, втянув голову в плечи.

— Так вот, — продолжал ювелир, — теперь спрошу я вас, мавляна Али, хорошо ли подумали вы о том, как опасно в объясненных мною условиях житейских предприятие, за которое вы взялись? Да к тому же, — старик протянул пустую пиалу сыну, — пытаетесь вовлечь в него и моего сына.

Али Кушчи готов был возразить, но хаджи Салахиддин повысил голос:

— Да станет вам известно еще и то, что сокровища знаний, кладезь премудростей и прочее, про что вы так красноречиво говорили и что хотите спрятать, должно быть по вынесенному решению сожжено!

— Какой невежда мог вынести подобное решение?!

— Из сказанного мной следует, — ювелир не снизошел до ответа на вопрос Али Кушчи, — что тот, кто вознамерился бы уберечь книги от гнева праведных людей, верных исламу, есть нечестивец и заслуживал бы сожжения на костре... возможно, том же самом, где сгорят книги... Ибо решение то — фетва[32], оно не отменяется, раз вынесли его высшие духовные наставники наши. — Старик криво улыбнулся. — Подумали вы об этом, мавляна?

Плохо скрытая угроза была в словах Салахиддина: Али Кушчи непроизвольно пригнулся. Старик, властный, много видевший в жизни, вкусивший немало и радостей и горестей ее, умел влиять на людей так, как было ему нужно. И старик был прав, говоря о рискованности затеянного предприятия. Но было ведь ясно еще и то, что ювелир запугивал Али Кушчи, несомненно запугивал.

Али Кушчи выпрямился. Разве об опасностях не предупредил его и устода? Разве сам он не понимал, на что идет, принимая приказ, нет, не приказ, а поручение, просьбу, мольбу Улугбека?.. Что же, поддаться страху и запугиваниям, предать устода, перейти из медресе в мечеть? И шапку мударриса сменить на чалму имама[33] — священнослужителя?

Хаджи Салахиддин по-своему объяснил молчание собеседника.

— Мавляна Али, — голос старика дрогнул, наливаясь ласковостью, — аллах свидетель, вы дороги мне не менее его, — старик протянул руку к Мухиддину и принял вновь наполненную сыном пиалу. — Ваша беда — словно его беда. Как отец, говорю, не играйте... с огнем, будьте осторожны, очень осторожны!

В искренность этих слов трудно было не поверить. И, если б не память о горестном лице устода, Али Кушчи, может быть, и поверил бы ювелиру, ибо великое это дело — опыт житейский на службе человека хитрого и умного, сведущего в сердцах других людей. Но теперь Али Кушчи успокоился и лишь злился на себя да вот на этих двух... вдруг ставших чужими людьми, испуганных и жалко-хитрых.

— Благодарю вас за советы... отец мой. Ваш слуга преисполнен уверенности в том, что они даны искренне. Однако, — Али Кушчи проглотил комок, ставший в горле, — однако... не об обычных

драгоценностях, не о золоте или камнях веду я речь с вами, а о жемчугах науки, знания, о мыслях тех, кто мудрее мудрых. Сорок лет великий устод Мирза Улугбек собирал свою сокровищницу, и вам ли не знать, сколь многотрудным было это дело. Это сокровище может делать простых смертных истинными сынами человеческими. Так, надеюсь, произошло со мной, и думаю, что шагирд, который забудет хлеб и благосклонность устода, дарованные им знания, уподобится... слепцу, отец мой. И ваш слуга предпочитает сгореть на костре, разожженном невеждами, чем откажется от исполнения воли повелителя... Слово устода — закон для шагирда, не правда ли, мавляна? — обратился вдруг Али Кушчи к мавляне Мухиддину.

Тот все сидел не шелохнувшись, в прежней согбенности, и остроконечная тюрбетейка склонялась все ниже и ниже.

— Мавляна Али, — пришел на помощь сыну старик ювелир, — счастлив человек, обладающий не только знаниями, но и красноречием. Вы сказали прекрасно. Слова ваши блестящи и многомудры... Но мудры они скорее мудростью талиба, только что переступившего порог храма науки, чем истинно ученого мужа, каким вы являетесь. Простите старика, мавляна, но где же присущая ученому осмотрительность и дальновидность в суждениях?

Старик погладил седые брови и, видя, что гость хочет возразить ему, снова повысил голос:

— Кому вы рассказываете о щедрости и заботливости Мирзы Улугбека? И кто спорит о том, как должен вести себя ученик, если он признает кого-то своим учителем?.. И зачем вы взываете к благодарности нашей, если знаете, как поступил с моей любимой внучкой сын султана? Иль вы не знаете этого?! Иль это можно простить?! Благосклонность Мирзы Улугбека!.. Не потому ли она и была оказана, чтобы загладить вину?

Али Кушчи приготовился сказать, что благосклонность была проявлена и до прискорбной истории, но старик вдруг на его глазах расплакался, скрыв свое лицо шелковым благоуханным платком.

— Устод не ведал о планах Абдул-Азиза, он наказал сына... и он просил передать вам еще раз свое сочувствие и извинения.

Салахиддин вытер глаза, взмахнул рукой. — Что взять с извинения, мавляна? Разбитый сосуд не склеить, вдову не превратить в девственницу!

Али Кушчи вспомнил Каландара, оскорбительный отказ Салахиддина видеть бедного влюбленного мужем своей внучки. О ее ли счастье заботился тогда гордый богач?

— Что было, то было... отец мой, — Али Кушчи уже не сдерживал раздражения. — Но мы говорим о другом — о том, что нечестно оставлять в трудную минуту устода, прикрываясь подлостью другого человека, пусть и его сына!

Хаджи Салахиддин, старый лис, понял, видно, что надо решаться на завершающие слова.

— Мавляна Али! Каждый смертный волен поступать по-своему, аллах же рассудит нас всех. Вы пошли на риск, воля ваша... Из-за сокровища, как вы назвали книги, ваш покорный слуга... и его сын, — кивнул Салахиддин на Мухиддина, — не поставят под удар спокойствие и благополучие своих близких. Это все, мавляна!

— О хаджи! Вы могли бы не опасаться того, что я вовлеку вас с сыном в это опасное дело. Я пришел к вам попросить немного денег... и, конечно, мудрого совета.

— Денег?

— Не пугайтесь, почтенный! Я не имею в виду взять у вас займы. Повелитель передал мне кое-

какие камни, драгоценности, несколько золотых слитков, дабы обменять их на деньги, которые, надо полагать, мне пригодятся.

Хаджи Салахиддин весь встрепенулся, преобразился.

— Драгоценные камни, говорите? Что за камни? — подался вперед старик.

— Где вашему покорному слуге разбираться в камнях? Я могу только припомнить, что устод сказал о том, что камни остались у него от деда...

— От великого эмира Тимура Гурагана?! — Степенный хаджи Салахиддин даже подскочил на месте, щеки его залил румянец. — Принес ли уважаемый мавляна эти драгоценности с собой или припрятал?

— Разумеется, припрятал.

— Куда? — полушепотом спросил старик. — Ну, я имею в виду — в надежное ли место?

Перед Али Кушчи ожила картина: внутренняя комната в обсерватории, полки, полные книг.

— В надежное, уважаемый хаджи.

— Камни эмира Тимура! Да, мавляна, тут надо быть очень-очень осторожным... О камнях слышал только я, мавляна! Даже он не слышал! — взмах руки в сторону сына. — Только я, договорились?.. Самое надежное место — мой дом. Мы сойдемся в цене, я думаю.

Али Кушчи отвел глаза от раздумывавшегося лица ювелира. «Правильно ли я сделал, сказав о драгоценностях Тимура Гурагана? Но как же иначе поступить? И кто обменяет мне драгоценности на деньги, если не Салахиддин? Его рекомендовал и устод, правда, вряд ли предполагая, что здесь так поступят с его посланцем».

Али Кушчи вдруг почему-то вспомнил о матери, приехавшей к нему сегодня, ее слова об опасности, которые угрожали шагирдам Улугбека.

И черный страх ударил холодом в сердце.

6

Мирза Улугбек ехал впереди своего войска на белом арабском скакуне — прошлогодний подарок правителя Багдада. Рати эмира Джандара и Султаншаха Барласа ушли вперед. Сам Улугбек вел несколько туменов, и, хотя в каждом не было точно десяти тысяч всадников, как полагалось по воинскому уставу, завещанному еще Чингисом, войско было большим, и степь содрогалась; за воинами вслед тащились оружейники, дворцовые слуги, бакаулы в крытых арбах; ржание коней, рев мулов и верблюдов, звон оружия сливались в общий грозный гул, как при землетрясении.

Обычно сановники и военачальники окружали султана. Сегодня они приотстали, будто не желая мешать думам Улугбека.

В одиночку скакал и Абдул-Азиз. То, настегивая аргамака, мчался вперед, то пускал коня в галоп и уходил в сторону невысоких холмов, что тянулись в степи сбоку войска. Он старался казаться беззаботно-спокойным, но лицо, бескровное, бледно-желтое, словно тигровая шкура, наброшенная на его коня, мятущийся взгляд, сама беспорядочность движений — все выдавало волнение, взвинченность молодого шах-заде.

Но ничего этого не замечал отец.

Не обращал внимания Улугбек и на нетерпеливое желание своего скакуна, откормленного, застоявшегося без походов и охот, ринуться вперед, не разбирая дороги, птицей помчаться по степи, порвав удила. Напрягалась по-лебединому прекрасная шея коня, резко и вразброс гремели

колокольца на его холке и маленькие серебряные колечки на оторочке седла, но ничего этого не замечал всадник. Он опустил на грудь отяжелевшую голову; рука с привычной твердостью сжимала поводья.

...Третьего дня, в обычную теперь для него бессонницу, Улугбек сидел в библиотеке, листая книги. И натолкнулся на одно сказание...

Однажды прославленный на весь мир падишах Индии выехал на охоту. Была с ним свита, был и сын, единственный наследник. Падишах, посадив любимого черного беркута себе на плечо, помчался вскачь по берегу реки, а за ним князья и воины. Вырвался падишах вперед, один из воинов и начал кричать: «Остановись, повелитель, там в зарослях тигры!» Но падишах не послушал воина и все так же вскачь углублялся в заросли. Вдруг из-под копыт коня прыснули две золотистые лисицы и кинулись бежать перед всадником. А он, отпустив поводья, дал полную волю бегу коня. Лисицы внезапно умножились вдвое, потом обратились в восемь, и некоторые на бегу оглядывались на падишаха и скалили зубы, будто в насмешку. И тогда разгневанный властелин выпустил любимого беркута. Но тот, — о, неожиданность! — не глянув на лисиц, взмыл вдруг ввысь и низвергся оттуда камнем на самого падишаха! Кинжалом пришлось отбиваться властелину, да тщетно: уловив удобный момент, беркут вырвал ему правый глаз; бросив оружие, падишах прикрыл руками лицо, опасаясь за левый, и тут-то заметил, что это не беркут терзает его, а родной, единственный сын, одетый во все черное. Сын, обратившийся в беркута!..

Вот полных два дня прошло, а не уходит из головы это сказание. Словно нравоучительная притча оно.

Или опять припоминается дурной сон, давний, четверть века прошло, как приснился впервые. Тогда еще кипчак Барак-хан выступил против него, Улугбека...

Приснилось тогда, будто он, молодой в ту пору правитель Мавераннахра, убежал к мавзолею хаджи Ахмеда Ясави, что возвышается в городе Ясси, убежал от нелюбимой жены своей Угабегим. Одетая в яркие китайские шелка, побежала она за ним, звеня тяжелыми индийскими серьгами и багдадскими браслетами. Догнала на верху мавзолея, вцепилась в платье его, бесстыдно предлагая себя ему.

Улугбек кинулся вниз, но не упал на землю, а, став птицей, полетел по небу. Но и Угабегим превратилась в стервятника, возобновила погоню. И снова метнулся Улугбек под защиту лазурного купола мавзолея, как вдруг с треском распалось надгробие хаджи и послышалось грозное: «Эй, Мухаммад Тарагай! (Так и только так называл его дед Тимур, потрясатель вселенной.) Эх, внук мой, престолонаследник Мухаммад Тарагай! Куда же ты? Стой!»

И Улугбек увидел деда: торчмя торчал он из чужой могилы, увенчанный остроконечным шлемом, разъяренный и... черный — от одежды ль, от гнева?

«Султан Мухаммад Тарагай! На то ли я надеялся, сажая тебя четырнадцатилетним юнцом на престол Мавераннахра?! А ну-ка ответь, правитель, зачем я воздвиг мавзолей, столь громадный в этой бесплодной степи? Отвечай!»

Грозно говорил это дед, всегда столь ласковый с ним, любимым внуком. Улугбек ответил:

«Чтобы порадовать светлый дух благословенного святого хаджи Ахмеда Ясави.»

«Порадовать дух?! — загремел Тимур. — Не знаешь! Скажу. Чтоб страх навести, понял? На чернь, во-первых! А во-вторых, на врагов моих извечных, золотоордынцев и кипчаков... Пусть смотрят на это до небес достающее надгробие, пусть трепещут перед мощью нашей и величием... Ну а теперь

гляди вниз: кипчаки и калмыки топчут эту священную землю, — глаза Тимура метали молнии, — враги овладевают городом!»

И было так на самом деле: увидел Улугбек с мавзолея тучи пыли, языки огня, что облизывали дома и лавки, блеск сабель свирепых степняков.

«Мавераннахр в огне и дыму! — закричал исступленно Тимур. — А ты со своей бесстыдной прелюбодейкой... что делаете вы здесь? Знай же, я возвел тебя на престол, я же низвергну тебя с него!.. Или ты прогонишь врагов, или отдашь престол!»

И Тимур стал вдруг расти, расти, выскочил из могилы и пошел к нему, Улугбеку. Тот в ужасе проснулся, будто вынырнул со дна преисподней, весь мокрый от пота... А самое удивительное, что на рассвете того же дня к нему явились посланцы-джигиты из окраинного города Ясси, десять человек, прося помочь им, послать сильное войско против Барак-хана, что уже овладел их городом и соседним Сигнаком.

Неудачлив, ох как неудачлив оказался тот Улугбеков поход... И если бы не Каландар Карнаки, о котором он говорил ночью с Али Кушчи!.. Отважный воин-степняк Каландар спас его тогда от смерти, даже хуже, чем от смерти, — от плена. Что позорнее было бы для Тимурова потомка?! Каландар и его джигиты пробили тогда, в битве сигнакской, кольцо кипчакских воинов и, схватив его коня за поводья, вывели из окружения...

И давний дурной сон, и недавно прочитанная притча о черном беркуте — все одно к одному.

«Неужели не будет удачи и в этом походе? О аллах, не лиши заступничества меня, раба своего!»

Уже в течение недели каждый вечер составляет он гороскоп — зойча, в движении звезд пытается предугадать свою судьбу, но она ускользает, покрывается туманом. То, что раньше казалось ясным как день, ныне лишается определенного толкования. Или небеса не желают открыть ему тайну грядущего, или собственный его разум ослабел, высох, словно река в зной.

...Улугбек поднял голову, оглянулся по сторонам. Солнца не видно в тучах пыли. На холмах вдали и на близких нивах, где все было скошено подчистую, в садах и рощах, мимо которых шло войско, нигде ни души. Точно перед набегом разбойничьей орды, все попряталось — и люди, и овцы, и собаки. Да и есть ли разница для кишланика-дехканина, облагает ли его поборами войско победоносного Тимура, или справедливца-неудачника Улугбека, или лихая степная ватага...

Сизый туман скрывал вершины гор, гряда которых рассечена перевалом Даван, и дорогу, что вела к нему.

Там, за грядой, родные места Улугбека, земля предков. И дед и внук особо заботились о Кеше, городе, где в мавзолее Ак-Сарай, сооруженном по велению Тимура, покоится прах первых барласов [34], зачинателей династии. А у подножия Давана дед разбил когда-то «Райский сад», «Баги бешишт». Там росли банановые деревья, пересаженные из индийской почвы, финиковые пальмы-египтянки, расточали дивный, истинно райский аромат китайские яблони; рощи душистых елей, росших ближе к горам, скрывали белых архаров, чьи рога нельзя было охватить и при полном размахе рук; в рощах бродили игривые тонконогие олени, газели с невинно-печальными глазами; в прозрачных родниках, в маленьких искусственных озерцах, полных хрустально-чистой воды, резвились золотые рыбки... Дед Тимур часто отдыхал в этом саду после походов: охотился в еловом предгорье, устраивал пиры, что поражали пышностью тех послов, которых благоволил приглашать сюда потрясатель вселенной.

Кто там сейчас, у горной гряды? Его ли военачальники или, может быть, уже и туда успели конники Абдул-Латифа? Бобо Хусейн Бахадыр, любимый нукер, до сих пор не принес вестей, а послан ведь был еще ночью!

Кто-то сзади подъехал к Улугбеку, прикосновением к колену вывел султана из задумчивости.

— Прошу простить, повелитель, но пора делать привал. Не то упустим время вечерней молитвы.

Да, верно. Солнце уже садится, сгущаются сумерки, в воздухе похолодало, и, как вчера, задул холодный ветер, заставляя людей поеживаться. Вон и Абдул-Азиз, недавно столь приткий, сидит на коне угрюмо, кутается в соболью шубу: с самого рождения такой — то весь кипит, не зная, куда себя деть от волнения, то замыкается, становится будто не от мира сего.

— Где сарайбон? — крикнул Улугбек сыну. — Передай, пусть распорядится насчет привала!

Вскоре войсковые барабаны цограемели остановку. По обе стороны от дороги разбили лагерь; воины собирались по десяткам и сотням, рассыпались по степи, там и сям загорелись костры; стали готовить ужин, и поплыл, согревая душу и тело, взбадриваемый осенним ветром запах кизняка, сухой травы, миглом собранного хвороста. Шатер султана — на добрую сотню человек — поставили под прикрытие Разбойничьей горы, на ее склоне, слева от караванной дороги. Ниже выросли палатки слуг. Они кололи саксаул, привезенный с собой, резали овец, бакаулы-повара готовили шампуры и мясо. К шелковому шатру султана в таких походах вечерами созывали всех эмиров и беков; на дастархан выставляли изысканные блюда, в золотых чашах плескалось вино, шипел разливаемый из бурдюков кумыс. Иногда приказывали явиться музыкантам и танцовщицам — тогда — пир длился всю ночь. Сейчас же Улугбеку не до пиров. После вечерней молитвы он пожелал, чтоб его скромный ужин разделил с ним один лишь шейх-уль-ислам.

Шейх-уль-ислам Бурханиддин, сорокалетний мужчина без единого седого волоса в бороде, пользовался доброй репутацией среди близких Улугбеку людей. Он не был таким же мудрым и проницательным советчиком — мюршидом[35], как его отец, покойный шейх-уль-ислам Исамиддин, но, насколько мог и умел, поддерживал султана, предохраняя от козней и неистовства фанатичных улемов. Должность главного законника государства важна и уважаема, с ней приходилось считаться всем.

Бурханиддин, пройдя по мягкому ковру, брошенному поверх сухой травы, предстал перед Улугбеком.

От свечей, вставленных в переносный походный светильник, в шатре потеплело. Мирза Улугбек и Абдул-Азиз скинули верхнюю одежду.

По знаку султана шейх-уль-ислам занял место рядом. Лицо Улугбека было каменно-непроницаемым, печальным. Поникший сидел Абдул-Азиз.

— Что случилось, повелитель?

Тень удивления прошла по лицу Улугбека: к чему спрашивать, разве не ясно, что происходит?

— Ас-салотин зиллолоху фил-арз[36]. Так сказано в Коране. По воле всевышнего все уладится, повелитель. Печаль не должна овладевать сердцем владыки!

«И этот думает про то же самое... Про то, что печаль моя от страха за власть, за обладание престолом. Непонятливые души!»

Улугбек взглянул на Абдул-Азиза и, словно стесняясь его, произнес:

— Печаль не может не владеть сердцем того, кто вынужден сражаться против собственного сына.

Шейх-уль-ислам понимающе качнул головой. Закинул назад конец тяжелой, распутившейся немного чалмы.

— Конечно, конечно, повелитель... Но воля отца — закон для сына. И если последний не поступает согласно сей мудрости, а это мудрость и Корана и обычая, то родитель вправе по-своему судить отпрыска, проявившего непокорство.

Разве не знал Улугбек об этом праве? Знал, сам утешал себя этим правом, и все же слова шейх-уль-ислама несколько облегчили тяжесть, от которой страдала душа. А Бурханиддин, догадываясь, что сейчас надо говорить, продолжал степенно, рассудительно, будто внушая:

— Престол ваш, повелитель, и ничей, кроме как ваш! Держите же меч, поднятый во имя справедливости, во имя шариата, держите крепко, и да не задрожит ваша победоносная десница...

Плохо, что нет вестей от гонцов, хоть мы целый день уже в походе. Что в Кеше? Что с нашими передовыми ратями? Есть сведения о них, повелитель?

И как раз в этот момент в шатер ворвался звук бешеной скачки, храп резко остановленного коня, яростные вскрики, видно, напуганных стражников. Кто-то вбежал в шатер; в полусумраке Улугбек не сразу разобрал, кто это был, а узнав, вздрогнул: «Эмир Джандар?!»

То же имя вслух выкрикнул шейх-уль-ислам.

Они не ошиблись: на краю ковра, недалеко от входа, пал ниц, нелепо откинув на сторону кривую саблю, эмир Джандар, военачальник Улугбека, предводитель одного из авангардных отрядов. Шлема на нем не было. На бритой голове резали глаз давние сабельные шрамы.

Улугбек позабыл о сдержанности, вскочил с места, закричал яростно:

— Что случилось?! Почему ты в таком виде? Где конница?!

Эмир Джандар оторвал лоб от ковра, выпрямился; смелости посмотреть в глаза султану у него хватило.

— Повелитель, вели казнить, но не могу скрыть жестокую правду: наш авангард попал в западню!

— Какую, где?!

— Хитрый Абдул-Латиф спрятал в засаде не меньше десяти тысяч воинов, они ждали нас уже на перевале. Мы подошли, они словно коршуны напали сверху... и сзади... и проглотили наших...

Силы были неравны, повелитель.

— Где Султаншах Барлас?

— О смерти своей знаю, повелитель, об эмире Султаншахе нет!

Улугбек застыл посреди шатра темной каменной глыбой. При неверном свете свечей за спиной черна была его бобровая шапка с жемчугами, черно лицо...

— Что распластался?! — крикнул он Джандару. — Где шлем боевой, достойный эмир?.. Поправь саблю, вставай и убирайся!.. Полководцы! — тяжело задышал, двинулся, сжав кулаки, к Джандару. — Эмиры с сердцами зайцев!.. Бойтесь наследника моего!.. Ладно, я сам поведу на него войско...

Убирайся, говорю!

Джандар, пяясь, выбрался из шатра. Подавив слепую ярость — дедово наследство, — Улугбек обернулся к Абдул-Ази-зу. Тоже заяц! Сидит весь бледный, нахохлился, челюсть дрожит...

— Ступай и ты! — обратился Улугбек к сыну. — Скажи начальнику охраны, пусть соберет сюда всех эмиров. Да живее! — Прошел к своему месту, все еще дрожа от гнева, в глазах, в раздутых ноздрях прямого носа — решимость, озлобленность.

Шейх-уль-ислам осторожно спросил:

— Какое решение принял наш повелитель?

— Будем сражаться!

— Да снизойдет на вас благоволение аллаха!.. А где сражаться? Может, оставить здесь несколько отрядов во главе с достойными доверия эмирами, а главные силы отвести в Самарканд? Стены столицы могучи, а народ предан вам, повелитель...

Губы султана скривились в злой усмешке.

— Достойный доверия? Кто это? Назовите!

— Эмир Султаншах... и эмир Джандар... и...

— Еще?

— Нужно подумать, повелитель... Вам это виднее, чем слуге вашему...

— Э-э, виднее, не виднее... Слова, слова... Сейчас мы их всех увидим, верных эмиров, храбрецов.

Предводители туменов и тысяч один за другим вместе с придворными входили в шатер, занимали заранее известные, по издавна узаконенным правам знатности и порядка места. Первым вошел начальник войска правой руки эмир Идрис-тархан, мохнатобровый, волосатый и, как всегда, угрюмый: сел рядом с Бурханиддином. Толстый Искандер Барлас (живот словно шар), шумно дыша, явился вторым, просеменил по ковру, забился в угол потемнее. Эмир Джандар, теперь уже в шлеме, разукрашенном золотистыми насечками, увенчанном пером — знаком эмирского достоинства, ничем не напоминал того человека, что униженно валялся несколько минут назад на том же ковре, по которому сейчас прошествовал самоуверенно и высокомерно. По кивку Улугбека он сел чуть правее шейх-уль-ислама.

Расселись полукругом. В шатре установилось молчание.

«Вот они, надежда моя и оплот», — подумал Улугбек, оглядывая эмиров и вельмож красными от бессонницы глазами. В собольих и лисьих шубах, в дорогих парчовых халатах, в шапках бобровых или шлемах остроконечных, отделанных золотом, камнями, пояса-то, пояса тоже золотые, серебряные, у сабель рукоятки непростые — из слоновой кости, с драгоценными вкраплениями. От Улугбека их богатство, их высокое положение. Скольким обязаны они ему! Но, выходит, правы мудрецы, полагающие, что ничто так не подрывает твоей верности, как обязанность оплатить благодеяния, тобой полученные. На кого из сидящих здесь можно и впрямь положиться, на чью искреннюю преданность можно рассчитывать?

Надо было начинать совет.

— Почтенные эмиры и сановники! — Голос Улугбека был сдержанно-спокоен, звучал, как всегда, глуховато. — Скажу сразу о нерадостной новости. Авангард наш попал в засаду на перевале Даван. — Улугбек обвел взглядом сидящих перед ним: кто как воспримет эту весть? Но все сидели с опущенными глазами и не проронили ни звука. — Иные эмиры, вот самое нерадостное для меня, перешли на сторону бунтовщика-наследника... Это подло! Но говорю вам: кто испытывает страх перед шах-заде, неверие в силу мою, пусть тоже уходит. Клянусь аллахом, я не попрекну их ни своим хлебом, ни другими милостями...

Ни звука в ответ.

Улугбек иронически усмехнулся и продолжал:

— Да будет вам известно, что войско Абдул-Латифа превышает наше...

Первым не вытерпел эмир Джандар. Будто зашипел от оскорбительных намеков.

— Эмир Джандар? Что-то хотел сказать?

Джандар с несвойственным для себя проворством вскочил на ноги, поклонился.

— Что угодно будет нашему повелителю приказать, то мы и сделаем, воля благодетеля — закон... разве не так? Зачем говорить о перебежчиках... мы не они... разве не так?

— А что скажет эмир Искандер Барлас?

Тот поднялся, сложив руки на круглом животе, затараторил было:

— Прав, прав эмир Джандар... За всех нас сказал... Готовы, мы все... готовы, как один, выполнить вашу волю, повелитель... ваша воля...

— Моя воля? А ваша, ваша-то? Готовы исполнить — ладно, а где у вас собственные головы?

— В ваших руках, в ваших... — заученные ответы посыпались со всех сторон.

«Пока в моих... а сердца ваши коварные в чьих?» Снова всматривался Улугбек в своих сподвижников, в тех, кто должен быть сподвижниками. Обменялся взглядами с Идрисом-тарханом, с шейх-уль-исламом, другие отводили глаза. «Ждут, от меня решения ждут... Сами ничего не скажут». Поерзал на месте шейх-уль-ислам Бурханиддин, но тоже промолчал.

— Воля моя такова: дадим бой шах-заде... Здесь дадим!.. Кто еще скажет что-нибудь, кто какой совет даст?

Ни звука.

— Кончим на этом! Готовьте свои отряды... Все свободны.

Эмиры, беки, вельможи только того и ждали — будто талибы по окончании урока, шумно повскакали с мест и, толкая друг друга, заспешили к выходу. Талибы? Лучше сказать, будто овцы, подумал Улугбек, давая знак задержаться шейх-уль-исламу. Остался и Абдул-Азиз.

Медленно прохаживался султан по ковру, не зная, что же теперь сказать, но чувствуя потребность в разговоре.

И снова топот коня за стеной, голоса стражи. Это гонец! Бобо Хусейн!

Шлем чуть сдвинулся от земного поклона, железная кольчуга зазвенела, когда воин пал на колени перед повелителем. Этот верен, этот не подведет, не предаст.

Улугбек дал возможность нукеру отдышаться.

— Ну, рассказывай...

— Повелитель... когда мы встретили бежавших... после битвы на перевале... то среди них увидели того, кто подставил наши передовые отряды под удар из засады.

— Где он?!

— Мы захватили эмира Султаншаха и двух его сыновей. Они хотели сбежать... Несмотря на то что эмир ранен, мы их... Мы не дали им сбежать, повелитель.

Улугбек зло посмотрел на Абдул-Азиза: эмир Султаншах был братом жены Ибрагима-тархана, сына которого беспричинно обезглавил шах-заде.

Абдул-Азиз съежился под гневным взглядом отца.

— Эмира я подвергну казни за измену и за кровь моих воинов... Но конницу не вернуть, вот что страшно, Бобо Хусейн. Что предпринять, как поступить теперь? Как ты думаешь, нукер?

Бобо Хусейн поднялся с колен, посмотрел прямо в глаза повелителю.

— Коли спрашиваете, повелитель, скажу. В открытом месте нам не одолеть шах-заде. Он умный,

опасный противник. И хитростью действовать умеет. История с эмиром Султан-шахом тому пример, — прозрачно намекнул Бобо Хусейн на то, что имеет в виду, говоря о хитрости наследника. — Надо идти в Самарканд, повелитель. Среди народа Самарканда труднее... хитрить... Если уж сходить с шах-заде врукопашную, то под стенами города. По милости аллаха, может, и победим... с помощью ополчения, повелитель. А не победим, так не все проиграем: за городскими стенами отсидимся.

Улугбек заметил, как подтверждающе закивал головой шейх-уль-ислам Бурханиддин. Услышал, как вполголоса, запинаясь, сказал Абдул-Азиз:

— Д-дельный совет...

Ну, этот-то, ясное дело, боится брата: попади он к нему в руки, Абдул-Латиф не посмотрит, что брат, быстро устранил соперника. «Какой ужас, — подумалось Улугбеку, — и это мои сыновья!»

Противоречивые чувства боролись в душе султана. Он ведь сказал уже о битве, он дал приказ готовиться к бою. Но не один шейх-уль-ислам, вот и воин, опытный воин Бобо Хусейн советует отступить к столице. Бобо Хусейн уповаet на ополчение. Но поднять чернь — значит еще больше поколебать верность эмиров. И все равно неясно, как одолеть Абдул-Латифа. Во всяком случае, рассудок подсказывает, что вдали от столицы сил у него, Улугбека, меньше и, если уж суждено им таять из-за измены, они будут таять здесь быстрее.

— Ладно, будь по-вашему! — Улугбек махнул рукой. — Абдул-Азиз, передай приказ — конницу прикрытия собрать воедино, она остается здесь под началом эмира Джандара. Остальным строиться и двигаться по прежней дороге назад к Самарканду...

Улугбек остался один. Какая эта по счету бессонная ночь? Скорее бы все кончилось! Так или иначе, но кончилось бы!

В шатре было душно, и Улугбек вышел наружу.

На востоке еле-еле начинало светлеть. Бледно-желтая полоска лишь слегка ослабляла свечение звезд, что густо рассыпались по всему небу. Яркие ночью костры потухли, войско словно растворилось в темноте, только палатки выделялись черными пятнами, да еще там, где пробивался робкий рассвет, можно было разобрать человеку с орлиным зрением движущиеся точки — пасущихся распряженных на ночь лошадей и верблюдов. Вблизи же ничего не разглядишь. Лишь звуки доносятся ясно: то звякнут стремяна какой-то лошади, то простучит колотушка ближнего часового.

Сложив на груди руки, Улугбек долго стоял перед шатром, смотрел на небо.

Звезды!.. Полвека уже влечет его к ним непонятная сила. Сколько часов отдал он наблюдениям за ними, и сколь радостны были эти ночи без сна!

Да, за полвека он стал кое-что понимать в их движении, неостановимом и таинственном. Чуть-чуть приоткрыл завесу этой тайны и думал, что, сделав это, приоткроет и тайны человеческих судеб. Вот уж где ошибся!.. Какие земные тайны мог он раскрыть, если злых вожелений у собственных детей не смог заметить, не смог понять вовремя, а, поняв позже, оказался бессильным противодействовать! На горизонте, там, где начинался рассвет, ярко вспыхнула любимая Улугбеком Зухра — планета Венера. Выше ее тускловато блестит Муштарий — Юпитер. Если год рождения человека совпадает с противостоянием этих двух звезд, значит, считают астрологи, такого человека никогда уже не покинет хумо — птица счастья. Дед Тимур в самом деле родился близко от года противостояния этих светил. Был ли он счастлив, дед? Наверное, был, хотя все зависит от того, как понимать смысл

слова «счастье». Удачлив в битвах за власть, а потом в мирозавоевательных походах, да, удачлив был в этом эмир Тимур Гураган. Наверное, так удачлив будет и его правнук. Во всяком случае, на голову внука птица хумо что-то давно не садится.

Грохот барабанов и рев карнаев разорвал тишину военного лагеря, что досматривал последние предутренние сны. Быстро — как учил Тимур, а прежде него еще Чингис — поднималось по побудке войско. Лагерь зашумел, словно осиное гнездо, разворошенное палкой.

Птица хумо не любит тех, кто идет назад, да еще той самой дорогой, по которой шел сначала вперед. Своенравная птица не любит неудачников.

7

Каландар Карнаки должен был явиться к шейху Низамид-дину Хомушу на рассвете, пред утренней молитвой. Каландар точно выполнил приказ, но вот уж и день подходит к концу, и прозвучал призыв на молитву вечернюю, а его все еще не зовут со двора к шейху.

Внутренний двор дома шейха с одной стороны соседствовал с кладбищем «Мазари шериф», с другой примыкал прямо к мечети. Но сегодня шейх даже мечеть не посетил: приемные покои его дома целый день были полны посетителей. То были священнослужители, вельможи, эмиры и беки; сквозь их толпу нередко проходили какие-то гонцы — их звали вне очереди. Без конца отворялись двустворчатые массивные ворота, что вели в первый, внешний двор, отделенный от внутреннего еще одним забором с калиткой.

Во внутренний двор Каландару так и не удалось попасть. Он сидел на помосте у водоема, который был вырыт посредине внешнего двора и украшен по бокам мраморной плиткой, сидел терпеливо, поглаживая холодный камень, неосознанно наблюдая за теми, кто входит к шейху и выходит от него; еще он следил за работой молодых мюридов. Осенний ветер, стихший было к полудню, в предвечерние часы снова задул, как и все последние дни, в прежнюю силу. Ветер покачивал стволы чинар и серебристых тополей, срывал листву с их ветвей, разноцветный ковер лежал на площадке двора, на зеленой глади хауза, на клумбах, только дорожки подметали, тщательно и постоянно, мюриды. Гости шли по гладкой, точно полированной, земле.

Каландар отметил про себя, что до полудня к шейху приходили больше военачальники — надменные, словно раздутые от важности и самомнения; позванивали сабли на поясах, поблескивали из-под златотканых халатов блестящие панцири. А после полудня потянулись вельможи города. Прежде прочих явился со свитой, которой позавидует иной султан, сам даруга, градоначальник столичный, Мираншах; его злое красное лицо было под стать красной парче халата; в глазах Мираншаха Каландар заметил беспокойство и неуверенность. После визита градоначальника по двору проплыли горделиво и вальяжно, будто стая откормленных белых гусей, улемы, все в белых шелковых халатах поверх одеяний из лисьих шкур, все в белоснежных чалмах. Потом появился верховный судья — казий[37] хаджи Мискин. Тощий, угловатый, решительный; на поклоны мюридов не ответил даже кивком; выбрасывая далеко перед собой длинный посох, казий направился прямо во внутренний двор.

Что-то долго задержался казий у шейха Низамиддина. Может быть, совсем забыл о Каландаре святейший шейх?..

Первая встреча с шейхом Низамиддином Хомушем произошла у Каландара Карнаки весной этого года. Потеряв Хур-шиду-бану, пристав к дервишам, что жили в странноприимном доме неподалеку

от Шахи-Зинда, Каландар твердо решил тогда, что путь отрешения от мира сего и есть его путь.

Рубище казалось ему одеянием, единственно достойным человека, раба божьего.

Да, еще в медресе в часы странной, нежданно овладевавшей им тоски Каландар завидовал дервишам — их далекости от страстей и вожделий поюстороннего мира, крепкой привязанности их помыслов к миру потустороннему. Дервиши довольствовались лохмотьями, куском хлеба и пиалой простой воды; нищие, у них не было иных забот, кроме как славить аллаха. Не имея ничего, они и не жалели ни о чем.

И ничего не желали для себя — так представлялось Каландару тогда и чуть позже, после того уже, как он сам стал дервишем.

Вскоре, однако, Каландар убедился, что вовсе не все дервиши — ангелы в образе человеческом, вовсе не все. Вечерами, возвратившись в обитель после скитаний по улицам и базарам, дервиши преображались. Из смиренных становились злословящими и драчливыми, любящими властвовать над теми, кто послабее. Из бескорыстных и невождедеющих они превращались в алчных и обуреваемых порочными страстями. Не раз видел Каландар, как дервиши доставали откуда-то из складок лохмотьев зернышки анаши и закуривали этот дурман, трепеща от предвкушения сладострастных видений, вызываемых им.

Из той, первой своей кельи Каландар решил сбежать, а потом — коварен ум, что понаторел в учении, — подумал, что увиденное им, может быть, тоже для него испытание, ниспосланное аллахом, что не надо верить глазам, а следует предаться внутреннему созерцанию истины, которая скрыта бывает под коростой внешне видимого. И для такого самоочищения, для тариката[38], стал забираться в самую укромную часть помещения, в котором жили, ночевали, молились дервиши.

В день, когда он встретился с шейхом, было так: он молился вдали от всех, в самом укромном углу, под низкими сводами. Внезапно бормотание дервишей в комнате смолкло. Каландар почувствовал настороженную тишину, но глаз не открыл, продолжая медленно раскачиваться, думать о погружении в истину. Тут его кто-то сильно толкнул в бок: «Эй, проснись, очумел, что ли?»

Каландар открыл глаза. Увидел у порога в келью высокого старика, одетого во все белое, с длинной белой бородой. Группа мюридов за его спиной одета была тоже в белое. Косоглазый дервиш по прозвищу Шакал, главарь их группы — это он прервал моление Каландара, — закричал вдруг на него, выпучив глаза и показывая рукой на старика:

— Кому говорят, поднимись, невежа! Наш духовный отец, святейший шейх Низамиддин Хомуш пожаловал к нам, осчастливил приходом нашу убогую обитель!

Каландар поднялся, но низкие своды не давали возможности вполне разогнуться, так он и остался стоять, наполовину согбенный, не отрывая взгляда от шейха. Ему казалось, что и шейх смотрит только на него.

С порога шейх спросил, как его имя, какого он был звания или профессии.

— Нищий я, раб аллаха, — ответил Каландар. «Какая разница, как меня звали и кем я был там», — подумал он.

Шейх внимательно, как бы запоминая, оглядел Каландара с ног до головы и, ничего не сказав, покинул обитель.

На следующий день шейх Низамиддин Хомуш вызвал Каландара к себе в летний дом, построенный близ кишлака Багдад. Сидя у чистого родника на помосте, покрытом персидским ковром, шейх долго

беседовал тогда с Каландаром, расспрашивал, откуда Каландар родом, почему решил уйти в дервиши. Решение это одобрил, о ханаке близ Шахи-Зинда отозвался неодобрительно, сказал, что переводит Каландара к дервишам, что обитали при «Мазари шериф», а главное, шейх приоткрыл перед собеседником тайну истинной роли ордена «Накшбендия» в жизни, роли вполне светской, но весьма угодной аллаху, ибо самоочищение хорошо, но более важно очистить сей бренный мир от тех, кто грязнит его, и праведно возмущение Каландара тем, что делают некоторые дервиши, а еще праведнее будет, коли он, Каландар, послужит торжеству божьего дела не только среди дервишеской братии, но и вообще в городе, где развелось столько богохульников и богоотступников. Но об этом особо... сейчас же речь о том, что Каландар понравился благочестивому шейху, так понравился, что шейх не прочь сделать Каландара оком своим среди людей, и хоть обычно шейх не интересуется согласием тех, кем повелевает, но здесь ему хотелось бы услышать, как относится дервиш к этому предложению, свидетельствующему только и исключительно о доверии и благорасположении.

— Чистыми душами мир очистится, а ведь мы с тобой только о чистоте и печемся, не правда ли, сынок?

Месяца два назад шейх перевел Каландара к дервишам в ханаку при Гур-Эмире: оттуда легче держать под неусыпным наблюдением Кок-сарай.

И снова Каландар ночей не спал от сомнений и раздумий. Очищать мир — о, это надо, надо делать! Ибо грязь, и неверие, и корысть, и мздоимство, и попрание сильным слабого, и несправедливость — вот они, вокруг, повсюду. И, хотя по-прежнему Каландар убеждал себя, что лучший путь исправления жизни — это тарикат, умом и опытом воина он знал, что силе можно противостоять только силой. Но одно дело — открытый бой, другое — доносы. Было в последнем поручении шейха что-то такое, что отвращало Каландара от ревностного исполнения приказа.

Правитель богоотступник? Может быть, но разве султан Улугбек распространял зло? В это не верилось. Вот сын султана, сыновья его... но он сам?.. Каландар вспомнил медресе. Богоотступник? Разум Каландара не соглашался с таким прозвищем Улугбека, сердце не могло забыть ни того, что Улугбек пришел на помощь его родному городу (воля аллаха, что усилия эти оказались тщетны!), ни того, как относился к нему Али Кушчи, любимец султана.

Каландар не выдал шейху ни своих сомнений, ни тем более того, что вовсе без тщания следил за Кок-сараем.

И сейчас, сидя у мраморного хауза во дворе шейха и наблюдая его гостей, Каландар мучительно размышлял о том, зачем позвал его шейх. Может, благочестивый недоволен, что Каландар ни разу не доложил о наблюдениях за Кок-сараем? Если шейх спросит о причинах такого молчания, что ответить?

Наконец калитка, ведущая во внутренний двор, открылась и показались белые гуси — улемы, предводительствуемые главным казием хаджи Мискином. Мюриды проводили их до самого выхода. Каландар поднялся уже с места, чтоб напомнить о себе, но тут опять раздался стук в ворота. Кто же теперь? Каландар оглянулся и вздрогнул: во двор к шейху вступил хороший знакомый Каландара, враг его смертельный, обидчик до могилы — ювелир хаджи Салахиддин!

Важно прошествовал Салахиддин мимо Каландара, гордый, надутый, что твой эмир, в богатейшей одежде из парчи, подбитой беличьим мехом, в лисьей шапке, украшенной жемчугом. Он и не глянул на нищего дервиша, одетого в лохмотья и старый козлиный треух.

И вот к этому спесивцу ходил устод Али Кушчи сватать Хуршиду-бану, создание, краше и чище которого нет во вселенной. Именно этот самодовольный индюк заявил тогда: «Нищий поэт, видно, заучился до помрачения ума. Чем сватать внучку Салахиддина-ювелира, подумал бы лучше о том, как самому наесться хоть раз досыта». Али Кушчи не пересказал своему ученику этих жестоких слов, Каландар узнал про них от другого человека. А устод всячески старался утешить влюбленного, отвлечь его от разговоров о любви и любимой. А мавляна Мухиддин? Сын ювелира несколько дней не мог прямо взглянуть на Каландара, своего шагирда, избегал его. Лицемер! Коль так унижительно породниться с поэтом, зачем учить его наукам и поэзии? И зачем было открывать у себя дома уроки для дочерей из богатых и родовитых семей, уроки, которые сам же Мухиддин и поручил вести именно ему, Каландару, бедному и незнатному родом?

Уроки, на которых впервые он увидел Хуршиду-бану.

Каландар стиснул зубы.

Где они, те счастливые дни, что провел Каландар в тихой светлой комнате мавляны Мухиддина среди полок с чудесными книгами? Хуршида-бану появлялась на урок в тончайшем шелковом платке на лице, бесшумно и легко проходила на свое место в ту часть комнаты, что предназначена была для высокородных учениц и отгорожена от преподавателя шелковой занавеской. Робкая вначале, Хуршида слушала Каландара постепенно все более увлеченно, потом она вовсе откидывала мешавший ей лицевой платок, и он видел ее разгоряченное лицо, большие, яркие и пугливые, словно у степной лани, глаза, он видел, как прекрасна она, как целомудренна ее красота... Недаром в этой комнате Каландар сочинил первые любовные стихи и улучил-таки минуту, прочитал их Хуршиде-бану. Да и вообще она и только она сделала его поэтом, девушка редкой красоты и редкого ума. Да, да, и ума, потому что она, эта девушка, не знающая никаких горестей в жизни, этот полураскрытый еще бутон, оказалась пронизательнее Каландара Карнаки, мужчины, чье сорокалетие не за горами, воина, видевшего столько горестей и страданий, что, казалось, пора бы уж было перестать верить в возможность счастья.

Однажды вечером, вскоре после того, как Каландар объявил девушке, что пошлет сватов, Хуршида прислала ему со служанкой записку: просила встретиться в укромном месте, в саду, под старой орешинкой на краю оврага.

Хуршида-бану пришла на свидание точно в назначенный ею час. На девушке были красные сапожки с тонким узором на сафьяновых голенищах, плотный шелковый платок закрывал не только голову, но и плечи; поверх платка она надела бархатный мурасак[39], облегающий тонкую талию, в руках держала какой-то узел. Девушка вся дрожала, а Каландар, удивленный таким ее нарядом (была вечерняя прохлада, но так тепло одеться? Зачем?), никак не мог начать разговор. Хуршида заговорила сама, волнуясь, торопливо и сбивчиво: надо, мол, бежать немедленно, сейчас же бежать из дома, нечего думать о настоящей свадьбе, не бывать свадьбе, так подсказывает сердце, надо бежать, и она готова бежать с ним куда ему захочется, хоть на край света!.. А Каландар, растерянный и нерешительный, вдруг подумал... о достоинстве учителя, о ране, которую они тем самым нанесут мавляне Мухиддину; старое изречение «обитель учителя — что обитель родителя» вертелось у него в голове. Он хотел благоразумия, он верил в благородство людское — о, простак, недотепа, кого аллах наградил могучими мускулами, но вялым и ничтожным умом! Он сказал тогда Хуршиде-бану, что надо сначала послать сватов, сделать так, как полагается, а вот если ответ будет

неблагоприятный для них, тогда решаться на побег. Девушка молча выслушала его, не перебивая, потом неожиданно вышла из-под ветвей старой орешины и побежала к своему дому. Но, не сделав и нескольких шагов, запуталась в каких-то кустах, упала, а когда Каландар подбежал и захотел помочь ей подняться, вырвалась и, рыдая, так и убежала, ничего не сказав ему. И остался Каландар один с тетрадкой в руках, малюсенькой, обшитой бархатом тетрадкой девушки, оброненной ею в саду при бегстве; вернулся Каландар в медресе, зажег свечу и с тоскою, горечью, злостью на себя прочитал выведенные золотой краской строки:

Как взор зовет глаза твои — того не знаешь ты,

Как ночью я томлюсь: «Приди!» — того не знаешь ты.

Ищу свиданья я сама, гублю себя сама.

Как сохнет сердце без любви — того не знаешь ты.

Так, из-за жадности и жестокости людской, но еще из-за собственной легковёрности и нерешительности лишился Каландар самого дорогого в жизни, остался с этой вот тетрадкой да с воспоминаниями, как нищий с пустым хурджуном[40].

А ныне он и есть нищий, дервиш.

Каландар крепко зажмурился. Он не разомкнул глаз и тогда, когда услышал, как вновь открылась, теперь уже изнутри, калитка внутреннего двора и оттуда в сопровождении мюридов шейха вышел хаджи Салахиддин. Не только Каландару надломил он крылья, он и внучку свою, которую любит, сделал непоправимо несчастной.

— Э-эй, проснись, раб божий! Отоспишься потом в своей келье... Тебя зовет святой шейх.

Молодой мюрид повел Каландара во внутренний двор. Там посередине тоже был выкопан хауз, облицованный разноцветными фарфоровыми плитками. На резных колонках помоста висели синие и красные фонарики — зажги их вечером, и фонтанчики станут тешить глаз разноцветными радугами. Но сегодня фонари не горели и помост был пуст.

Идя вслед за мюридом, Каландар увидел, что и окна в доме словно слепы: закрыты изнутри чем-то темным.

В прихожей мюрид без слов показал на дверь: ждут, мол, иди!

С тяжелым сердцем открыл ее Каландар.

Вся комната была завешена и устлана темно-красными и бордовыми туркменскими коврами. В углу, утонув в пуховых подушках, положенных на многослойную грудку шелковых одеял, возлежал шейх Низамиддин Хомуш. Белоснежная чалма, белая накидка-покрывало поверх черного бархатного халата — святость воплощенная, чистота! Черные четки в руке не двигались, глаза были закрыты, шейх будто дремал, но, лишь только переступил Каландар порог комнаты, только успел отвесить первый поклон, задвигались четки, приоткрылись глаза, пытливые, душу извлекающие наружу.

— Проходи, дервиш. Не стесняйся, сынок, поближе ко мне присядь.

Голос покойный, ласкающий, улыбка — сама мягкость, сама благосклонность.

Не опуская рук, почтительно сложенных на груди, Каландар на носках сделал два шага вперед и опустился перед шейхом на колени: слова приглашения такого почтенного человека не следует понимать буквально — рядом, да, но лучше все-таки коленопреклоненным.

Мюриды пришли с кушаньями, самыми разными и приятными («Как тогда, в кишлаке Багдад», — напомнил себе Каландар), расстелили дастархан.

Шейх молча подождал окончания этих приготовлений. Когда дверь за мюридами закрылась, сказал:

— Как поживаешь, дервиш? Нет ли какой-нибудь просьбы ко мне?

— Слава аллаху, пирим[41]. Что за просьбы могут быть у отрешенного от мира раба всевышнего? Не гол, не голоден — чего еще желать, пирим?

— Похвально, похвально, сынок. Аллах на том свете вознаграждает страдающих на этом...

Угостись, сынок, ибо яства сии тоже плоды аллаховой щедрости.

Да, уж что так, то так. Ничто не возникает помимо воли аллаха. И нищета одних, и роскошь других.

Шейх молча перебирал четки; Каландар, склонив голову, тем не менее рассматривал комнату. Какие ковры кругом! На окнах за легкими шелковыми занавесями тяжелые бархатные, не пропускающие ни света, ни холода; люстра алмазно подсвечивает нежно расписанный потолок; в нишах стен блестят дорогая посуда, золотые и серебряные подносы.

«Все в руке аллаха, все по его воле, это так. Но зачем именно шейху, главе и наставнику нищих дервишей, пышное богатство, символ суетного мира? Иль не сказал святой хаджи Ахмед Ясави:

Кто богатством дом набил,

Тот всевышнего забыл.

Тот, кто „все мое“ сказал,

Ворону подобен стал.

Он в грязи мирской погряз...

Страшен будет судный час!..»

— О чем думаешь, что шепчешь, раб божий?

Каландар вздрогнул от внезапно ставшего властным и пронзительным голоса шейха, торопливо проговорил:

— Творю хвалу аллаху, пирим. — А про себя подумал: «Да простит меня всевышний за ложь». И еще об одном подумал: «Осторожней будь, внимательнее, Каландар!»

— Сынок, — голос шейха снова переливался радужной ласковостью. — Вызвал я тебя с целью возложить на твои крепкие плечи еще одно доброе дело... Коль у тебя нет просьб ко мне, то у меня к тебе есть... Но прежде хочу спросить тебя...

Шейх сделал паузу. Ну, так и есть, сейчас спросит про Кок-сарай. Что ответить, как лучше усыпить его подозрительность, его всеведение?

— Ты отказался от услад суетного мира, что ж, дело, богу угодное. Дервиши — рабы божьи, причем любимые рабы. Но скажи мне правду: не раскаиваешься ли в избранном пути? Не одолевают ли тебя сомнения, истинно твоя ли тропа дервишества?

Сердце упало у Каландара: нет, ничего не скроется от шейха, а тем более сомнения духовные.

— Молчание — знак согласия, дервиш. Не так ли?

Каландар поднял глаза на говорящего. Шейх сидел, чуть подавшись вперед грузноватой фигурой, лицо его притягивало, взгляд завораживал. Что за сила была в этом взгляде, всевидящем, заставляющем быть откровенным!

Каландар отрицательно мотнул головой, глядя в сторону.

— Нет, пирим, душа моя не жалеет о избранном пути. Сомнения же... Я признавался уже однажды: горько мне оттого, что многие дервиши не страшатся греха — злословят, играют азартно в кости, курят анашу, пирим... вместо того чтобы аллаха славить.

Шейх вздохнул.

— Ты прав, дервиш. Но что поделаешь? В любом стаде и при хорошем пастухе могут завестись паршивые овцы. Ни тебе, ни даже мне не исправить заблуждающихся братьев — на то божья воля. И наказание им уготовано божье! А нам с тобой не с братьями воевать, а с врагами истинной веры. Потому-то и отбрось сомнения свои, молись, готовь себя к богоугодной борьбе. И шах и нищий равны перед аллахом. И кто ближе ему — нищий ли, даже тот, что предается греху, но в душе предан аллаху, или же шах, кто вроде бы и печется о благоденствии людском, но в душе отвернулся от бога?.. Молчишь? То-то и оно. Понял, какого шаха, правителя какого имею в виду?.. Он вероотступник! Ты знаешь Коран. «Ас-салотин зиллолоху фил-арз». Как понимать это изречение? Султан — тень аллаха на земле, но когда? Мирза Улугбек изменил заветам деда своего, Тимура Гурагана, — пусть милостивый творец, сделав его могущественнейшим повелителем в этом царстве, не откажет ему в благорасположении своем и в царстве загробном! Тимур ценил служителей веры истинной, а внук его нас унизил! Он тень аллаха, мы же свет его в суетном здешнем мире!.. Улугбек выбрал путь еретический, окунулся в улады грешные, астрономию свою и музыку поставил выше забот о тех, кто радеет за строгость веры... А чем все кончилось? Создатель отказал ему в заступничестве, ибо аллах справедлив и не прощает такого греха... Войско вероотступника потерпело поражение, и не сегодня, так завтра победоносный наследник Мирза Абдул-Латиф вступит в столицу! — Шейх не смог, да и не захотел, наверное, скрыть торжества: голос его зазвенел. — Ну, а мы, слуги, рабы божьи, как мы поможем свершиться божественному правосудию? Каландар не поднял головы. Что ответить на вопрос шейха?

Султан Улугбек — вероотступник. Это он слышал не раз. Но даже если так, пусть аллах и накажет его, а может быть, и простит, ибо аллах не только справедлив, но и милосерден... Каландар знал о наступлении Абдул-Латифа, но чтоб сегодня-завтра тот появился в Самарканде? Можно себе представить, что тут начнется, сколько прольется крови, и невинной тоже, как привольно будет чувствовать себя демон мести, безжалостности... И почему святой шейх говорит так, будто ему одному известна воля аллаха, известно, кто вероотступник, а кто истинный мусульманин, будто ему и поручил всевышний судить людей?

— Что же ты молчишь, дервиш?

— Думаю о сказанном вами, пирим... И в самом деле, для создателя равны и нищий, и султан...

— Истинно так! И, даст бог, отныне будут закрыты наконец все еретические медресе, а нечестивцы мударрисы будут изгнаны, и воссияет тогда над Мавераннахром чистым солнцем вера наша.

Аминь! — И шейх закрыл лицо руками, как бы в молитвенном экстазе.

Помолчали.

Каландару казалось, что шейх и сквозь пальцы не отнятых от лица рук следит за ним.

— Сынок, — обратился к Каландару шейх Низамиддин. — Обсерватория Улугбека есть обитель еретическая. Что делает ее такой обителью, спросишь ты. Я отвечу: более всего книги, собранные там, книги еретиков всей земли... Предполагаю, что султан-отступник захочет спасти их от огня праведного, и коли так, то найдется человек, который возьмется за выполнение такого поручения. Имею основания подозревать одного человека, нашедшегося для этой цели. Нечестивый Али Кушчи — вот этот человек! А средства — много-много золота — они тоже найдут... Уже нашли в сундуках вероотступника и развратника Улугбека!

Шейх собрал в горсть четки, яростно сжал кулак.

— Знаешь ли об этом? Видел, как уносил с собою Али Кушчи золото Кок-сарая?

— О смерти своей ведаю, об этом нет, клянусь аллахом!

Каландар не лукавил: он и в самом деле не был у дворца той ночью, когда к Улугбеку приходил Али Кушчи. Но глаза шейха все сверлили и сверлили дервиша, и теперь взгляд Низа-миддина был колючим, недоверчивым, злым.

— За Али Кушчи надо следить. Неустанно! Неотступно! Понял меня?.. И не дай нам бог допустить, чтоб золото благословенного всевышним эмира Тимура уплывало из рук преданных вере и помогло богоотступнику осуществить его планы. — Шейх вытащил из-под подушки сложенный вдвое листок. — Вот гляди! Наш духовный вождь и воитель за веру святой ишан Убайдулла Ходжа Ахрар, провидя злоумышление, твердо наказывает нам не дать ему свершиться. Вскоре святой наставник будет здесь, он выезжает из Шаша к нам, в Самарканд... Ты понял, кому ты служишь, служа мне? Каландар не страшился врагов, нападавших на него с саблями и копьями в руках. Сейчас же в словах шейха была такая мрачная, леденящая волю собеседника сила, что Каландару стало страшно.

— Что могу я сказать, ваш слуга? Наказ ваш священен для меня, пирим.

— Так и должно! Мой наказ — закон для тебя, наказ святого ишана — закон для меня. Этим мы держимся!

«Подглядывать за своим бывшим учителем? Доносить на него?.. Почему именно я должен отплатить неблагодарностью тем, кто приходил мне на помощь?.. Но как послушаться шейха, если он мстителен, всемогущ и наделен даром знать все о человеческой душе?»

— Держи в тайне то, о чем мы с тобой говорили. Чтоб ни один человек не прознал о наказе моем, пока наш благословенный Мирза Абдул-Латиф не воссядет на законный престол... Понял?

Клянись!.. Смотри, ад уготован нарушителю клятвы!

— Клянусь, пирим...

— И да поможет тебе аллах!.. — Снова руки шейха закрыли лицо, губы шепчут святыя слова, потом шейх взмахивает руками, показывает на дастархан. — Лепешки еще не остыли. Возьми с собою, дервиш.

Каландар положил лепешки за пазуху, пятясь, вышел из комнаты.

Тяжесть и низость поручения, привычка всегда выполнять то, что он обещал сделать, чувство справедливости, присущее Каландару и попранное ныне чужой и властной волей, — все это смешалось в его душе, терзало ее, ныло, будто незаживающая рана. Шейх не отстанет от него, нет, нет! Он с самого первого дня приковал его к себе. «За что я понравился ему?» — горько вопрошал себя Каландар, не ведая про то, что шейху он не только понравился, с первого же дня шейх понял — необходимо следить за ним, что сам наказ шейха о Кок-сараяе был проверкой его, Каландара, верности ордену.

На обратном пути Каландар встретил группу бормочущих дервишей. В одном из них, что брел впереди, узнал Шакала. «И ночью бодрствует», — подумал он и, сам не зная почему, словно хмельной, потерявший путь к дому, вдруг свернул к кладбищу «Мазари шериф».

Ночь была холодной и ветреной. В кромешной тьме жалобно скрипели крепкие чинары, дуплистые тутовники, старые вязы, — казалось, в дуплах и на ветвях деревьев попряталась нечистая сила, демоны и дэвы шептались, хихикали, плакали и стонали. Чуткое ухо Каландара уловило и

человеческие голоса вдали: кто-то унылым распевом читал Коран, слышались глухие дервишеские «ху-ху», раденье, опять раденье, и в такой час раденье!

Каландар спотыкался о мраморные плиты, проваливался по колени в какие-то ямы.

«Прости раба своего, о создатель, о всемогущий, — шептал он иступленно. — Отрекаясь от суетного мира, от его скверны, разве я думал, что мне предстоит такое?.. Прости, о создатель, но разве справедливо толкнуть в яму того, кто приютил раба твоего, кто помог мне? По твоим ли заповедям поступает шейх, о аллах? Предан ли он, жестокосердный и высокомерный, тебе или только всуе произносит твое имя?»

Вдруг вспомнилось:

Все вы муфтиями[42] стали,

Ложь за правду выдавали,

Черным белое назвали —

Потому и в ад попали!

Ложь за правду выдавали... Не так ли поступает и шейх? О создатель, надоумь же раба своего — где она, правда, как отыскать ее?!

Извилистая тропа привела Каландара к громадной, уже наполовину сухой чинаре. Смутно белела под ее ветвями гробница; над плитой свесились рога архара с белой тряпичей на концах: украшение в день поминовенья святых.

Каландар Карнаки подошел к гробнице, у изголовья ее преклонил колени. Разгоряченным лбом коснулся холодной каменной плиты.

Здесь покоился заступник всех нищих и обездоленных, святой пир Бахауддин-накшбенди. К нему пришел измученный Каландар, его заступничества, его наставничества возжаждал.

Всю ночь провел здесь дервиш, молился, взывал то к аллаху, то к пиру Бахауддину, просил предостеречь от грядущего неверного шага — уговаривал себя, смертного, себя, смиренного и неразумного...

8

Снова позвякивали колечки на седле Улугбекова коня, ослепительно блестели на солнце попона и позолоченный щиток, прикрывающий грудь белого арабского красавца, ритмично колыхалась нитка бус на его лебедино-прекрасной шее, и снова ничего этого не слышал и не видел повелитель, погруженный в пучину печальных мыслей. Вчера, еще вчера он негодовал и тревожился, теперь же сердце его было охвачено горьким равнодушием; если он и сожалел о чем-либо, то лишь о том, что доводы рассудка одержали верх над желанием дать сражение сразу же, постараться сойтись в сече лицом к лицу с сыном, посмотреть на него так, как умел это делать Улугбек — пронзительно, до самого дна чужой души, а там и пасть под ударом сыновней сабли.

Да, это правда, Мирза Улугбек недолюбливал Абдул-Латифа. С самого детства мальчишеского недолюбливал. Говорил привычно «сын мой», но без теплоты и ласки отцовской. Почему? Трудно ответить, да еще так, чтобы не винить себя.

С самого рождения своего шах-заде жил в далеком Герате у Гаухаршод-бегим. Она пестовала его до годов мужества. По образу и подобию своему. И дождалась благодарности. После смерти деда, Шахруха, Абдул-Латиф сразу же кинулся в борьбу за гератский престол — с наследником Алауд-давля, двоюродным братом. Бабушка была заключена «любимым воспитанником» под стражу. Когда

об этом поступке сына узнал Улугбек, он чуть не задохнулся от негодования и отвращения. Но далек Герат и все-таки отходчиво отцовское сердце... тем более если задета и честь отцовская: Алауд-давя преуспел в борьбе, захватил и посадил в крепость Абдул-Латифа. Тогда-то и вмешался Улугбек, двинул войско на Хорасан. Поддержал сына.

Мало того, после похода отдал ему, подарил, можно сказать, цветущий город Балх... Знал бы дальнейшее — и не подумал дарить. Спас змееныша — выросла змея гремучая!

Мирза Улугбек горько вздохнул, выпрямился в седле. Остановился у обочины. С невысокого холма осмотрел войско, пропуская его мимо себя.

Войско шло и по караванной дороге и вдоль нее, по слегка холмистой степи. «Мне говорят про ополчение, про городских простолюдинов, — подумал Улугбек, возвращаясь от воспоминаний к нынешним заботам. — Вот мои вельможи погнали дехкан на войну, а что толку?»

Воины впереди колонн расчищали дорогу для регулярных отрядов. Мешали же движению согнанные в войско селяне — плохо вооруженные (вместо копий и луков у многих просто дубины да топоры), в старой убогой одежде вместо доспехов, не умеющие держать строй, поддерживать походный порядок. «Непрытки! Такие-то выйдут против пятидесяти тысяч головорезов Абдул-Латифа? Не самоистребление ли?»

Толкаясь и переругиваясь меж собой, селяне беспорядочно и неторопливо освобождали дорогу. «Отпустить их всех! Пусть по домам направляются!.. На привале скажу эмирам и бекам», — решил Улугбек и, стегнув плетью по крупу нетерпеливца коня, помчался вперед, снова в авангард войска. Показался кишлак Димишк — нежно-розоватое пламя садов.

Отсюда до самого Самарканда непрерывно тянулась лента таких садов — розоватых, желтых, багряных, огненно-прекрасных осенних садов. Город близок. Напряги зрение, взглядишь в дымку — и кажется, увидишь лазурь и солнечно-золотые блики купола Биби-ханум, Гур-Эмира, медресе Улугбека... Родной, трижды любимый, до слез близкий город! Средоточие труда и красоты, науки и образованности... И его-то отдать в грубые чужие руки? А что будет с обсерваторией и медресе — детищами и любимейшими? Какая судьба ждет учеников, если падет он, учитель?

Улугбек дал волю норовистому коню. Удивленные и встревоженные, помчались за султаном приближенные. Так ворвались они в «Баги джахан» — «Сад вселенной» Тимура Гурагана, где завоеватель обязательно проводил ночь по возвращении из очередного похода: в столицу без этого не въезжал!

Широкая аллея вела от ворот сада прямо к дворцу. Листья засыпали и цветник перед дворцом, и закованный в мрамор водоем. Листья медленно кружились в воздухе, бесшумно, подобно легким птицам, опускались на землю. Листья увядания, осенние листья... Только виноград не сдавался на милость осени — был темно-зеленым, на высоких рамах шпалер и коридоров жемчужно светились тяжелые гроздья.

Улугбек скользнул взглядом по высоким стенам, что отъединяли этот рай от остального — обычного — мира, вошел в ворота, отдал поводья выбежавшему откуда-то из глубины сада нукеру. Не дожидаясь свиты, быстро пошел по аллее, потом свернул с нее к холму, где была гранатовая роща и находился родник самой прозрачной и чистой воды.

Совершил омовение. Прочел полуденную молитву. Присел отдохнуть на расстеленном суконном халате.

Воспоминания не отпускали его, никак не отпускали. И припоминалось сегодня чаще всего иного почему-то детство, далекие-далекие дни, когда он был еще совсем мальчуганом.

Как-то Тимур прожил в этих садах недели две подряд.

Вот здесь, рядом с родником, был поставлен повелителю голубой шатер — этот цвет любили и дед, и самая милая Улугбеку бабушка из жен повелителя, Сарай-мульк-ханум. Вокруг голубого шатра расположились шатры поменьше: зеленый, розовый, красный, темно-синий. Для молоденьких рабынь-служа-нок, кротколицы и мягко грациозных в движениях, для поваров — бакаулов. Позади этого шатрового лагеря паслись на лугу белые кобылицы, в некотором отдалении от них играли красиво-дикие, оленеподобные жеребята. Мальчик Мухаммад Тарагай очень любил смотреть на них, но бабушка не пускала его к ним одного.

Сарай-мульк-ханум нельзя было назвать красивой: широкое лицо, к тому же плосковатое, вроде тарелки, нос пуговкой, резко раскосые глаза. Но для маленького Улугбека она все равно была лучше и красивей всех. Ее боялись, подчинялись степенности речи и тому, что с ней считался сам повелитель. А Мухаммад Тарагай совсем не боялся ее. Особенно любил он бабушкины руки, длинные белые-белые пальцы, унизанные золотыми перстнями, бирюзой, но ловкие в любой работе — вплоть до того, чтоб шатер обшить, до чего Сарай-мульк-ханум была охотница, и, когда бабка гладила волосы мальчонки, он млея от полноты детского счастья защищенности и, словно стригунок, жался к боку женщины.

Иногда бабушка надевала фартук, шла доить белую кобылицу, сама делала отменный кумыс, остужала его в ледяной воде родника. Дед Тимур очень любил этот кумыс, приходил в шатер Сарай-мульк-ханум пить его...

За стенами сада послышалась тяжелая поступь пешего войска, перебиваемая топотом кавалерийских отрядов. Мирза Улугбек невесело усмехнулся, подсадовал на себя: там, за стенами, его заботы, а он тут сидит, от всех уединился, в воспоминания ударился. Был бы сейчас дед здесь, то-то рассердился бы на бездеятельного внука!

У ворот ждали султана Абдул-Азиз и шейх-уль-ислам; Бурханиддин.

— Гонец прискакал, повелитель, — сдержанно сказал законник.

— Искандер Барлас послал его, повелитель, — угадав вопрос отца, сказал сын.

— Что за вести привез гонец? И почему так скоро доскакал до нас? — стараясь сохранять спокойствие, спросил Улугбек.

Ему подали свиток. Так и есть, вести были неутешительные. На рассвете войско Абдул-Латифа начало битву, у наследника отряды слонов, лошади пугаются их, да и перевес в силах огромный, отчего, сообщил эмир Искандер, он счел за лучшее отступить по тому же направлению, по которому ушли главные силы повелителя-султана. Значит, что же? Выходит, вот-вот появится арьергард, а за ним Абдул-Латиф? Выходит, не отступают они, не совершают рассчитанный заранее маневр, а просто бегут от преследования?.. Улугбек посмотрел на сына, на шейх-уль-ислама, на свиту. Там были и его племянники Абдулла и Абу Саид Мирза, в кольчугах, златоверхих шлемах, вояки куда там, только в глазах и движениях видна была опаска гонимого зверя... Боятся, и они боятся, и военачальники трусят, считая, видно, что дело уже проиграно. Боятся пока и его, султана, не перебегают к шах-заде, ждут. Чего ждут?

Улугбек нарочно повысил голос почти до крика:

— Скоро появится противник. У него в войске слоны!

— Что прикажет слугам своим повелитель? — Шейх-уль-ислам Бурханиддин попытался сгладить невыгодное для Улугбека впечатление от такого неожиданного взрыва.

— Да будет на все воля аллаха... Готовьтесь к бою! — приказал Улугбек.

Шейх-уль-ислам приблизился, поглаживая бороду, тихо произнес:

— А как же с планом уйти под защиту городских стен, повелитель? Самаркандские стены прочны...

— Но у противника есть не одни слоны, есть и катапульты, и тараны, разве не жалко всем вам города, который будет разрушен? — снова громко сказал султан.

Нервно поправив чалму, шейх-уль-ислам продолжал вежливо перечить:

— Аллах не выдаст Самарканд врагу, но воля ваша, повелитель... В соборной мечети прозвучит призыв, стар и млад поднимется на защиту столицы, благодетель... прошу извинить мое неразумие, но так мне кажется...

Неразумие. Конечно, неразумие. Нет, не подготовка измены. Шейх-уль-исламу можно верить, он хитер, но не коварен. Но истинно неразумие. Ложная надежда. Разум подсказывает, что здесь, на дороге, шансов на победу меньше, чем под городскими стенами. Но разум подсказывает, что и там шансов победить мало. Ворота города закрыть можно, но есть смысл закрывать их при добрых запасах пищи, оружия в самом городе. А где эти запасы?.. Да и не унижительно ли ему, внуку великого > воителя, отступать, все время отступать, все время уступать? Хватит! Он сумеет показать этим трусам, дрожащим за свои золотые халаты, что он внук Тимура: пусть потеряет жизнь, но в бою... Что ж, он отдаст бунтовщику-сыну свою жизнь, но тому еще придется потрудиться, чтобы взять ее. Хорошо бы встретиться с Абдул-Латифом лицом к лицу, обменяться словами, как говорил в таких случаях дед Тимур.

Да, дед Тимур... Он учил: тебя преследуют, за тобой мчится вражеская конница? Отлично, отступай! Заманивай! А сам скрытно выводи для боковых ударов конные крылья, налетай, замкни кольцо-капкан, руби безжалостно, а если к противнику приходит подмога, вот тогда двинь из засады свои ударные отряды... Да, дед умел воевать... А он, Улугбек?.. Как же тут развернуть фланговые крылья, здесь, на ровной местности, утопающей в садах? Неискусен звездочет Улугбек в ратном деле, вовсе неискусен. И все же без боя он своего поражения не признает.

— Повелитель...

— Обдумаем план... Там, во дворце... Зайдем туда. Подкрепимся. Выпьем вина. — Голос султана был спокоен, а в душе бушевало угрюмо-лихое отчаяние: «Пусть и перед смертью будет пир, а не скука!»

Но второй гонец не дал свершиться этому намерению — гонец на сей раз от преданного султану Бобо Хусейна. Известие было горше первого. Эмир Искандер так и не смог оторваться от преследователя. Тот действовал по заветам прадеда: левое и правое крыло обошли медлительную конную рать Искандера и Султана Джандара, навязали бой, часть арьергарда рассеяли (и «рассеялся» куда-то Султан Джандар, так что теперь остался лишь один эмир). Остальные быстро отошли к Димишку. У этого кишлака, сообщал Бобо Хусейн, мы с Искандером Барласом намереваемся дать бой, имея целью выиграть время для продвижения войска самого повелителя к Самарканду.

Судя по всему, Абдул-Латиф был сейчас от Улугбека на расстоянии двух-трех фарсангов[43]. Для конницы расстояние пустяковое. Даже если эмир Искандер и Бобо Хусейн привлекут к своему

поределому отряду все силы противника, много времени для того, чтобы с ними расправиться, не потребуется. Какое бы решение Улугбек ни принял, он должен был принять его незамедлительно! И вновь Улугбек изменил свой приказ. Решил вернуть основную часть войска в столицу, под защиту крепких стен, но отделить еще одну рать, оставить ее на пути шах-заде, обязать начальствующего над нею эмира Идриса помочь тем, кто остался у кишлака Димишк. А сам... сам немедля вернется в Самарканд. Там из-за городских стен вступит в переговоры.

Что Абдул-Латиф не согласится с тем, чтобы отец остался на троне, в этом не было сомнения. Но пусть он даст обещание не трогать обсерваторию, пусть позволит заниматься отцу наукой, только наукой. А чтобы заставить принять сына эти условия, подумал Улугбек, все-таки надо поднять горожан — неужели для того, чтобы воспрепятствовать отцовским занятиям астрономией, поэзией, музыкой, сын прольет кровь своих же, отданных ему Улугбеком подданных?

Надо было спешить, спешить!

Глаза сами собой закрывались — бессонные ночи сказывались. Улугбек посмотрел на Абдул-Азиза: — Возьми с собой Абдуллу и Абу Саида. Скачите, не жалея коней, в Самарканд. Передайте Мираншаху мой приказ: пусть готовится к обороне, пусть собирает знать в Кок-сараяе, придем мы, и сразу же — за совет...

Сказав это, порывисто поднялся с места, одним махом осушил чашу с вином. До дна!

Солнце зашло, но вокруг еще было светло. Снова поднялся ветер, да еще какой! Не ветер — прямо вихрь! Столбом взвилась пыль, мешая дыханию, сухие листья закружились в воздухе, лезли в глаза, царапали лица.

Улугбек хотел было взбодрить и без того резвого белого скакуна, но подумал, что теперь окружающие могут расценить это неверно, и натянул поводья.

Расстояние между Димишком и Самаркандом небольшое, фарсанга два. После Димишка шло селение Багдад, за ним — Кохира. Кишлаки прямо переходили один в другой, как и сады, виноградники, гранатовые рощи. Сейчас в селениях было пусто, будто на заброшенном кладбище. На узких улочках, зажатых с обеих сторон глиняными дувалами[44], и на перекрестках ни души. Подступала темнота. Улугбек помчался вперед.

Недалеко от садов Кохиры услышал он топот лошадиных копыт, возбужденно-громкие голоса посланных вперед нукеров охраны. Что там случилось? Несколько всадников поскакали навстречу Улугбеку, остановились на полпути, выжидая чего-то.

Улугбек потянул саблю из ножен.

— Кто там?

— Простите нас, повелитель... Это мы возвратились... От Самарканда.

Из группы всадников отделился человек с каменным угрюмым лицом; это был сарайбон, он выехал вперед.

— Повелитель!..

— Говори!

— Ворота столицы заперты. Открыть ворота стражники отказываются.

— Ложь! — Улугбеку показалось, что он выкрикнул это слово, хотя произнес его хрипло-невнятно.

На миг наступила тягостная тишина. Слышно было только, как шейх-уль-ислам Бурханиддин прошептал: «О создатель!» — да еще прерывистое дыхание Улугбека.

— Где градоначальник, где Мираншах? Он был у ворот?

— Нет, повелитель! Градоначальник отказался подойти к воротам.

— Прочь с дороги! — Улугбек хлестнул камчой белого скакуна, и благородный арабский конь, что не привык к такому обращению, взвился на дыбы. Заржав, он ветром понесся вперед...

«Ворота столицы закрыты! И это передо мной!.. Передо мной закрыты!.. И это мой город, мой Самарканд! Сорок лет я его прославлял, украшая! Сорок лет... Где еще такие медресе, такие бани? С чем сравнится самаркандская обсерватория, самаркандские библиотеки?! И этот город осмелился не открыть ворот! О всевышний! За какие грехи мне такое унижение?»

Холодный ветер, от которого гудели сады, казалось, хотел остановить Улугбека, с яростью бил ему в грудь, пылью и жухлыми листьями хлестал по лицу.

«Один из самых доверенных, эмир Султаншах, изменил мне, эмир Джандар бежал, а Самарканд... а градоначальник Мираншах — думал опереться на него, как на гору — ворота закрыл!.. Проклятье, подлость, мерзость! Кому же тогда верить? Неужели все сгнило в моем государстве, творец? О, Самарканд, любимый и тоже, кажется, неверный, подлый город... Подлые люди!»

Улугбек только сжал зубы. Снова нещадно хлестнул коня. И белый скакун, остервенело грызя позолоченные удила, заржал дико и протяжно.

Из-под лошадиных копыт летели песок и мелкие камни и били Мирзу Улугбека в спину, били в лицо, но он ничего не чувствовал, кроме обиды, злой и горькой обиды на родной город, обиды, которая делала его нечувствительным к физической боли.

Сады отступили от дороги, она словно расширилась; окрестности чуть-чуть посветлели.

Через некоторое время появились впереди высокие зубчатые стены столицы. В сумерках казалось, что они доходят до самых небес.

Около глубокого крепостного рва, вода в котором высохла еще весной, Улугбека встретила группа нукеров. Среди них Улугбек увидел Абдул-Азиза и племянников. Все трое нервно разъезжали по краю рва то в одну, то в другую стороны.

Чуть помедлив, Улугбек пустил коня через ров. На пригорке перед воротами остановился.

Эти ворота были некогда отлиты по распоряжению Тимура. Сейчас они заперты наглухо! На двух сторожевых башнях маячили чьи-то мрачные фигуры; по мгновенному мельканию каких-то теней чувствовалось, что форты и бойницы тоже скрывают воинов, но никто не высовывался из-за укрытий по грудь или во весь рост.

Гнев и обида охватили Улугбека пламенем, жгучим и таким же высоким, как стены — до самого неба. Но тут, перед самыми воротами, это пламя вдруг ослабло, сникло, угасло. С трудом Улугбек поборол внезапную слабость. Подал знак сарайбону. Дворецкий пришпорил коня, пересек ров, подъехал прямо к воротам. Постучал рукояткой сабли о железную обшивку. Сверху послышался голос:

— Кто там?

— Я! — крикнул Улугбек. Снова забурлила кровь в жилах. — Ваш повелитель Мирза Улугбек Гураган!

— После вечерней молитвы ворота закрыты перед всеми, будь то шах или нищий!

— Открывай, мерзавец!

Улугбек пустил коня на ворота. Горячий скакун взметнулся перед ними, с треском ударил передними

копытами о железо, осел на задние ноги, попятился. Всадник едва удержался в седле.

Сверху снова послышалось:

— Простите, повелитель, но градоначальник дал строгий приказ не открывать ворота!

— Кто правитель в нашем государстве? Мои приказы должно выполнять беспрекословно и сразу.

Открой ворота или беги за градоначальником, если тебе дорога голова, стражник!

Тут сверху, с башни, раздался голос второго воина:

— Руки коротки у тебя, чтоб снять голову стражнику. Позаботься лучше о своей, Мухаммад Тарагай!..

Кто это? У кого столь знакомый, хриплый и тонкий, змеиный голос? Кто посмел произнести такие слова? Улугбек на миг онемел в замешательстве — у зубца башни возникла фигура Султана Джандара!

И этот изменил! Куда ни пойдешь, всюду коварство и низость!.. Бросил войско, выходит... сбежал в столицу. Но каким путем так быстро сумел сюда добраться?.. Как успевают эти лицемерные негодяи, предатели снюхаться, спеться друг с другом?

Мирза Улугбек выпрямился в стременах.

— Эмир Султан Джандар! Один аллах знает, на чью голову сядет птица счастья. Лишусь я престола — твое счастье. Но если волей судьбы престол останется моим... запомни: я повешу тебя вверх ногами и снизу разожгу костер! — И, не дожидаясь ответа, повернул коня назад...

Потом... Потом ему кто-то что-то говорил, бурно и невнятно; из всего, что он слушал, но не слышал, Улугбек понял, наверное, одно только слово — Шахрухия, крепость Шахрухия, куда надлежало ехать.

Но в мыслях его все смешалось, все закрутилось, будто осенние листья на дороге под порывами вихревого ветра. Безразличие овладело душой Улугбека, и он уже не очень-то негодовал, когда Абдул-Азиз, поехавший на разведку, вернулся, тяжело дыша, бормоча проклятия, и сообщил, что крепость Шахрухия также закрыла свои ворота и что комендант этой крепости, туркменский бек Ибрагим Кулат-оглы, также отпал от Улугбека!

Конец, конец. Скорее пришел бы всему конец!

И Улугбек решил преклонить колени перед собственным сыном и любое, что судьба ниспошлет ему — жизнь или смерть, — принять из рук Абдул-Латифа с покорностью.

9

Али Кушчи пробудился мгновенно, едва только скрипнула — тихо-тихо — входная дверь. В дверном проеме, чуть менее темном, чем чернильный мрак внутри обсерватории, мавляна разглядел чью-то огромную и неподвижную фигуру. Пальцы Али Кушчи скользнули под подушку за кинжалом: если убийца один, еще посмотрим, чья возьмет.

— Кто там?

Пришелец молчал.

— Отвечай, эй, призрак!

— Это я, мавляна...

Али Кушчи привстал, еще раз взгляделся в темноту.

— Каландар Карнаки?

— Ну, хвала вам, мавляна, не забыли бедного талиба.

— Не приближайся, если тебе дорога жизнь!

— Не надо бояться, мавляна... Зажгите свечу.

— Говорю, не двигайся!.. Отвечай!.. Как ты сюда попал?

И зачем?

— Зачем? — переспросил дервиш и невесело как-то засмеялся. — Как зачем? За золотом, за чем же еще надо ходить в эту любимую обитель повелителя... Зажигайте свечу!

Али Кушчи сжал рукоятку кинжала.

— Вот оно что, — иронически протянул Каландар Карнаки. — Вы ли тот мужественный Али Кушчи, что убивал тигров?

И где ваш прославленный здравый смысл, где ваша логика, верить которой вы учили нас, учеников?..

Вы спали, и, пожелай я убить вас, стал бы я дожидаться вашего пробуждения?

Али Кушчи сделал несколько шагов в темноте вдоль стены, нащупал в нише свечу, зажег ее.

Вспыхнули узоры росписи на стенах, золотое тиснение книг на полках. Каландар Карнаки стоял по-прежнему у двери. Тень его, громадная и густая, качнулась в неожиданном поклоне.

— Ассалям алейкум, устод!

«Устод», «учитель». Что это, ирония, ложное смирение или искреннее приветствие прежнего

Каландара, ученика?

Али Кушчи со свечой в руке приблизился к дервишу, оглядел его лохмотья; подняв свечу повыше, всмотрелся в лицо; Каландар не шевельнулся, он ответил на взгляд мавляны таким же долгим вопрошающим взглядом. Могучий ростом и сложением, Каландар выглядел неважно: в заросшем лице, в запавших светло-карих глазах усталость и болезненность. Еще бы, сколько тягот выпало Каландару на долю!

У Али Кушчи потеплело на душе.

Каландар пригнулся, взял вдруг обеими руками руку Али Кушчи, опустился на колени перед ним.

«Что это он? Зачем?»

— Спасибо вам, учитель.

Каландар наконец сел, безвольно свесив руки вдоль тела, устремил на Али Кушчи полные горечи и боли глаза.

— Скажите, каким человеком считаете вы, досточтимый, вашего бывшего шагирда, бедного нищего? Кто я, по-вашему?

В самом деле — кто он? Лишился родины — Ясси и Сигнак так ведь и остались за Барак-ханом, — стал воином, потом сменил саблю на перо, а воинские доспехи на скромное платье талиба. Теперь же дервиш, раб аллаха, восхвалитель аллаха, вместо медресе живет где-то в дервишеской обители, водрузил на себя козлиный кулох. Кто он теперь?

— Мой язык нем, дервиш. Вижу одежду, а что в сердце твоём, о том давно уж не ведаю.

Каландар тяжело вздохнул. Воскликнул:

— Я знаю, я!.. Овца, отбившаяся от стада, душа заблудшая... Есть правда в этом мире, учитель?!

Венценосный Мирза Улугбек знает ли ее?.. Бесприютным чужаком, бездомным псом я был; пригрели меня, спасибо, низко кланяюсь. Но душа-то все ходила и ходила по чужим улицам, стучалась в разные двери, чтобы найти правду, не нашла ее ни здесь, ни в обители дервишей... У них, у нищих, ее тоже нет, там язык хвалу богу поет, в сердце корысть гнездо себе вьет... Все ложь,

все обман. Или неверно я думаю, учитель? Ответьте! За этим я опять сюда пришел — за истиной, коли она есть!..

Неяркий свет свечи дрогнул на лице Каландара, речь его оборвалась.

Трудно было усомниться в искренности его мучений. Али Кушчи молча положил ему руку на плечо. Каландар глянул на него снизу вверх.

— Скажите, вы никому не обмолвились, что тут прячете сокровища эмира Тимура?

Али Кушчи невольно воскликнул:

— Неужели ювелир?!

Прикусив губу, Каландар усмехнулся:

— Эх, мавляна! Доверие опрометчиво. Опасно за своего принять чужого. Старая лиса хаджи Салахиддин недолго хранил тайну... Истина, если и есть, в добром деянии она. Надо же и вам и султану Улугбеку отдать добром за добро; только от вас видел я его, а стало быть, видел и истину... Шейх Низамиддин Хомуш знает вашу тайну. Надо перепрятать золото и драгоценности, не то из рук вырвут золото, а с плеч снимут голову!.. Говорю правду, не сомневайтесь. Для того и пришел... Впрочем, — Каландар вновь глухо кашлянул, — не верите, так скажите прямо, гоните меня отсюда, я уйду беспрекословно.

Нет, теперь Али Кушчи не сомневался: привели сюда Каландара добрые чувства. Мавляна посмотрел на книжные полки.

— Ты толкуешь о золоте, о драгоценностях... Но вот эти богатства разве не дороже золота? Что будет с ними, если я покину обсерваторию?

Каландар тоже повел взглядом по рядам книг — многим-многим рядам книг на полках и шкафах. «Предать еретические книжки всех безбожников огню праведному», — вспомнились ему яростные слова шейха.

— Их тоже нужно спрятать, устод!

— Куда? Ведь их так много, Каландар, как спрячешь?

— В сундуки, в сундуки их и вывезти в другой город. И побыстрее! — Каландар вдруг быстро приподнялся. Почувствовал прилив сил: такое состояние было знакомо ему, воину, перед битвой.

— При Абдул-Латифе не вывезешь, — услышал он слова Али Кушчи.

— Верно! Значит, надо тотчас действовать, потому что шейх сказал, что не сегодня, так завтра в Самарканде будет Мирза Абдул-Латиф.

Каландар даже рассмеялся про себя: ну и сослужит он службу святому хитрецу шейху.

— Есть в обсерватории потайной выход?

Али Кушчи колебался лишь мгновение.

— Есть.

— Заберите свое золото и пойдете, — сказал Каландар почти повелительно. — Я знаю надежное место, учитель, но надо выйти отсюда незаметно, за мной тоже могут следить.

— Но куда мы пойдём?

— Не спрашивайте пока. Если доверились мне, зачем терять время на разговоры? Забирайте золото, поспешите!

Когда Али Кушчи вытащил из-за книг золото и драгоценности, Каландар весело удивился:

— Тут спрятали? Ай да мавляна! Трудненько было бы тут отыскать, трудненько...

Потом посерьезнел, быстро сложил золотые «пиалушки» в переметную суму, взял мешок в левую руку.

— Так куда идем? Светите, мавляна!

Темное сомнение шевельнулось в душе Али Кушчи. Или то неприятно подействовал приказной тон Каландара? Но отступать было поздно. Али Кушчи разулся, ощупал за пазухой кинжал в простеньких ножнах, поднял свечу и открыл потайную дверь; об ее существовании знал только он да еще повелитель-устод!

Под зданием обсерватории находился подвал, в середине подвала — колодец, накрытый большим круглым камнем, вроде мельничного жернова. Глубоким колодец не был, саженей пятнадцать, не больше, и внизу на одной из сторон находилось отверстие с небольшим окном. Если влезть в эту дыру, найдешь подземный ход, узкий, извилистый, как змеиный след. Пройдя его, окажешься... где же окажешься?.. Ах да, вспомнил — у обрыва недалеко от местечка Кухак.

Знать про все это Али Кушчи знал, но в колодец ни разу еще не спускался.

— Бисмилла рахмони рахим! Господи, благослови!

Обвязавшись веревкой у пояса, закрыв рот и нос шелковым платком, Али Кушчи начал спускаться первым. Вода в колодце доходила только до колен, но была ледяной. Али Кушчи торопливо ощупал стены, нашел камень — прикрытие лаза. Неприятная дрожь прошла по телу, когда открылось темное зияние потайного хода, которым, похоже, никто так и не воспользовался ни разу. Преодолев страх и брезгливость, Али Кушчи нырнул в лаз: затхлый, гнилой воздух затруднял дыхание, кругом свешивалась паутина, то ли сороконожки, то ли скорпионы во множестве ползали по сырým стенам, разбегались от тусклых бликов, бросаемых свечой. Что-то холодное и липкое коснулось шеи Али Кушчи, и мурашки волной прокатились по телу. Каландар, казалось, ничего этого не замечал, двигался за Али Кушчи уверенно и все торопил мавляну.

Наконец темный узкий коридор, кажется, кончился, широкий бугристый камень перегородил путь. Али Кушчи посторонился, принял от Каландара хурджун, а Каландар крепко уперся ногами в основание боковой стенки коридора и плечом навалился на камень, стал ритмично толкать его, расшатывать. Али Кушчи хотел помочь, но и усилий Каландара оказалось достаточно: камень поддался, двинулся и с шумом выпал куда-то наружу.

Ударил свежий воздух. Запахло водой, хотя ручей на дне оврага высох. Они разыскали большой камень, не без труда подтянули его к выходу из потайного хода, кое-как заложили дыру.

Двинулись по руслу высохшего ручья. Теперь впереди Каландар. Али Кушчи все еще был настороже — Каландар вел его не в сторону города, а от города, к Ургуту. Свернули направо, пошли руслом Оби-рахмат. Трудно было идти, больно ступать по гальке, в лицо норовили попасть ветки тала, что рос на берегу. А Каландар все ускорял шаг... Али Кушчи снова и доверял и не доверял ему — уже не о том думал, что Каландара подослали враги повелителя, а о возможном безумии бедного дервиша. Да и насчет чистоты помыслов — почему тот сразу не сказал, куда им идти?.. Впереди черной массой возник какой-то сад, послышался равномерный шум воды в мельничных желобах. Не дойдя до мельницы, они опять свернули в сторону, стали продираться сквозь заросли и вышли к селению. Каландар повел Али Кушчи по улочке такой узкой, что повстречайся на ней два верблюда, даже не нагруженные, они бы не разошлись.

«Кишлак Ногара-тепе!» — догадался Али Кушчи. Глиняные заборы — дувалы, балкончики-

балаханы, до которых легко было достать рукой, дворы за стенами — все хранило угрюмое молчание; ни одна собака не тявкнула; только раз, проходя мимо чьего-то дома, услышали они, как тяжело вздохнула в хлеву корова да зашуршала сеном овца.

Маленькая площадь, куда они вышли, замыкалась с одной стороны косогором, на котором росло два вяза. Каландар Карнаки оглядел площадь и шепнул:

— Пошли. Бегом!

Они перебежали площадь, стали под вязами. Только здесь можно было заметить крутизну склона, словно срезанного ножом.

— Идите за мной, — услышал Али Кушчи. «Куда?» — хотел было спросить, но тут и сам обнаружил какой-то темный проем, будто вход в землянку. И в самом деле, это был вход куда-то, настоящий вход, с железной дверью, в которую и постучал тихонько Каландар условным троекратным стуком.

Они опять отступили в тень вязов, а дверь с осторожным скрипом отворилась. Каландар схватил мавляну за руку и, шепнув: «Пригнитесь!» — быстро втащил его в какую-то темную пещеру.

Еще не разогнувшись, Каландар сказал:

— Ассалям алейкум, отец...

— Ва алейкум ассалям, — ответил из глубины пещеры тягучий голос.

«Из одного тайника в другой! Право, не сумасшедшим ли стал этот дервиш?» — подумал Али Кушчи, продвигаясь в полной тьме вслед за Каландаром по коридору, узкому, как и тот подземный ход, в котором они были недавно. Но этот был намного короче. Впереди мелькнул огонек, и вскоре они действительно попали в пещеру, но уже не такую, как при входе, а огромную — конусом уходил ее потолок куда-то вверх, будто купол в мечети.

Загадка за загадкой. И в самом деле, куда он попал?

Шедший впереди Каландар остановился, почти совсем загородив нишу, в которой мерцал светильник.

Пещера была, оказывается, вполне обжитая.

— Я привел мавляну Али Кушчи, о котором вам сказывал, почтенный Тимур-бобо.

— Добро пожаловать в нашу убогую хижину, — донесся тот же тягуче-неторопливый голос из угла пещеры. — Добро пожаловать, сын мой Аляуддин!

«Голос» знал его имя? Еще одна загадка. И называет его сыном?

— Ассалям алейкум, почтенный отец.

— Да благословит тебя аллах, мавляна, проходи сюда, поближе ко мне.

Наконец-то глаза Али Кушчи попривыкли к темноте и смогли разобрать хоть что-то. Ну да, холм скрывал в себе жилище. Огромную пещеру и еще две поменьше; в правой были сложены кузнечные инструменты: молот, клещи, щипцы и наковальня («И жилье, и мастерская», — отметил Али Кушчи), а в левой пещере можно было разглядеть всевозможную посуду: котлы, кумганы, чайники, узкогорлые медные кувшины и кувшинчики и другую хозяйственную утварь — это была кладовая при жилище.

В большой пещере на высоком помосте сидел на расстеленной шубе, сложив под себя ноги, какой-то старик с бородою до пояса, истинно вызывающей почтение, хотя давно и не ухоженной. Голову старика прикрывала круглая войлочная шапка, в руках он держал длинную тонкую трубочку — чилим, из которой курят анашу. Старик сидел, завернувшись в овчинный полушубок, но с таким

величественным видом, будто на нем было по меньшей мере султанское одеяние. Еще более поразило Али Кушчи, что за спиной старика на ровно отесанной стене пещеры висели две скрещенные сабли, а поверх них щит — словно у знатного вельможи! А в нише, рядом с саблями, были книги! Али Кушчи вдруг вспомнил, как однажды во время охоты — ну да, конечно, это было где-то неподалеку отсюда, среди ургутских холмов — они, устод и он, попали в какую-то пещеру: тоже почти скрытый вход, такой же узкий ход-коридор, такой же величины зала и потолок, словно купол, только тот был из мрамора, кажется, во всяком случае, столь гладкий, будто человеческая рука его шлифовала. Очевидно, таких пещер было в этой местности не одна, и человек помог природе, приложил умение и разум, так что получилось пусть не светлое и не вполне удобное, но в общем-то сносное и, главное, безопасное убежище. «Книги надо спрятать здесь, — пришла в голову Али Кушчи неожиданная мысль. — Здесь, в этой пещере!»

— Да не стой ты там, мавляна. Проходи поближе. Вот почетное кресло, — засмеялся старик, показывая на большой чурбак справа от себя. — Видишь, почтенный, полушубок на нем... И запомни, мавляна, на этом троне сиживал тезка мой, эмир Тимур Гураган, и вот из этого кубка, — старик повернулся к нише с книгами, достал большую медную чашу, — вот из этого кубка вина отведывал, пробовал тут со мной анашу...

Вот оно что! Теперь Али Кушчи понял, к кому попал. На весь Самарканд знаменит был кузнец Тимур Самарканди, Уста Тимур, Мастер Тимур. Когда-то служил он эмиру Тимуру, ходил в его походы, а потом... что-то произошло с мастером потом, не припомнить, но слухи распространялись самые разные.

Впервые увидев старика своими глазами, Али Кушчи сразу отдал должное достоинству, с которым тот держался. Не без почтения присел мавляна на чурбак. А Каландар примостился прямо на земляном полу, у ног старика.

— Да, мавляна Али, сын мой... — медленно протянул Уста Тимур, — да, где вы сидите теперь, некогда сиживал эмир Тимур... бывало, бывало. А после него сидел там еще один властелин, шах из шахов — Шахрух-счастливец. — Старик улыбнулся краями губ, погладил нечесаную бороду. — Сидел, просил меня, упрасивал... слиток золота давал... хотел, чтобы и ему я сделал такой же меч, как родителю, тезке моему... Не ведал, что я клятву дал не делать больше ни мечей, ни сабель... Да, ходили слухи, будто однажды Мирза Шахрух, прибыв в Самарканд, заказал одному умельцу кузнецу особую саблю, а тот отказался, и шах впал в гнев и приказал мастера того дерзкого вздернуть, да заступился будто за кузнеца Мирза Улугбек.

Внимательно и не без волнения посмотрел Али Кушчи на мастера: лицо Уста Тимура все в морщинах, и следы кузнечной работы остались на них уж, видно, до конца дней, а глаза чистые и зоркие. И сколько еще силы в ручищах, упирающихся в колени, во всей фигуре старика — мощной, но не грузной, широкой, но не рыхлой!

— А почему дали такую клятву, отец?

— Это длинная история, сынок... Был я оружейным мастером у эмира Тимура в войске. Неплохим мастером, про клинки Тимура Самарканди шла добрая слава. Однажды Тимур Гураган приказал мне выковать саблю из стали, чтоб могла она камни рассекать. Сделал. Отменная получилась сабля! В руках потрясателя вселенной и впрямь камни отсекала — будто бы не камни это, а курдюки овечьи... Золотым халатом одарил меня повелитель. Но судьба по-своему оценила мой поступок: как

раз этой саблей эмир Тимур собственноручно отсек голову моему единственному брату. — Старик замолк, рукой закрыл глаза на минуту, потом поднес к лицу и другую руку, соединил их в молитвенном жесте. — На площади, перед самым Кок-сараем... Мой брат был мятежник, мавляна, один из сарба-доров, ну тех, что восстали против Тимура и вообще против богатых и знати... Смелый, как лев. И не любил богатств, полученных грабежом. Вообще богатства, считал, не нужны человеку... Много-много раз говорил мне брат, чтобы я бросил оружейное дело. Служишь, мол, кровожадному владыке, брат мой Тимур, совершаешь грех, муки ждут тебя после судного дня... Так говорил мне убитый эмиром Тимуром брат мой, мавляна... А я? Молод я был тогда, тщеславен, соблазн брал верх, так что продолжал я изготавливать для повелителя сабли, мечи, секиры. А вот когда увидел сам, своими глазами, как саблей, мной изготовленной саблей был убит брат мой... И кровь его текла на землю... его кровь и еще тридцати двух казненных, тридцати двух сарбадоров, тридцати двух молодцов... Я в ту же ночь сжег все дорогие халаты, подарки эмира Тимура. Сжег и ушел в горы... Я тоже дервишем был, — старик наклонился к Каландару, потрепал его по плечу. — Четыре года под дервишеским колпаком бродил по Бадахшану, Балху, еще дальше, в Герате, был. И еще дальше — в Багдаде был, паломником до Мекки дошел, так что я, не шути со мной, тоже хаджи, как и твой шейх, Каландар, а?.. И вот брожу, брожу и думаю, что так и не увижу больше родины, потому что вернись я — с жизнью распрощаться придется. Ведь эмир Тимур ничего не забывал и мало что кому прощал, если против него шли. Да, вот хожу и думаю, что кости мои где-нибудь в чужой степи так и останутся добычей стервятников... Аллах помог, сам аллах... Узнал я, что жестокосердый потрясатель пошел в новый поход, на Китай, и в походе том, ничего не свершив, умер... Услышал я про это, подпоясался потуже, крепче сжал посох и — вперед, Уста Тимур, в собственный поход на родину, а сладость родины, скажу вам, дети мои, только вдали от нее узнаешь по-настоящему. Как достиг Джейхуна — упал бездыханно, сын мой!

Старик смахнул слезу. Не веселило, видно, воспоминание, да и вся остальная жизнь не веселила старика. И Каландар сидел хмурый, наверное, вспоминал свой родной край. Помолчал старик, а потом вдруг перешел совсем к другому:

— Мавляна Али Кушчи! Раб божий Каландар кое-что рассказал мне о твоих заботах и тревогах...

Ну, о тайне твоей, — пояснил Уста Тимур, перехватив недоумевающий взгляд ученого и обращаясь к нему совсем по-простому. — Я-то не пил воды в храме науки, но подметать двory в разных медресе подметал. И не раз в Герате, в Багдаде, в Дамаске мударрисы достаивали простого кузнеца беседами. Глубокомысленные люди, и были среди них добрые и хорошие, мавляна. Говори, какая помощь нужна, Аляуддин. Что в силах моих, то сделаю.

Али Кушчи был по-настоящему растроган.

— Благодарю вас, отец. Просьба моя... Но сначала хотел спросить вас: известно ли вам, что наследник Мирза Абдул-Латиф, мятежник Абдул-Латиф, хочет отобрать престол и напал на Мавераннахр?

— Известно... Скажу так: сын, поднявший меч на отца, заслуживает кары всевышнего. И придет кара, мавляна!

— Да будет так, отец... Ну вот, вы знаете, что Мирза Улугбек не только правитель, но и ученый, создал не одно медресе, собрал множество книг и рукописей, жемчужин знания. Цены этим книгам нет, отец. И сокровища эти в опасности. Спасти сокровища повелитель поручил мне, слуге своему...

— Я про это слышал, мавляна... А про Мирзу Улугбека скажу, — старик закрыл глаза, помолчал, подумал, говорить ли, нет ли, — слабый он правитель, мавляна. Умный человек, ученый, мудрец, наверное все звезды пересчитал, говорят, будто все их тайны узнал... А зачем в последние годы войны затеял? Чего не поделил, с кем? Войны да походы истерзали дехкан, мавляна, эмиры последнюю рубашку готовы содрать с бедняка — для побед государства, для славы его, так говорят. И ремесленникам несладко. Неужели мудрый султан не знает, что творят от его имени эмиры? Прав Уста, тяжело дехканину, тяжело ремесленнику. Но тяжело от войны нынешней и самому султану. Большая беда пала на его голову. Это хотел объяснить кузнецу Али Кушчи, но Каландар опередил его:

— Отец, что толку спорить, знает или не знает Мирза Улугбек про своих эмиров. Мы же о сокровищах сейчас беспокоимся. — Каландар бросил взгляд на Али Кушчи. — Жемчужины знания в опасности.

— Истинно так, отец, — подтвердил Али Кушчи.

— Ну, что же, — старик вновь положил руку на плечо Каландара. — Сколько, говорил ты, сундуков нужно?

— Штук двадцать или около того, уста, — предупредительно подсказал мавляна.

— К какому сроку?

— Чем скорее, тем лучше. — Каландар кивнул на хурджун. — Там золото, сколько надо будет, столько и возьмете, отец.

Старик недовольно нахмурился. Золото, золото! Будто из-за золота он берет заказ. Торопится очень этот дервиш.

— Зайди через два дня после захода солнца, — сказал он Каландару. — Поглядим, как и что получится. А это закопай!

— Там золото, драгоценности, отец!

— Вот и закопай, говорю... Ну, хоть там закопай, — старик показал на пещеру-кладовую. — Или где хочешь. И не напоминай мне о нем. Мне что железо, что золото.

Каландар вырыл яму глубиной до колен, положил в нее хурджун, закопал, а сверху завалил разной хозяйственной утварью.

Словно гора с плеч свалилась — такое чувство облегчения испытывал Али Кушчи, когда вышел из пещерного жилища Уста Тимура. Они проговорили долго; оказывается, близился рассвет, о чем судить можно было и по бледности звезд на небе — ветер разогнал облака, — и по звукам, что раздавались в кишлаке, — петушиным крикам, собачьему лаю, рыданию ослов, — звукам наступающего утра.

Возвращались Али Кушчи и Каландар тем же путем, что и пришли, и с прежними предосторожностями. Не напрасными, потому что, когда они почти уже дошли до обсерватории, Каландар вдруг резко остановился, повернулся к мавляне и толкнул его в тень чинары.

Кто-то бродил вдоль оврага, бормоча:

— О аллах, о всемогущий...

Каландар, намеренно громко ступая, вышел вперед.

— Эй, Шакал! Что ты тут делаешь, кого вынюхиваешь?

Дервиш что-то невнятное пробормотал в ответ.

— Запомни, Шакал, если ты шакал, то я — тигр. Будешь за мной следить, вырву твой кривой глаз и заставлю тебя же его проглотить. Понял меня?

Каландар подождал, пока дервиш, чуть прихрамывая, отойдет подальше. Вернулся под чинару.

— Осторожность и осторожность, мавляна. Святой шейх ставит соглядатая за соглядатаем следить...

10

Уже два дня в одной из угловых комнат Кок-сарая терзается размышлениями Мирза Улугбек.

Выходить отсюда ему запрещено.

Чуть ли не полвека проведя в Кок-сарая, Улугбек и не подозревал о существовании этой комнаты — холодной и сумрачной. Свет падал сюда из узкой щели сверху прямым, нерассеиваемым лучом.

Холодное дыхание стен чуть задерживали ковры. Узнику — хотя его так не называли — дана была пара одеял. Кормить кормили хорошо: на столике вон они, шашлык остывший, хлеб, фрукты, в изящной фарфоровой чаше вино. Не те, кто посадил его сюда, повинны в том, что Улугбек голоден, тому причиной подозрительность самого повелителя... бывшего повелителя. Он так и не притронулся к пище, за двое суток пил только воду, сделал пару глотков — и все.

От голода и бессонницы мысли, конечно, путаются. И остается одно — лежать на одеяле посреди комнаты да смотреть на отверстие в потолке.

Чего только не передумал Улугбек, лежа на этом тюремном одеяле. Вся жизнь прошла перед ним — от счастливых лет детства до нынешнего безысходного положения, близкого, видно, к концу, к смерти. Ведь и на убийство может решиться его сын, престололюбивый и жестокосердый.

Вот ему, Улугбеку, уже за пятьдесят, из них почти сорок лет был он первым человеком в государстве, правителем, но спроси-ка его, что такое счастье, в чем оно и какую отраду узнал он, придя в сей бранный мир, спроси, и не ответит мудрец и ученый, султан и поэт Улугбек. Жизнь венценосцев похожа на дворцы, построенные по их повелению: издали переливаются теплыми красками, горят на солнце, ослепляя людей, а внутри — вроде этой комнаты — холод, мрак, сырость. И безлюдье.

Или интриги.

Сжирают друг друга люди, будто хищные звери. Гнездо заговоров и склок этот Кок-сарай!

Единственное для Улугбека утешение души — наука, единственная радость — иное безлюдье, когда уходил он из Кок-сарая в обсерваторию, сидел там в уединении с астролябией в руках, наблюдал за бездонным небом, полным звезд, за его чарующей красотой.

Всевышний лишил его теперь и этого единственного утешения.

И снова, снова вспоминал Улугбек о деде, эмире Тимуре. Бури проносились после кончины Тимура над Хорасаном и Мавераннахром. Почему? Да потому, что возмездие за пролитый океан крови неизбежно. Неотвратимо. Если не настигает оно того, кто пролил эту кровь — а сам Тимур умер как раз перед исполнением своей цели: завоевать Китай, единственную великую державу Востока, что еще не была вытоптана его конницей, — то потомков карает. Потомки Тимура резали друг друга беспощадно, жестоко, злее хищных зверей. Это ли не кара, не возмездие? Тысячи и тысячи детей остались сиротами, тысячи и тысячи женщин вдовами после походов потрясателя вселенной — и не из-за этого ли резня среди тех, кто наследовал Тимур, не из-за этого ли разваливается его необъятная держава и новые реки крови льются в яростных братоубийственных войнах?

Совесть Улугбека может быть спокойна. Сорок лет он правил Мавераннахром, завоевательных

походов не предпринимал, ну разве что в юности и для того, чтобы не распалось государство, а не для того, чтобы расширилось. И в Хорасан ходил на закате жизни в целях обороны, иначе расколосось бы государство, съели бы Тимуровы родичи друг друга. А без него... что было бы без Улугбека, захвати власть эти бешеные племянники из Герата? Что станет с Мавераннахром и Хорасаном теперь... без него?

Вчера он передал Абдул-Аатифу два послания, просил — просил! — позвать на беседу. Он хотел сказать сыну, что сам, сам отречется, по своей воле, в согласии с законом, который такие случаи предусматривал, ведь для народа важно, что власть передана, а не отнята у законного владельца, это должен понимать будущий правитель. А просить — просить! — Улугбек хотел одного: чтобы остаток дней ему позволили провести в занятиях наукой. И еще хотел Улугбек дать сыну отцовский наказ, как править страной: все-таки сорок лет, опыт! Он хотел предостеречь сына от неверных слуг, доказать, что быть справедливым и человечным не только угодно богу, но и попросту выгодно для правителя.

Оба послания остались без ответа.

Смерти Улугбек не боялся. Все смертно. Все приходит рано или поздно к своему концу, к исчезновению. За душу сына, коль посмеет тот склониться к мысли об убийстве отца, вот за что боялся Улугбек. Каким бы подлым мятежником ни был Абдул-Латиф, он ведь его, Улугбека, отпрыск, сын его! Люди проклянут отцеубийцу, всевышний не прощает такого греха...

Скрипнула дверь. Улугбек открыл глаза.

Страж вошел первым, потом пропустил повара — бакаула. Кормить султана еще кормят. Бакаул на тяжелом серебряном подносе нес миску шурпы[45], чайник, две румяные лепешки.

Поклонившись, толстяк бакаул поставил поднос на столик, не торопясь собрал остывший шашлык. Медлительность его движений поневоле привлекла внимание, и, когда Улугбек посмотрел на повара, тот странно помахал рукой над лепешкой, словно мух от нее отгонял, подмигнул при этом и, пятясь, отошел назад. Улугбек ничего не понял. Проводил повара взглядом до двери, а тот покачал головой и уже у самой двери приложил палец к губам.

Ушел.

Страж загремел снаружи сапогами, устраиваясь перед дверью поудобнее.

Что хотел сказать старый повар, слуга Улугбека? О чем-нибудь предупреждал? Видно, какая-то новая беда ожидает бывшего властелина.

Вкусный запах свежего хлеба вызывал головокружение. Султан проглотил слюну. Взял лепешку, разломил — будь что будет, отравят так отравят — и застыл от удивления; из разломанной половины лепешки торчала свернутая бумажка.

Незнакомец прежде всего познакомил Улугбека с тем, что происходит в городе. Светопреставление — так назвал он происходящее. Вчера в соборной мечети высшее духовенство объявило Улугбека врагом ислама. Правителем Мавераннахра провозглашен Абдул-Латиф, и теперь будут чеканить монету с его именем. Шах-заде взял под стражу многих благородных, а также некоторых эмиров и воинов Мирзы Улугбека. Иные уже казнены.

Автор записки, лицо, видимо, обо всем хорошо осведомленное, сообщал и о намерениях Абдул-Латифа относительно отца: предполагалось отправить его паломником в Мекку для замаливания грехов и последующего возможного возвращения в лоно истинной веры. Паломничество, только

иною свойства, чем обычный хадж[46], — принудительное. Говорят, что в мечети во время проповеди к ногам Абдул-Латифа пал некий «правоверный мусульманин», Саид Аббас, и потребовал у «законного повелителя» отпущения за якобы невинно казненного Улугбеком отца своего.

Бездоказательный иск нечестивца никто не решился отклонить, никто, кроме верховного казия хаджи Мискина, коего протест потонул в яростном реве остальных улемов. Если иску Саида Аббаса будет дан ход, жизнь повелителя, и без того находящаяся под угрозой, повиснет на волоске. Вот почему, писал незнакомец, надо бежать, и, коль скоро Мирза Улугбек будет с этим согласен, пусть даст знать бакаулу. Тот усыпит стражу и — буде аллах позволит — выведет повелителя на волю потайным ходом.

«Западня, истинная западня!» — подумал Улугбек. О потайном ходе знал не только он сам и, как выясняется из записки, бакаул, но и шах-заде. Тот уже, ясное дело, поставил своих воинов около выхода из подземелий. Улугбек пойдет вслед за бакаулом и попадет прямо в их руки!

Улугбек прошелся по комнате. Взгляд его упал на разломанный хлеб. И снова подумалось:

«Отрава!» Все, все отравлено — и хлеб, и мясо, и вино в фарфоровой чаше. Чего проще, отравить его, убрать так легко с дороги. «Ну а разве теперь мне не все равно? Не лучше ль умереть от яда, чем от рук палача по навету какого-то Саида Аббаса? Не лучше ли пасть по навету, но здесь кончить дни свои, чем расстаться с родиной, замаливать, скитаясь на чужбине, грехи, в которые сам не веришь, вызывая к себе ненависть и насмешки фанатиков, и все равно умереть, потому что ни этой ненависти, ни тем более отдаленья от родины не выдержать?!»

Что будет, то и будет! Пусть отрава... И все-таки кто написал эту записку? Ведь дело рискованное, если это не западня. Али Кушчи, мавляна Мухиддин? Ну нет, такие дела не под силу людям науки. На такой риск может решиться лишь воин. Как Бобо Хусейн... Наверное, он... Так что же, попробовать бежать?.. Нет, он не будет пытаться бежать. Он правитель Мавераннахра. Он может отдать власть, но спастись бегством?.. Да и куда он может убежать, он, кто сорок лет был на глазах всех и каждого в стране... «Мне ничего не нужно, Абдул-Латиф! — мысленно обратился Улугбек к сыну. — Бери, все бери. Все твое. Только не опозорь в веках ни меня, ни себя позором черным!»

В комнате стало совсем темно. Снопик света, падавший сверху, погас. Сквозь отверстие в потолке, маленькое, величиной с ладонь, проглянули звезды.

— О, боже мой, — прошептал Улугбек.

Да что это с ним? Он не угадал этих звезд, он, астроном, что знал каждую, как свой палец... Какое же это созвездие? Кажется, Дубби акбар[47], или нет? Глаза его потускнели или, чего доброго, он тронулся разумом?

Мысли узника путались.

Улугбек, удрученный, собирался заснуть, но тут раскрылась дверь и в комнату вошли два воина, оба с обнаженными саблями. По серьгам в ушах Улугбек узнал уроженцев Балха. Какой-то незнакомый смуглокожий есаул появился вслед за воинами, отвесил небрежный поклон, слегка склонив голову в темно-зеленой чалме, и молча указал рукой на дверь.

Улугбек сдержал гнев, хотя непочтительность чужестранца была нарочитой. Узник накинул на себя шубу, вышел вслед за воинами.

Кромешная тьма наполнила дворы Кок-сарая; сторожевые башни, гарем, дворцовые постройки — все безмолвствовало. Только в самом крайнем окошке одного из домов гарема чуть пробивался свет.

Перед глазами Улугбека возникло видение — красавица невольница с печальными васильковыми глазами, его последняя радость, последнее прибежище сердца... Любое существо стремится от холода к теплу — так и Улугбек, когда не знал, куда деть себя от тоски, от мучительных раздумий, стремился к этой кроткой девушке с печальными глазами и, завидев застенчивую ее улыбку, горящие смущением щеки, словно сбрасывал груз прожитых лет и тяжесть забот. Он с удовольствием слушал ее слова, радостно убеждался в том, что его тяга к ней отзывается и в ее сердце. Последняя, предзакатная любовь, ниспосланная для того, чтобы утешить его, последнее солнышко, способное согреть его душу, — даст ли всевышний возможность хотя бы еще один раз увидеть это солнышко? Мирза Улугбек заставил себя оторвать взгляд от окна...

Приемная зала была ярко освещена. В креслах с высокими спинками, расставленных вдоль стен, восседали служители веры, все одинаково одетые: поверх суконного золотистого халата покрывала из белого шелка, у всех белоснежные чалмы на головах. Некоторые из улемов, завидя вошедшего Улугбека, по привычке торопливо встали, но под горящим гневным взглядом шейха Низамиддина Хомуша — он сидел в углу палаты — с той же поспешностью попадали в кресла.

Сановников не было. «Марофаа, — догадался Улугбек. — религиозный суд. Но тогда почему нет шейх-уль-ислама Бурха-ниддина и почтенного верховного казия хаджи Мискина? Неужели и на них осмелился поднять руку Абдул-Латиф?»

Шейх Низамиддин погладил свою белую холеную — каждый волосок блестит — бороду. Приподнял руку, призывая к вниманию.

— Раб аллаха Мухаммад Тарагай! — начал он, намеренно не произнося титула Улугбека. — Улемы Самарканда, служители истинной веры, мы собрались сюда, чтобы сделать объявление о высочайшей воле нашего повелителя Мирзы Абдул-Латифа, а также довести до сведения вашего фетву — решение улемов.

— А где сам наследник? Где мой сын? — перебил Улугбек.

Шейх откинулся назад.

— Наш благодетель и защитник престола счел грехом для себя лицемерие того, кто был властелином-вероотступником.

Улугбек побледнел, но заставил себя иронически улыбнуться. Сложив на груди руки, он почти надменно взглянул на шейха. Султан Улугбек был готов к бою.

— Раб аллаха! — воскликнул Улугбек, тоже намеренно не назвав титула шейха. — Кто из слуг аллаха вероотступник, а кто верует в него всем сердцем, про то не смертному знать, а только ему самому, всевышнему! Решать за аллаха то, что может решить лишь сам создатель, — не тягчайший ли грех против нашей истинной веры?

Сидящие в зале, словно по команде, повернули головы к шейху. Как он отобьет этот выпад? Шейх снова поднял руку и торжествующе потряс четками из темного жемчуга.

— Напротив, напротив! Назвать своими именами добро и зло, назвать вероотступником вероотступника, того, кто сбивает мусульман с праведного пути, — это не только не грех, но богоугодный поступок. Лишь невежда, погрязший в грехах, или хуже того...

— Лишь невежда не знает, что написано в Коране, — опять перебил его Улугбек. — Там же сказано: все хорошее и все плохое — все от аллаха! И раз это так, то в чем нарушил я заповеди аллаха?

Гул возмущения промчался вдоль стен, улемы повскакали с мест.

— Проклятие гонителю истинно верующих!

Шейх призвал к спокойствию тем же торжественным жестом руки. Но в красивых, засверкавших глазах его пылал плохо скрытый гнев. Он пригнулся, впился взглядом в султана.

— Самовольное толкование Корана — нет тяжелее греха!.. О, слепота, о, самомнение человеческое! Безбожник спорит о боге вместо того, чтобы просить об отпущении грехов!.. Эй, раб аллаха!

Вспомни-ка эту суру из священной книги: все, что содеяно аллахом — и милость, и щедрость, и муки, и страдания, — все, все справедливо, и нет у аллаха долга перед своими рабами!..

— Не мешает вспомнить и другую суру: «Дарю знание рабам своим для того, чтобы...»

— Довольно, хватит кощунствовать!

— Ив самом деле, — шейх развел руками, показывая, что больше сдерживать возмущение собравшихся улемов он не в силах, — и в самом деле... Для того ли пришли мы во дворец, чтобы спорить с вероотступником о канонах веры?

Спазма ярости схватила Улугбека за горло, не дала свободно вздохнуть. С усилием сдержался.

Перекрывая шум, громко произнес:

— Чтобы спорить о канонах веры, надо быть просвещенным человеком. На этот же суд, на эту лживую богопротивную сходку собрались не мудрые улемы, а темные души, недалекие умом и...

Зал задрожал от диких воплей: «Осквернитель веры!», «Да будет проклят вероотступник!», «Будь проклят!», «Во веки веков!» В таком шуме нельзя было расслышать тонкого скрипа одной половины двустворчатой двери, что вела во внутренние покои, — она чуть приоткрылась и тут же снова закрылась.

Шейх Низамиддин Хомуш поплевал по сторонам в знак того, что отгоняет злых духов. Властно закричал:

— Раб гордыни! Ты, возгордившись, сбил с пути истинного многих мусульман. Ты научил народ развратной жизни, бражничеству, стихам и пляскам. Ты открыл медресе и заставил учиться — о, аллах, только чему?! — и мужчин, и женщин... Неужели этих грехов мало?..

— Но почему это грех, достопочтеннейший шейх? Нет ничего дурного в радостях жизни, если они умеренны. А уж тем более в учении. Ибо сказано: учиться знанию есть долг каждого мусульманина и каждой мусульманки... В Коране, как известно, сказано...

— Нет в Коране такого утверждения, нет!.. Не знаю!.. Довольно!..

— Нет в Коране, есть в хадисах[48]. А там, вы знаете, собраны изречения пророка. — Улугбек уже откровенно смеялся. — Или, о святой шейх, слова пророка перестали быть законом для мусульман? Шум внезапно смолк. И все улемы вновь повернулись к шейху. Тот резко пристукнул посохом, сжав хризолитовую ручку так, что побелели пальцы, выпрямился и, судорожно дергаясь всем телом, закричал как мог громко:

— Заклинаю... заклинаю прахом деда твоего, великого эмира Тимура, прахом отца твоего, Хакани Саида Мирзы Шахруха — проси всевышнего о прощении тебе грехов, или...

— Вам, вам надо о том просить! — Улугбек сделал шаг вперед. — Мои грехи рассудит аллах, а вот почему вы вместо того, чтобы сидеть у себя в «Мазари шериф» и славить, славить аллаха — вот ваше богоугодное дело... почему вы вместо смиренной молитвы вмешиваетесь в дела, вам не подсудные, в дела государства?.. Это вы, вы живете в блуде и роскоши... Вы алчете власти, вы плетете заговоры, вы желаете встать над законным правителем страны! Султан — тень аллаха на

земле! Хоть это изречение Корана вам ведомо? Ведомо, но не хотите с ним примириться. Вот он, ваш великий грех!

Твердыми шагами Улугбек направился к двери: он-то видел, как она приоткрылась, догадался, кто за нею. Вид султана был страшен, бледное, как алебастр, лицо, горящие глаза, весь словно стрела, готовая сорваться с тетивы. Улугбек пошел прямо на улемов, что толпились возле двери, и ни один не посмел преградить ему дорогу. С силой толкнул он дверь, правая половинка ее ударилась о стену и снова захлопнулась, и тогда Улугбек рванул ее на себя, прошел в саямхану и притворил дверь за собой.

Абдул-Латиф едва успел отскочить от двери к трону.

Рядом с тронем в глубоком ярко-красном бархатном кресле Улугбек увидел ишана Убайдуллу Ходжу Ахрара.

Круглая золотая люстра посылала вниз лучи более десятка свечей, в боковых же нишах свечи не горели, при таком верхнем освещении лицо шах-заде казалось бесцветно-серым — какая-то безжизненная маска. Глубоко запавшие глаза, тонкие пальцы дрожали, выдавая смятение. Ишан Ходжа Ахрар был, напротив, воплощением спокойствия. Белая накидка поверх рыжего одеяния шейхов — джуббы — плавно стелилась по его полной широкой фигуре, спокойно, даже уютно устроившейся в кресле; конец чалмы, свисая на грудь, терялся в завитках черной, без единого седого волоса бороды, размеренно-спокойно двигались короткопалые руки, перебирая четки, губы шевелились — ишан молился, неторопливо, будто один у себя дома.

«И этот ворон успел прилететь. Верховный ишан из Шаша, давний мой „друг“, — подумал Улугбек. Вслух же сказал:

— Простите, святейший, я хотел бы поговорить с сыном.

Ишан не прервал молитвы, не изменил позы. Но взгляд его перехватил Абдул-Латиф. Вздрогнув, шах-заде буркнул:

— В беседе обязательно должен принять участие мой пир, святейший ишан.

— Нет! — резко сказал Улугбек. — Я хочу говорить с тобой наедине, только наедине. Или ты отказываешь отцу в последнем его желании?!

Ишан оперся о подлокотники кресла, молча встал. Неторопливо направился к выходу. Полное лицо его дышало невозмутимостью, толстые пальцы по-прежнему перебирали четки — во всем этом чувствовалась властная сила, все это внушало: „Будь смелей, независимей, шах-заде!“

Ишан открыл дверь — и словно гул пчелиного улья донесся из приемной залы, дверь закрылась — снова стало тихо.

Улугбек облегченно вздохнул. Подошел к трону, провел рукой по обивке сиденья. Сел в кресло, которое только что занимал ишан. Глаза Абдул-Латифа напряженно следили за отцом, безжизненное лицо-маска оставалось недвижимым. Улугбек вдруг на миг ощутил жалость к сыну, отцовское желание уберечь его от зла нахлынуло на сердце. Надо найти, найти первое слово.

Гордость Тимурова внука не позволяла расслабиться, дать волю жалости.

Тишина угнетала обоих. Комната словно потемнела. Потемнели стены в нежно переливающихся узорах, потемнели ярко освещенные орнаменты на потолке, огненные ковры на полу, канделябры и свечи. Или это ему кажется оттого, что буря утихает в душе?

Абдул-Латиф вдруг подошел к трону, демонстративно уселся на него.

Пусть так. Он больше не хотел владеть этим тронном. Но, смотри, как неожиданно изменилось лицо сына! То ли сам трон, это возжеленное сиденье властителя, придал ему, силу, то ли что другое перевернуло душу, но взгляд Абдул-Латифа сразу приобрел твердость, в прищуре глаз — жестокость и решимость. Совсем как прадед, эмир Тимур! Правда, в облике деда на троне было больше спокойствия, а этот сидит на краешке и, кажется, разыгрывает спокойствие. Но все-таки не маска уже и нет знаков растерянности.

Улугбек оторвал взгляд от лица сына.

О, как меняется человек, когда садится на трон! Будто ты уже и не смертный, который, придет срок, уйдет. Будто и впрямь тебя уже все любят, а не делают вид, что любят, и будто не было до тебя тысяч и тысяч измен. Да что говорить, самому эмиру Тимуру изменяли!.. Вот он сидит, отпрыск Тимура, правнук его, важный, надутый, старается казаться страшным и несокрушимым и не знает, что все это призрак, сон...

Э-э, Мухаммад Тарагай, что это ты так безжалостно судишь о том, кто сидит рядом с тобой, но выше тебя? А тебя самого не лишало ума-разума это золотое сиденье, не опьяняла возможность властвовать над подобными себе? Никогда, никогда? Не лги самому себе, Мухаммад Тарагай... И не забывай, что сын твой — вон там, на троне! Говорят, только конь снесет удар коня. Дай-ка лучше наставление сыну, слуга божий, не гордись собой, не проклинай его. Надо пожелать ему не плохого, а хорошего, как ты и хотел сделать!

Мирза Улугбек, подавив свою гордость, как только мог душевно сказал Абдул-Латифу:

— Шахзодаи дувонбахт![49] Ты был наследником моего престола. Призови всевышний меня к себе, ты занял бы мое место на этом троне. Ныне, по милости аллаха, ты занял его при живом еще отце. По милости аллаха и по моей воле...

Шах-заде впился в поручни трона.

— Хвала вам, благодетель! Но все же вернее будет сказать, что трон этот достался мне против вашей воли. По милости аллаха, это верно. И благодаря моей смелости, благодаря моей сабле, отец мой!

„Вот он, беркут!“ Улугбек плотно сжал губы. Отцовское желание предохранить сына от бед улетучилось, будто свеча погасла от дунувания резкого ветра. „Склоненную голову меч не сечет, так говорят. И приличия ради можно было бы не топтать моего достоинства. Но этот... стервятник...“

— Ты еще не овладел всем Мавераннахром, а мнишь, что перевернул вселенную. И знай, не в силе сила. На любую большую силу всегда находится другая, еще большая. Рано или поздно, но находится.

Шах-заде стал совсем белым.

— Почему это не овладел всем Мавераннахром? Народ страны весь под моей пятой!

— „Под пятой“, — передразнил сына Улугбек. — Гордец несмышленный! Были повелители посильнее тебя, и они считали, будто эта земля под их пятой. Земля наша все земля, а они где? Мавераннахр стоит на веки вечные, поставленный аллахом.

На тонких губах наследника зазмеилась ехидная улыбка — такая же, что была у старой ненавистницы Улугбека Гаухаршод-бегим. Гератская ухмылка, зловещая и коварная... Впрочем, ни при чем тут гератская ухмылка. Трон, трон портит, развращает, ослепляет людей. Знает ли этот заносчивый венцелюбец, что сказал когда-то мудрый Омар Хайям?

Бессмертных нет!

Как много сильных в мире этом

Уже ушло...

И мы простимся с белым светом.

— Что шепчете, отец? Благословение покорному сыну?

— Благословение мое тебе не нужно, как видно. А скажу я тебе вот что, сын. Не будет тебе счастья на этом троне... Никому он не приносил счастья, даже эмиру Тимуру. Запомни это хорошенько.

Абдул-Латиф встал, желая кончить тягостную встречу.

— Если в том цель беседы, наставления вашего, то не стану утруждать ни себя, ни вас ее продолжением. Если хотите что-то еще сказать, говорите, а если нет, — голос Абдул-Латифа угрожающе понизился, — если нет...

— погоди, повелитель... Есть у меня одно-единственное пожелание, которое и осталось мне высказать. Мое последнее пожелание... Ты хочешь изгнать меня из пределов Мавераннахра, да? Так лучше казни! Слышишь, осуди на смерть!

Комок подкатил к горлу. Улугбек замолчал.

Молчал и Абдул-Латиф. Наморщил лоб. Отвернулся от отца. Плечи опустились. Показалось, что он тоже чуть не плачет.

— Сын мой, — мягко обратился к шах-заде Улугбек. — Сын мой, скажи...

Абдул-Латиф молчал.

„Видно, думает, что в одни ножны нельзя спрятать две сабли. Да не хочу я быть саблей, не хочу, глупый. Лучше мне ослепнуть, чем видеть, как сын размышляет о том, чтобы убрать отца со своей дороги, да как получше, понадежнее“.

— Сын мой, ты должен понять меня.

— Простите, отец, — заговорил наконец Абдул-Латиф, — но я не могу пойти против фетвы, вынесенной почтенными улемами. Говорят же, фетва улемов — что печать аллаха!

— Разве улемы — пророки, чтобы передавать нам, простым смертным, наказы всевышнего?.. Слово повелителя — закон для подданных, в том числе и улемов. Будешь их бояться — потеряешь трон!.. Пусть он твой, пусть власть, слава, почести — все тебе. Мне малое нужно — жить на родной земле и заниматься любимым делом в обсерватории своей. Куска хлеба, одного кумгана воды на день мне будет достаточно. Не бойся, я не буду сражаться за то, чтобы снова сесть на этот зло приносящий трон. Я хочу в оставшееся мне время закончить каталог звезд, дописать книги свои...

Шах-заде вдруг круто повернулся, заговорил так яростно, что кончики редких усов ошетинились, губы задрожали:

— Обсерватория, каталог звезд!.. Все ваши мударрисы — безбожники, вероотступники! Мне не раз говорили об этом истинные служители веры, которых вы унижали... За это, за это аллах покарал вас, лишил престола! А вы вместо покаяния — опять про обсерваторию?! — Абдул-Латиф повернул лицо в сторону Мекки. — О великий аллах! Ты слышишь его слова, ты видишь сколь закоснел сей раб твой в грехе, поддавшись гордыне, желая раскрыть тайны, которые ты счел недопустимыми для разгадки, о великий аллах, молю тебя, прости раба твоего грешного.

И Абдул-Латиф закрыл глаза, зашептал молитву.

Улугбек, пораженный, смотрел на сына. Он знал, что наследник фанатичен, ему говорили, что в Балхе, где правил Абдул-Латиф, притесняли просвещенных людей, но чтобы его сын до такой

степени был темен! И жесток, и лицемерен!

— Шах-заде, — Улугбек опустил глаза, чтобы скрыть боль и гнев, — кого настигнет проклятие или прощение, о том судить не нам, смертным...

— Да, да, всевышний знает, все знает. Невинного не тронет, но кто поднимет меч против истинной веры — будь он нищий или самый могучий шах! — того аллах покарает так... — Абдул-Латиф сжал кулаки, голос его срывался на крик, — того он... того я... Это исчадие ада, источник ереси, обсерваторию — в пепел! Сожгу дотла!.. И хватит, хватит разговоров. Какой вы мне отец? Где ваша щедрость?.. Я... я ли не выказал храбрости, я ли щадил себя в битве при Тарнобе. — Шах-заде не в силах уже сдержаться, выплескивал истинное, не скрытое приличием отношение к отцу, к родне. — Не я ли?.. А слава и добыча кому достались?.. Любимчику вашему Абдул-Азизу!

— Что ты говоришь?

„О аллах! Такой вот сумасшедший на троне Мавераннахра! Несчастливая страна!“

— Что ты говоришь?! Ведь Абдул-Азиз родной твой брат!

— Брат? Благодарю вас за такого братца... Благодарю... за такого отца! Кто взял мое золото из замка Ихтиериддина, золото, завещанное мне прадедом? Кто? Благодетель-отец!.. А-а-а... Всеу есть предел, терпению моему тоже... Ну, отвечайте, где золото Сахибкирана Тимура, где?

Улугбек отпрянул.

— О каком золоте ты говоришь?

— А-а, будто не знаете? О том золоте, о тех драгоценностях, что эмир Тимур привез из Египта, Дамаска, Багдада! Где золотые индийские статуэтки? Передали? Своему любимчику передали, Абдул-Азизу, или безбожному Али Кушчи? Где он? Я его... я ему...

Взгляд Абдул-Латифа — взгляд безумца. Шах-заде почти спрыгнул с трона и пошел вперед, свирепо глядя на отца. Улугбек, отступая, свалил кресло. Грохот, видно, привел Абдул-Латифа в чувство.

— Где же он, ваш Али Кушчи? — уже несколько спокойнее спросил шах-заде, остановившись как вкопанный.

„Не знаешь. К счастью, не знаешь, иначе не кричал бы так, как только что кричал“.

— Не ведаю о нем...

— Я не верю, ни одному вашему слову не верю... Зачем звали к себе Али Кушчи перед походом, в самую последнюю ночь? Что передали ему?

Улугбек уже полностью овладел собой.

— Твои соглядатаи видели, как Али Кушчи приходил в этот дворец, так спроси у них, что я передал тогда Али Кушчи.

— Я знаю, что! Я хочу слышать от вас.

— Я пришел не за этим, — Улугбек выпрямился и посмотрел сыну прямо в глаза. „Не знаешь, иначе не так разговаривал бы со мной, беркут“. — Я пришел дать тебе отцовское наставление... Оказалось, не оно тебе нужно, а золото. Золото, не тебе принадлежащее! Как и то, что добыто в битве при Тарнобе. — Улугбек властно вскинул руку, видя, что шах-заде хочет его перебить. — Издавна повелось: отцовское слово — закон для сыновей. Ты можешь не посчитаться с этим. Хочешь, выгони меня на чужбину, хочешь, казни, ты и на такое, вижу, способен. Все в твоих руках, потому что сила сейчас у тебя. Но что эта сила против отцовского проклятия, ты об этом не думал?.. Так знай: если тронешь обсерваторию, если тронешь моих ученых, моих учителей и моих учеников, знай, прокляну

на веки веков! И еще помни: ничто в мире не проходит без следа, ни один низкий поступок не остается ненаказанным, ни одна несправедливость неотмщенной... У меня нет больше слов для тебя. Зови теперь своего есаула!

Лицо Абдул-Латифа мелко-мелко дрожало. Он хотел было что-то сказать, но не сказал. Посмотрел на отца с нескрываемой ненавистью, отвернулся от него, помолчал минуту, будто колеблясь, крикнул:

— Есаул!

11

Сидя на осле, Али Кушчи свесился в сторону; в одной руке он держал поводья шагавших сзади четырех верблюдов, другою похлопывал осли по шее, понуждая его двигаться побыстрей. Но это плохо удавалось. Замыкающий их караван Мирам Чалаби, семнадцатилетний талиб, краса и гордость медресе Улугбека, качался в такт неторопливым шагам своего «иноходца», который четко держал дистанцию по отношению к впереди идущему собрату.

Самарканд Али Кушчи с учеником покинули вчера в полночь. Путь лежал к Ургутским горам, все время вдоль высохшего ручья. Ехали до рассвета, утром остановились на привал в ореховой роще. Целый день продолжался этот привал: попадаться на глаза людям не следовало. С заходом солнца отправились дальше: по расчетам мавляны, можно было достичь Драконовой пещеры под утро, если всю ночь провести в движении.

Каждый верблюд тащил четыре сундука, скрытых в большой копне сена; встречные люди могли принять путников за дехкан или за пастуха с подпаском — они и впрямь смахивали на пастухов в своих темных чекменях, пастушьих войлочных шапках, надвинутых на лоб низко, до самых бровей. Ночь была тиха. Над грядой гор впереди висел только что родившийся серп луны, который еле-еле освещал широкое русло, деревья по обеим его сторонам и те самые ореховые рощи, которые тянулись вдоль ручья. Спокойно, а жутковато!

Большого черного осли, то и дело спотыкавшегося о камни, но ходока неутомимого, а также верблюдов достали откуда-то для Али Кушчи Каландар и Уста Тимур. Под Мирамом семенил осел мавляны. Прокравшись в обсерваторию за день до их с Мирамом ухода, Каландар передал Али Кушчи мрачные слухи, которые целый день будоражили город: в соборной мечети собрались улемы, обвинили Мирзу Улугбека в неугодных богу деяниях, прочитали фетву о наложении запрета на все его противоречащие шариату начинания. Медлить было нельзя. Каландар сказал, что на следующий день с наступлением тем-юты он приведет верблюдов, уже навьюченных порожними сундуками, велел быть к тому времени готовым — и людям, и книгам. Работа была адски тяжелой: раз сундуки нельзя было шести во двор обсерватории, а книги вынести к воротам, пришлось книги складывать в мешки и тянуть каждый мешок через юдземный ход к выходу в овраг. Поэтому и пришлось посвятить тайну и приобщить к работе Мирама: одному совершить это дело Али Кушчи было бы не по силам.

А как непросто оказалось отобрать книги! Любую было жаль вставлять, любая казалась бесценной. Али Кушчи под нетерпеливыми взглядами Мирама брал книгу в руки, листал ее, вздыхал горестно и ставил обратно. Но произведения мудрецов Маверан-яхра!.. Нет, их нельзя было ставить обратно на полки и в шкафы, эти тяжелые книги, переписанные по велению устода самыми искусными каллиграфами, обернутые в зеленый, красный и желтый сафьян. Редкие, истинно бесценные, к тому

же родные создания! Но сколько же их! Как много! Одни произведения мудреца мудрецов Абу Райхана Бируни наполнили целый мешок: «Ал-Канун ал масъуди», «Мезон ул хикмат», «Китоб ус сайдана»[50] завернутая в розовый шелк... А ученейший из ученых бу Али ибн Сина: большущие «Китоб уш шифо» и «Китоб ун нажот»[51], жемчужины искусства врачевания, не помещались адже в мешке, равно как начерченные на шелковой бумаге звездные таблицы самого Улугбека и его же, не dokonченные еще переписчиками-каллиграфами исторические трактаты. Вместе с книгами Авиценны Али Кушчи сложил их в особый сундук, завернув предварительно в плотную парчу... Книги, книги, книги... Вот любимый устодом трактат «Лугат-ат-тюрк», переписанный на коже серны. Вот «Математика», начертанная собственной рукой благословенного Кази-заде Руми... А вот в изящном золоченом переплете стихи Омара Хайяма, чьими математическими познаниями восхищается разум, а стихами утоляется жажда души... И рядом — в бархате — произведения великого создателя алгебры Абу Абдуллы Мухаммада ибн Мусы аль-Хорезми «Китоб алмухтасар фи хисоб алд-жабр мухобала».

Как же можно бросить здесь на произвол судьбы такие книги? Как можно подумать о том, чтобы оставить их, боготворимых устодом?

Отобранные Али Кушчи Книги составляли лишь малую часть библиотеки Улугбека. Но и они заполнили сорок мешков. Али Кушчи и Мирам Чалаби перетаскали один за другим все мешки по длинному подземному лазу. Работу эту закончили они далеко за полночь, а незадолго до рассвета в овраге появились Каландар и Уста Тимур, которые привели верблюдов, навьюченных сундуками. Вчетвером дело пошло быстрее; каждый сундук — это три мешка книг, на каждого верблюда пришлось по четыре сундука; довольно долго возились с сеном; удивлялись неожиданному для себя открытию — оказывается, тяжелы бывают книги: самцы-верблюды, здоровенные и привычные к большим грузам, поднялись на ноги, пошатываясь, когда погрузка была завершена.

И вот со вчерашнего дня Али Кушчи и Мирам в пути. Верблюды хорошо отдохнули в ореховой роще, куда маленький караван скрылся при наступлении дня, — пусть места эти не очень-то многолюдны, но осторожность не повредит. Сыщики и доносчики могли рыскать и тут. Ну а если с ними разминуться, то, хвала аллаху, Драконова пещера даст возможность сделать дело так, как нужно.

Эту пещеру Али Кушчи увидел впервые лет пятнадцать... нет, шестнадцать... шестнадцать лет назад. Стояла теплая осень, самое подходящее время для охоты на архаров, и Мирза Улугбек с придворными отправился к Ургутским горам.

Ранним утром нукеры, расседлав скакунов, уходили высоко в горы. Брала с собою натасканных собак. Отыскивали стадо архаров, окружали его, гнали вниз по намеченным дорогам. Придворные прятались в рощах арчи на склонах. Архары мчались с огромной скоростью мимо них, подставляя себя под стрелы. В забаве этой было мало удалства, зато добывалось много вкусного мяса: шашлыков готовили столько, что можно было пировать в шелковых шатрах до утра, что Улугбек и делал неоднократно. Правда, порою все это надоедало повелителю, и он с тремя-четырьмя приближенными сам поднимался в горы. Это было опасно, но тогда Улугбек еще любил бросать вызов опасностям. Так вот, однажды он и Али Кушчи с эмиром Арсланом и отправились в горы. Причем не пешими, как нукеры, а конными. День выдался хмурый, тяжелые тучи стлались низко над головой, поднялся резкий студеный ветер. Но Улугбек, бывший внизу в мрачноватом настроении,

здесь, наверху, почему-то даже повеселел. Лебединошейей скакун его, а скакун тот был белый, арабской породы, лихо преодолевал ручьи и речки, увалы и рощицы. Из желтизны и оранжевости ореховых и урюковых рощ они выскакивали на горные луга, сохранившие по-весеннему сочный зеленый цвет. Султан, лишь только спутники нагоняли его, прищпоривал коня и опять уходил вперед; казалось, охота была забыта, так захватила Улугбека красота этих мест.

Но тучи сгущались не даром: вскоре пошел дождь, да такой, что в один миг среди камней зазмеились все увеличивающиеся потоки. Мог быть и обвал, мог начаться и сель. Али Кушчи и Арслан в один голос стали просить повелителя вернуться, да тут из рощи, которую неподалеку пересекала их тропа, выскочили два архара и помчались, срывая камни, вниз, в сторону. Улугбек гикнул и — за ними, так, видно, и не услышав крик осторожного мавляны: «Устод, остановитесь!»

Архары скрылись в нижней части рощицы, вслед за ними исчез из глаз и Улугбек. Долго искал повелителя Али Кушчи, вымокший до нитки, исхлестанный ветвями. Выскочив из рощицы, увидел на склоне другого холма и архаров, и Улугбека, стремительно поднимающихся вверх. Уму непостижимо, как проскочили они через мгновенно возникший бешенный поток в лощине?

Быть беде! Али Кушчи отчаянно хлестнул и без того измученного коня, ринулся через поток, эмир Арслан же, как ни хлестал своего скакуна, так и остался на той стороне: конь заупрямился, да и только! Али Кушчи заметил это, уже преодолев поток; в лощине он только чувствовал удары камней, в воде — напряжение коня. И страх за устода.

Снова какая-то роща преградила ему путь, и снова сквозь нее! И грохот селя сзади, и тьма, вдруг павшая на землю, и тяжелый удар грома, от которого, казалось, должна расколоться гора, что поднималась перед ним.

Архары (а за ними конь устода) карабкались все вверх и вверх, казалось, прямо к снежным пикам, и там, где они прошли, оставались сломанные ветки, помятые кусты арчи и кизила. Всадник потерял из виду повелителя, а тут еще на пути закрыла полнеба огромная гранитная скала. Дождь поливал ее, струи воды смывали камешки. А что, если сорвутся не камешки, а камни? Где архары, где устод? Али Кушчи взял коня под уздцы накоротке, так, осторожно оглядываясь, прихрамывая, обошел скалу.

С противоположной стороны скала обрывалась гладко стесанной пропастью. В страхе за себя (и за устода) Али Кушчи остановился на краю обрыва. Ему почудилось, будто кто-то там есть, внизу.

— Учитель!

— Али Кушчи, это ты? Взбирайся сюда, дорогой мой!

Голос шел не снизу, хвала тебе, всевышний, — сверху!

Подняв голову, не обращая внимания на дождь, мгновенно заливший лицо, Али Кушчи увидел, что Улугбек стоит над ним у большущего скособоченного валуна. Туда можно было пройти.

Но только без лошади.

Мавляна оставил коня на месте, сам же начал карабкаться вверх. Поднявшись, обнаружил, что Улугбек стоит с непокрытой головой, насквозь мокрый, чекмень его даже уже не впитывает дождевую воду, стоит и... улыбается., — Смотри под камень, вход... Пещера!

— Как вы, устод, и где ваш конь?

— Там, конь там, — Улугбек махнул рукой на обрыв, не отрывая глаз от входа в пещеру. Далекая молния снова блеснула, осветив окрестность. — Видел? Пещера, Али! Огромная, без конца и

края, — почему-то восторженно зашептал Улугбек. — Пошли?

И, не дожидаясь, что скажет Али Кушчи, первым нырнул в проем.

Внезапно вылетевшие из глубины пещеры потревоженные сизые горлинки заставили вздрогнуть Али Кушчи. Когда глаза его свыклились с темнотой, он понял, что пещера эта, в самом деле гигантская, — обиталище птиц: так много было здесь остатков старых гнезд и разбросанных перьев.

— Кремень, Али! Надо найти кремень!

Али Кушчи ладонью на ощупь отыскал на полу пещеры два кремневых камешка, выдернул из рукава одежды клочок ваты для фитиля. С грехом пополам фитиль затлеел, подожгли им какие-то ветки, мало-помалу разгорелся настоящий костер. Красноватые стены пещеры заблистали, в углу зазиял проход куда-то в глубь горы.

Али Кушчи привязал к сабле свою рубашку, зажег ее и с таким факелом двинулся вперед. Пройдя шагов пятнадцать по стиснутому с обеих сторон и кривому, словно змеиный след, ходу, он остановился перед каким-то темным провалом. Постояв в нерешительности, Али Кушчи снял с себя кушак, один конец его подал Улугбеку, держась за другой, спустился вниз — яма оказалась по грудь. Поднырнув в боковой проем, мавляна попал в новую пещеру, еще большую, чем прежняя.

Просторная, эта пещера была и выше первой; стены ее отсвечивали белизной.

— Видишь? Как фарфор, — восхищенно прошептал за спиной мавляны Улугбек. — А там, смотри...

И Али Кушчи увидел, что из новой пещеры куда-то в еще большую глубину ведет еще одна ямашель. Где же конец этой цепочке пещер и есть ли он вообще? Они облазили малую часть, сами не зная, зачем им это нужно.

Впоследствии они редко вспоминали загадочное подземелье, прозванное ими Драконовой пещерой, но стоило Али Кушчи попасть к Уста Тимуру, и давнее происшествие встало перед глазами, вспомнилось с удивительной отчетливостью.

Конечно, сокровища библиотеки Улугбека можно спрятать и в Самарканде. В конце концов, не для сырых и темных подземелий пишутся книги! Но сейчас... Сейчас будет лучше, если эти великие создания человеческого ума скроются в Драконовой пещере, подальше от недобрых глаз. О, аллах, сколько таких творений уничтожено людским невежеством! Сколько книгохранилищ было разорено, сколько прекрасных книг сожжено на площадях Рима и Багдада, Каира и Константинополя!

Да минует нас такая судьба, да пройдут скорее дни испытаний и несчастий и пусть на престол Мавераннахра вновь воссядет повелитель-устод!.. Если же нет, если шах-заде укрепит свою бесчеловечную власть, то... скройтесь здесь, книги, лежите в безопасности, как дитя в материнской утробе. Лишь бы он, Али Кушчи, не сбился с пути, лишь бы ничего не помешало ему по дороге. Нет, Али Кушчи достаточно было побывать в каком-нибудь месте один раз, чтобы запомнить и место это, и путь к нему.

Вот оно, джайляу[52], на котором в ту давнюю осень они разбили шелковые шатры. Окруженное снежными вершинами, это джайляу полно сейчас особой, божественно прекрасной тишины. Лишь стрекотанье сверчков нарушает ее да рокот далекого ручья.

То самое джайляу, то самое. Ну конечно, ведь на склоне холма, среди арчовых зарослей, они поставили тогда шатры, а внизу, у ручья, паслись белые кобылицы, чье молоко шло на кумыс, столь желанный после обильных возлияний.

Пронеслись годы. И что исполнилось из того, о чем говорили они с устом в ту давнюю охотничью

осень?

Ничего не поделаешь: слишком жестокой оказалась жизнь, слишком немилосердным мир.

Али Кушчи снова вспомнил Салахиддина-ювелира, и на этот раз, как бывало всегда, когда он вспоминал черную неблагодарность, сердце заняло от горькой обиды. Ну ладно бы, если такими неблагодарными оказались только ювелир и его сын. А то ведь и другие...

В тот самый день, когда разгневанный мавляна вышел из дома хаджи Салахиддина, встретился ему по дороге какой-то нищий в старом лоскутном халате. На узкой улочке им предстояло разойтись, что и хотел сделать Али Кушчи, не обратив внимания на встречного. Но нищий вдруг попятился, сначала замахал руками, что невольно остановило Али Кушчи, а затем почтительно сложил их на груди. Странно дергаясь лицом, нищий заговорил:

— Э-э, мавляна Али Кушчи... Ассалам алейкум, хвала вам, хвала!

Али Кушчи не поверил глазам: в рубище нищего, в этой изодранной тюбетейке предстал перед ним известный в придворных кругах и во всей столице поэт Мирюсуф Хилвати. В последнее время Али Кушчи не видел его, и вот, оказывается...

— Что произошло, друг мой? Почему вы в таком наряде?

— Осторожность, осторожность, мавляна, — пропел Мирюсуф, озираясь по сторонам. —

Береженого бережет всевышний. А благосклонный, отмеченный судьбою шах-заде может взять под стражу и посадить под замок не одного только родителя своего... Лихие времена, мавляна, ой лихие! Лучше уйти из города, лучше изменить облик... лучше исчезнуть на время с глаз людских. — И с этими словами Мирюсуф свернул в соседний узкий переулок.

«Родитель», «под замок», «шах-заде благосклонный», а ведь совсем недавно, на весеннем пиршестве у повелителя в «Баги майдан», пиршестве, на которое приглашены были и ученые, и поэты, и музыканты, пиршестве, где рекой лилось вино и стихи, где все наслаждались искусством танцовщиц и ими самими, — на том пиршестве Мирюсуф Хилвати с большим чувством прочитал стихотворение, посвященное повелителю-устоду. Али Кушчи до сих пор помнит:

Победоносный дед восславлен целым миром,

Луч милостей его ловил богач и сирый.

Шахрух, отец твой, был поистине счастливый:

Для скольких душ он стал владыкой и кумиром!

Над тронном поднялась теперь заря науки.

Забыли все про горести и муки,

Согласен танец звезд — твоих рабынь прекрасных, —

И музыки его мы сердцем ловим звуки.

А теперь этот лизоблюд изо всех сил спасает шкуру!

И сколько их, льстецов и лжецов, среди придворных. Матушка Тиллябиби недаром плакала на плече мавляны, умоляя его покинуть город, спрятаться где-нибудь в укромном углу, переждать беду. Но он, Али Кушчи, шагирд Улугбека, его друг, не станет, не станет подобным какому-нибудь Хилвати, не отвернется от устода в тяжелую годину — он ведь не трус, он не мавляна Мухиддин. А если вдруг судьба повернется и снова окажется благосклонной к устоду? Что тогда будут делать, что запоют те, кто ныне изменил Улугбеку? Неужто опять будут низко кланяться, воспевать-восхвалять, презрев укоры совести и делая вид, будто ничего и не было?

«Чему тут удивляться, чем возмущаться, Али? Разве неверность — не вечное проклятие рода человеческого? Люди подчиняются разуму — так следовало бы считать, — разуму и совести, разуму и добру. А на деле — и об этом говорили много раз многие-многие поэты и мудрецы — люди подчиняются лжи и богатству, мечу и трону. А коли так, надо, пожалуй, не очень-то рассчитывать на разум людской, на чувство добра, якобы извечно присущее людям...»

Не считает он и устода, даже устода, полностью безгрешным и всецело добродетельным. Конечно, чаще всего Али Кушчи видел Улугбека в часы мудрого спокойствия, столь приличествующего ученому человеку. Но были минуты, когда повелитель преображался в существо дикое, по-дедовски яростное и несправедливое, — минуты, не постигаемые разумом, объяснимые разве что и впрямь тимуровской своевольной кровью.

В памяти неожиданно всплыла давняя сцена — ее Али Кушчи не мог вспоминать без содрогания и стыда, гнал, бывало, ее от себя, да вот сейчас почему-то дал свободу воображению.

Случилось это в тот далекий год, когда обсерваторию только начинали, закладывали фундамент, и они, молодые талибы медресе Улугбека, ходили помогать строителям. Водительствовал ими незабвенный Кази-заде Руми. Однажды подходили они к холму, где возводилась обсерватория, и уже издали слух их поражен был чьими-то отчаянными стенаниями, перебиваемыми яростными криками и руганью... кого бы? — повелителя, устода Улугбека! Зрелище, открывшееся взорам талибов, когда они со скоростью вихря взбежали наверх, было невыносимо: распаленный, весь какой-то взлохмаченный Улугбек, стоя на груде сваленных как попало кирпичей, избивал тяжелой плетью с металлическим наконечником пожилого строителя-каменщика, согнувшегося, обнаженного до пояса. Руками каменщик пытался хоть как-то прикрыть лицо и голову, но и по бритой его голове, потным, дрожащим плечам и рукам, а уж тем паче по спине гуляла зловеще свистящая плеть, и темно-красные следы ее на человеческом теле были густы и страшны!

Кази-заде Руми поднялся на холм чуть позже талибов, так и остолбеневших при виде этого жестокого избиения. А наставник — в широко раскрытых глазах его, обычно скромно опущенных долу, на сей раз гнев, протест, смятение! — кинулся вперед и крикнул резко: «Повелитель! Недостойно... недостойно вас!»

Мирза Улугбек на мгновение замер с вознесенной плетью, обвел всех мутным, ничего не видящим взглядом, шагнул навстречу ученому, каким-то изломанным движением сунул ему в руку плетку, неловко повернулся и зашагал прочь. Кази-заде Руми тут же выронил плеть и брезгливо провел по халату кончиками пальцев.

Позже Али Кушчи узнал, за что так безжалостно избил старого каменщика устод. Оказывается, каменщик посмел пожаловаться ему на похлебку из гнилых продуктов. Не под настроение пожаловался, видно... А разве не знал Али Кушчи о насилии, которое чинилось воинами повелителя, что сгоняли сотни и тысячи дехкан на городские стройки, насилии, тем более известном Улугбеку? А тот знал и воспринимал как должное! А разнuzданные порою пиршества султана — они ль говорили о благонравии и добросердечии повелителя?.. Нет, не перед султаном Улугбеком преклонялся Али Кушчи, не перед султаном...

Думы эти не мешали мавляне внимательно следить за дорогой.

Вот то место, где надо свернуть налево, к горам, — тут они свернули в далекий дождливый день охоты на архаров. Рассвет теперь близок: верхушки гор посветлели, сильнее засверкала, как обычно

в предутренние часы, луна, будто ее протерли, начистили песком, а особенно ярка Венера, стоящая над лунным кругом.

Все круче и круче становились холмы, все медленнее шли верблюды, все тяжелее звучали сзади их вздохи: бух-бух, бух-бух. А перед самым подъемом к Драконовой пещере они вообще остановятся и придется перевьючивать сундуки на ослов и раз за разом гонять их вверх по крутизне.

Вот здесь они стояли с устомом, когда хлынул дождь. А вот и арчовые заросли, откуда выскочили тогда архары. Ни в чем не изменилась рощица — зеленая, такая же нарядная, будто прошло не пятнадцать лет, а пятнадцать дней... Вот где бушевал сель, остановив коня эмира Арслана. Ручей изменился. Тогда полноводный, а в селевой дождь сразу превратившийся в глубокую, безумную реку, он теперь почти обмелел.

Али Кушчи предположил верно. Перед крутым подъемом верблюды стали «бухать» уже надрывно, подниматься не могли.

Али Кушчи слез с осла. Размял ноги. Прошел несколько шагов вперед. Огляделся. Кругом тихо и пустынно. Нигде ни человека, ни животных. Только из арчовника доносятся птичьи перебранки. Воздух чист, напоен запахами арчи, барбариса, персидской рябины и еще каких-то горных растений, не известных Али Кушчи.

Мавляна оглянулся на Мирама.

— Слезай и ты, сынок. Приехали к пещере. Пусть лягут верблюды.

Глаза юноши при слове «пещера» вспыхнули, словно у нищего при слове «золото».

Верблюды легли на отдых, их привязали длинными прочными веревками к деревьям и кустам.

Али Кушчи, захватив заранее приготовленные фитили, полез наверх, к гранитным скалам, пробираясь через заросли кизила и барбариса.

Мирам Чалаби, все еще беспокойно озираясь вокруг, полез за ним.

Вот они, наконец-то, те громадные глыбы, каждая с купол соборной мечети, которые тогда, во время ливня, казалось, чуть что — и низринутся, упадут на вас, раздавят. Короток век человеческий, необозримо длинен век камня. Что этим громадам пятнадцать — шестнадцать лет? Миг... Ну-ка, обойдем их, как тогда. Осторожнее, не свалиться бы в бездну, подобно горячему арабскому скакуну султана. Несколько шагов вдоль края, теперь карабкаемся вверх, вон там стоял тогда устом.

Знакомый скособоченный валун-гигант.

Драконова пещера!

И стоило Али Кушчи подойти ко входу, из пещеры как тогда, пятнадцать лет назад, вылетела стая птиц, на этот раз галок. Мирам чуть не покатился назад, к пропасти. Но Али Кушчи ловко и крепко схватил его за руку. Улыбнулся. Громко, намеренно бодро сказал:

— Не бойся, сынок, тут нет драконов, хоть пещера и Драконова.

Зажгли фитили. Али Кушчи первым вошел в пещеру. Та же картина: в углублениях буро-красной стены птичьи гнезда (их стало больше), на полу остатки вывалившихся старых гнезд, перья, скорлупа яиц. И зола от того костра! И даже два знакомых кремневых камешка нашел Али Кушчи.

Так, вот поворот налево, темный провал, зев, ведущий в следующую пещеру. Пройдет ли сундук?

Слава аллаху, пройдет, если обрубить несколько песчаниковых выступов по бокам проема.

И вторая пещера, та, чьи стены напоминали китайский белый фарфор, осталась без изменений.

Огромная, пол ровный, вода ниоткуда вроде бы не капает. Да, сундуки надо сложить здесь, а ход

закрывать камнем.

Али Кушчи вздохнул с облегчением. Будто бездонный овраг перескочил.

Вышли из подземелья, осмотрелись. Долина была залита солнцем, не по-осеннему ярким. Багряная листва барбариса полыхала огнем, темная зелень арчи переливалась, будто умытая. Меж валунов внизу верблюды казались тоже темными камнями. А величественные горы, на которые смотрел, раскрыв глаза от изумления, Мирам? Как прекрасны они в ярко-желтых, красных, багровых пятнах рощ по склонам! Как великолепен, как непередаваемо красив мир!

Али Кушчи положил руку на плечо юноши. Мавляна тоже волновался, но по другой причине.

— Сын мой! Об этой диковинной пещере во всем Мавераннахре знают лишь три человека: Мирза Улугбек, я и с недавнего часа ты. Редчайшие сокровища, собранные со всего света предводителем ученых мужей, благословенным Улугбеком, мы скроем в этом подземелье. Если не мы, так другие люди из будущих поколений, счастливее нас, воспользуются этими сокровищами. Ну а до прихода этих лучших времен местонахождение сей пещеры мы обязаны держать в тайне. Пусть не узнают о ней не только друзья твои, но даже отец родной. Поклянись в том, сын мой, и да будет аллах свидетелем твоей клятвы.

Мирам Чалаби повернулся на запад, произнес клятву. Потом оба они прочитали молитву.

12

С Уста Тимуром Каландар Карнаки познакомился в начале своих дервишских странствий.

Каландар к тому времени покинул медресе, но злословие, сплетни и дразги дервишей были ему еще внове и ранили душу особенно остро. Однажды вечером он не пошел из-за этого в ханаку, а, выйдя из города, направился к кишлакам, расположенным вдоль течения речки Оби-рахмат. И на следующий день не повернул обратно, а все шел и шел от одного кишлака к другому.

В одном из них он увидел странного человека, сидевшего у пещеры на склоне высокого холма.

Борода его пожелтела от кузнечного огня и дыма, в бесчисленных морщинах лба темнели следы сажи. Старик сидел под чинарой за починкой кумганов и медных чайников. Рядом на огне шумел черный кумган.

Каландара поразила красота и величавость старика. Понаблюдав за его работой, Каландар отвесил ему почтительный поклон и смиренно, как и подобает дервишу, попросил пиалу воды. Старик пиалу подал, но первой фразой его, когда оглядел он Каландара, была такая: «Смотри-ка, с таким саженным ростом и силищей в дервишах ходит, побирается!»

Каландар не ожидал подобного. Кое-как выпил горячего чаю, хотел было тронуться в путь. Но старик, не отрывая от него пронизательных глаз, спрятанных под мохнатыми бровями, задержал вопросом:

— Из каких краев будешь, дервиш, на самаркандца-то вроде бы ты не похож?

Нехотя сказал Каландар, откуда занесло его в столицу. Неожиданно разгладились морщины старика, лицо стало приветливее.

— Из города Ясси ты, стало быть, и так вот странствуешь чужаком в наших краях? Видно, не по своей воле, а? Какие же беды и печали пали на твою голову, странник, что ты покинул родной очаг, расскажешь, может быть?

И Каландар, почему-то тронутый живым участием старика, рассказал свою историю — всю, от начала до конца.

Старик слушал, прикрыв глаза и покачивая головой, а когда Каландар умолк, нашел слова утешения для него, тем главным образом, что сам рассказал, как еще в молодости присоединился к каравану, шедшему в Ясси, как побывал в этом городе, помолился у гробницы святого Ахмеда Ясави. Каландар умилился, вспомнил и повторил вслух старинное изречение, что украсило надгробье святого хаджи, и старик тоже умилился и зазвал дервиша к себе в пещеру. В тот день старик так и не отпустил его от себя.

С того и пошло, Каландар стал частенько приходить к Уста Тимуру Самарканди. И каждый приход к мастеру приносил радость обоим. А когда понадобилось помочь мавляне Али Кушчи, Каландар, не колеблясь, привел его прямо к кузнецу. Правильно сделал, ибо узнал отзывчивое сердце Восьмидесятилетнего мастера, его склонность делать людям добро. Уста Тимур сразу все понял и сразу же взялся помочь.

Не зная усталости, трудились Уста Тимур и двое его подмастерьев — два брата, ни на минуту не умолкавшие весельчаки Калканбек и Басканбек. Вечерами и Каландар приходил в пещеру-кузню, играючи орудовал пудовым молотом; Уста Тимур собственноручно изготовлял обручи, он же, когда сундуки были выкованы, отправился в кишлаки, что за Зеравшаном, и привел оттуда четырех верблюдов...

Немало удивился Каландар, когда проводив Али Кушчи и Мирама Чалаби и возвращаясь от сухого ручья в город, встретил неподалеку от ворот обсерватории Уста Тимура. Тот делал вид, будто понукает осла, а сам незаметно для возможных прохожих сдерживал его, явно тянул время, поджидая Каландара.

— Что случилось, отец? Почему вы здесь, а не у себя дома? — тихо спросил дервиш мастера, поравнявшись с ним.

— Будь осторожен, сын мой. Гляди в оба. Здесь бродит тень. Ждет тебя, мне показалось... Потому я и решил дожидаться тебя... Ну, пошел теперь, нечестивый, — пробурчал он, обращаясь к ослу. — Понял меня, Каландар? До свидания.

«Что еще за тень? Неужели выследили мавляну? Или это за мной пошла охота?» Каландар внимательно огляделся. Вроде никого. Тихо. Решил постоять под чинарой, что росла прямо против ворот обсерватории. Там была естественная возвышенность, из которой талибы сделали что-то вроде помоста для сидения и лежания — супу[53], и Каландар целую неделю проводил ночи на этой супе, наблюдая за обсерваторией, изредка посиживал на ней и днем, словно простой прохожий, часто бывало, вместе с другими прохожими. Теперь Каландар вытащил из дупла чинары припрятанную заранее ветхую кошму, расстелил ее на супе, под голову положил хурджун.

Через некоторое время он и в самом деле увидел около ворот обсерватории чью-то тень.

— Эй, кто тут шляется по ночам? — крикнул Каландар, постаравшись изменить голос.

Тень рванулась вперед, потом кинулась на другую сторону дороги, ближе к деревьям, и, перебегая от одного дерева к другому, помчалась в сторону «Баги майдан».

«Шакал! — догадался Каландар, подметив, что тень прихрамывает. — Сейчас догоню, прикончу на месте!»

— Эй, презренный, подожди! Стой!

Каландар выскочил из-под чинары, но куда там! Тень уже исчезла в саду, за дувалом.

По думать было над чем, если этой тенью в самом деле был Шакал, а не какой-нибудь случайный

прохожий. Ясно, что за обсерваторией установлена слежка. Да и за ним, Каландаром, наверное, тоже — не приведи аллах, если какой-нибудь доносчик высмотрел, что он, Каландар, провожал караван Али Кушчи.

Холодный страх ядовитой змеей вполз в сердце Каландара. На виду, рядом с другими людьми, он ничего не боялся и даже внашл бесстрашие другим, а вот когда останешься наедине с самим собой... Каландар рассердился на себя за такие мысли.

Снова забрался на дырявую кошму под чинару.

Весь следующий день не сходил он с кошмы. Подобрал под себя ноги, сидел, покачиваясь, творил молитву за молитвой, не отрывая, однако, полуприкрытых глаз от ворот обсерватории. Его не оставляло ощущение, что следят за ним, что где-то поблизости схоронилась черная тень и не выпускает его из-под присмотра.

За этими каменными молчаливыми стенами, за величественным порталом, украшенным изящной резьбой и мудрыми изречениями, затейливая вязь которых искрилась на солнце причудливым свечением, — особая жизнь. Там, под бирюзовым куполом, на дворе, где под башнями расположились постройки, назначение которых непонятно простым, неученым смертным, люди и живут, и, кажется, дышат не так, как все, — по-особому. Он был приобщен одно время к этой странной, а на взгляд многих, и нечестивой жизни. Слушал мудрые речи Али Кушчи и мавляны Мухиддина, иногда же, если посчастливится, самого повелителя-устада. Тогда в обсерваторию стекались все мударрисы Самарканда, философы, люди науки; бывали послы.

Собравшиеся не могли разместиться даже в огромном книгохранилище на втором ярусе. Каландар вспомнил Улугбека в такие минуты: необычайно ярко блестели глаза, на скуластохудом лице горели щеки, прерывающимся от восторга голосом повелитель сообщал что-то о сложных перемещениях небесных тел, об их путях... как они называются? Да, орбиты!.., вычисляемых с помощью математики, называл звезды по именам — оказывается, у каждой звезды есть свое имя! Не все, что говорил Улугбек, и не всем, кто его слушал, было понятно, но редкий оставался равнодушным к волшебству его рассказов. А после речи повелителя быстрые и умелые бакаулы готовили плов и приглашали отведать его ученых, послов и даже талибов.

Каландар ладонью прикрыл глаза. Зачем, зачем променял он ту жизнь на душные кельи, на общество пьяниц, завистников, соглядатаев? Белая чалма мударриса казалась теперь олицетворением не одной только мудрости, но и нравственной чистоты, хотя когда-то он смотрел на вещи иначе, когда-то его коробило то равнодушие к жизни простых людей, та отрешенность от болей и печалей обычных смертных, что были свойственны многим и многим носителям знания. Но ведь и грязный дервишский колпак не делает человека сострадающим ближнему своему!

И потом, эта всечасная угодливость дервишей, их раболепство перед теми, кто знатен и богат (чего нет у людей науки!)... А знатные и богатые к нему, дервишу, относятся так, как к другим дервишам, — как к собаке, вечно ожидающей, что хозяин бросит ей кость.

Был случай, когда опять судьба свела его с Хуршидой-бану... На мгновение, увы...

Был случай...

Голодный и усталый, остановился он однажды перед роскошными воротами неподалеку от «Мазари шериф». Забубнил, как обычно: «О аллах, о всемогущий...» Сторож вынес ему из дому похлебку, приправленную кислым молоком, и маленькую кукурузную лепешку. Уселся Каландар около ворот,

съел похлебку, поднял было руку для свершения благодарственной молитвы, но тут из-за угла показался всадник, богато одетый, статный, а чуть позже под звон кблокольчиков выехала кабульская арба. Каркас ее был покрыт красной парчой. Плотный полог полностью скрывал тех, кто сидел внутри.

Всадник выпрыгнул из седла, отдал сторожу поводья аргмака.

— Эй, дервиш! Ты насытился тем, что получил от добрых хозяев этого дома? Тогда иди-ка своей дорогой, дервиш!

Слова, сказанные таким тоном, не могли не задеть Каландара, но дервиш есть дервиш, смирять свои желания — закон его жизни, и потому Каландар стерпел. Закончил молитву. Потом поднялся.

Прошел мимо арбы. И вдруг из-за полога услышал голос, который он помнил бы, проживи даже сотню лет!

— Господин мой, — сказала Хуршида-бану, и Каландару послышались слезы в этом ее обращении к мужу. — Господин мой, я видела сегодня дурной сон и утром дала себе обещание... пожертвовать семь таньга[54] святому Ходже Бахауддину... Прошу вас, дайте от меня эти семь таньга вот тому дервишу, — и красивая, снежно-белая в браслетах рука приподняла край полога, а нежные пальцы схватили бахрому и дернули ее, будто хотели оторвать. Каландар увидел, как задрожали эти пальцы, как, отпустив бахрому, стали словно искать что-то, звать кого-то, увидел, хотя все это длилось чуть больше мгновения.

Всадник кивнул арбакешу[55]: давай, мол, трогай, раскрытые ворота перед тобой. Потом, нахмуренный и надменный, покопался в кармане, вытащил горсть монет и бросил их, не считая, на мощеную дорогу к ногам Каландара. А тот стоял, оцепенев, все еще растерянно глядя на опустившийся полог кабульской арбы. Звон монет смешался с шумом арбы, въезжавшей в ворота. Они тотчас захлопнулись, и Хуршида-бану, арба, занавес с бахромой, конь вельможи и сам вельможа — все исчезло за массивными воротами.

Что значило все это? Хотела ли она напомнить о себе или просто пожалела дервиша, независимо от того, узнала или не узнала человека в рубище и кулохе? Эти деньги — искренняя помощь, знак особого расположения или... или подачка, средство выказать свое презрение к нему, свое богатство и довольство? Нет, нет, голос Хуршиды был полон печали, а ворота богатого особняка захлопнулись зловеще. Так захлопывается клетка... Или вход в склеп.

В тот день Каландар то и дело возвращался к этим воротам и только вечером, сам не ведая как, очутился на кладбище Шахи-Зинда, но и здесь в его памяти все стояли арба с пологом, рука женщины, дрожь пальцев, стиснувших бахрому, звучал нервный голос. И вспоминались строки:

Как взор зовет глаза твои — того не знаешь ты.

Как ночью я томлюсь: «Приди!» — того не знаешь ты.

Ищу свиданья я сама, гублю себя сама.

Как сохнет сердце без любви — того не знаешь ты.

Вскоре после этой нечаянной встречи Хуршида-бану попала в гарем Абдул-Азиза, а муж ее нашел свой конец на плахе...

Каландар обошел обсерваторию, вернулся к чинаре. Воспоминания терзали его, и даже топот копыт не сразу привлек его внимание. Четыре нукера неожиданно осадил коней у ворот; лошади загарцевали на месте после лихой скачки.

Каландар пришел в себя.

Кто это прибыл? Ба — эмир Джандар! Чернобровый красавец, покоритель женских сердец, храбрец военачальник, близкий к Мирзе Улугбеку! А что ему нужно тут, в обсерватории, эмиру, про которого говорили как про опору Улугбекову?

Один из всадников спешился, подошел к воротам, застучал в них рукояткой плетки.

— Эй, сторож, эй, Али Кушчи! Где вы там? Отворяйте!

Видно, сторож, не открывая, ответил, что Али Кушчи нет.

Тогда все уже хором закричали, чтобы он отворил. Эмир Султан Джандар с нукером вошел внутрь. Двое других остались у ворот. Вскоре эмир и нукер снова появились у ворот, все четверо вскочили в седла и помчались той же дорогой, что привела их сюда. За подкреплением, что ли?

Вот вам верность, вот вам честность! Выходит, и эмир Джандар, «опора Улугбека», переметнулся к врагам Улугбека! Если б не так было, поостерегался бы он появляться в Самарканде, захваченном Абдул-Латифом... И, видишь, ищет уже Али Кушчи. Правда, сейчас ночь, вернее, самое начало рассвета. Но уж слишком открыто, не заботясь ни о какой осторожности, держали себя всадники, слишком громко кричали. Так ведут себя не те, кто скрывается, а те, кто ищут скрывающихся...

А вон та тень, опять тень, она ищет или скрывается?

Каландар осторожно слез с супы на землю, зашел за ствол чинары: тень двигалась по противоположной стороне улицы. Потом тень пересекла улицу, а Каландар, тоже держась темной стороны, последовал за ней, перерезая таинственному низкорослому человеку путь к отступлению. Не замечая Каландара, человек огляделся вокруг, осторожно приподнял медное кольцо на калитке, тихо, но внятно стукнул им.

— Опять стук, — услышал Каландар голос хрипатого сторожа, — опять стучат... Полуночники, не спится им... Кого носит по ночам?!

— Это я, посланец...

— Какой еще посланец? Сюда не велено никого пускать!

— Меня послал Мирза Улугбек, — человек явно боялся сказать хоть слово погромче. — Мне нужен мавляна Али Кушчи.

— Нет его, говорю же, нету! Куда девался, не знаю!

Человек постоял немного перед воротами, потом медленно двинулся обратно.

Каландар вышел из темноты.

— Стой, — властным шепотом остановил он незнакомца. — Какое дело у тебя к Али Кушчи? Ну, говори... если жизнь дорога. Я ему... передам.

Низкорослый человек от страха онемел. Он только все чертил перед собой маленькими ручками какие-то круги, будто отталкивал от себя что-то.

— Не бойся! Я шагирд Али Кушчи, понял?.. Ну, какое дело у тебя к нему?

— Ма... мавляну Али Кушчи желает видеть повелитель...

— Какой? Султан Улугбек?!

Человечек кивнул.

— Где же он сам?

— В саду «Баги майдан», — промямлил человечек.

И, как всегда, Каландар сразу отбросил свои колебания.

— Поведешь меня к нему! Прямо сейчас, понял?

13

Нет ничего хуже неопределенности.

Как ни тяжела бывает беда, выпадающая на долю человека, он может терпением и выдержкой побороть ее. А неопределенность гложет человека, лишает сил, отнимает саму способность бороться или даже терпеть.

Улугбеку было очень тяжело услышать о своем изгнании из Мавераннахра; покинуть родину казалось невыносимым, невозможным делом, но прошло время, и Улугбек свикся с этой мыслью, потому что она была определенным исходом, а свикшись, стал готовиться к предстоящему путешествию.

Его никуда не переводили из той самой комнаты, неудобной и холодной, в которой он находился. И с этой угловой комнатой, так мало соответствующей его званию и его гордости, Улугбек стал свикаться, ибо и тут ничего другого уже не ждал, и тут все было определено. На следующий день после разговора с Абдул-Латифом к Улугбеку явился новый сарайбон — дворецкий, темнокожий уроженец Балха с серьгами в мочках ушей. Дворецкий попросил Мирзу Улугбека начать готовиться к тому, чтобы покинуть пределы Мавераннахра, и обещал ни в чем не отказать из того, что необходимо для такой цели.

Улугбек не просил ничего лишнего. Теплая одежда, пищи дня на три-четыре, хорошая верховая лошадь — вот и все. Золото? Его не было у Улугбека, просить же золота у шах-заде он не захотел. Да и зачем ему золото, простому паломнику, слуге аллаха? Откажут разве ему в куске хлеба и глотке воды, если он собрался в Мекку, к святым местам? Он был готов к смерти и даже думал о ней, о голодной смерти в начале пути, как об избавлении от бед, утолении давней-предавней жажды. Что на роду написано, тому и свершиться! Не перечить больше судьбе, а покориться ей — так стал думать теперь Улугбек о смысле жизни человеческой.

Всю ночь, прощальную, последнюю перед отправлением в путь Улугбек не сомкнул глаз. Как ни успокаивал он себя мыслью о смирении перед судьбой, голова лихорадочно работала, строила планы. Ну, доберется он до Мекки, выполнит долг, будет иметь право называться хаджи, а потом? А потом он отправится в Дамаск или Каир. Он непременно будет жить в каком-нибудь медресе, пусть простым подметальщиком на дворе, пусть так... Да и не будет он подметальщиком, имя его известно людям науки и в Дамаске, и в Египте, и в городе мудрости, как называют Багдад. Они не дадут ему пропасть, не дадут.

Мучило Улугбека только одно: то, что он покидает и, очевидно, навсегда, родной Мавераннахр, любимый, трижды любимый Самарканд, реку Зеравшан, на чьих берегах прошло детство. Странник — пусть странник, но странник-чужеземец — вот что терзало его, вот что болело неотвязчиво, как, бывает, болит рана, когда до нее дотрагиваются чем-нибудь острым.

После обеда сарайбон привел к нему человека лет пятидесяти, худощавого, на вид кроткого и спокойного. Улугбек сразу узнал его: Мухаммад Хисрав, паломник-хаджи, обитавший в Шахи-Зинда. Мухаммад понравился Улугбеку — улыбкой мягкой, не сходящей с лица, манерой держаться, не подобострастной, однако, подчеркнута уважительной, даже тем понравился, что борода у Мухаммада была, как бы это повежливее сказать... не густая, так, две-три волосинки. Выяснилось, что Хисрав дан ему в спутники. Выяснилось в разговоре и другое: уже сегодня после

вечерней молитвы Улугбеку и Мухаммаду Хисраву надлежало покинуть Кок-сарай. Переночевав в «Баги майдане», они должны ранним утром отправиться в путешествие, о котором «осведомлен, конечно, высокочтимый Мирза», как добавил к сказанному дворецким Мухаммад.

«Не хочет, чтобы меня увидел народ», — подумал Улугбек о сыне, но обида как-то вяло шевельнулась в душе, потому что иного, хорошего душа уже не ждала, а ждала она лишь определенности решений. Теперь решение было принято, ясное, недвусмысленное, надо было готовиться к выполнению его.

Улугбек оглядел одежду своего спутника: темный изношенный чекмень, скромная чалма, на ногах разбитые краснокожие ичиги.

— Не слишком ли вы легко оделись в столь дальнюю дорогу, хаджи?

Мухаммад Хисрав все с той же постоянной улыбкой ответил:

— Одежда султана не приличествует простому смертному, да и неудобна она в паломничестве, разве не так? Не ошибается ли ваш покорный слуга?

Улугбеку и этот ответ понравился, хотя ясно было, что спутник его в теплой одежде весьма нуждался, отправлялись-то они осенью, а не весной. О том Улугбек и сказал, когда явился к ним дворецкий. Мухаммаду Хисраву новая одежда была обещана.

Глубоким молчанием и непроглядной темнотой (бирюзовые купола стали совсем черными на фоне поздневечернего неба) проводил Кок-сарай своего бывшего властелина, которому было в нем не всегда радостно, почти всегда неуютно, но который прожил во дворце этом ни много ни мало — всю жизнь свою. Что оставляет он здесь, с чем жаль расстаться ему? Остановившись на минуту, Улугбек обвел взглядом дворцовую громаду, башни, уходившие ввысь, к звездам. Вон опять горит огонек в крайнем окошке гарема. Тихо звенит фонтан. Перемигиваются вокруг водоема каменные светильники, их слабое мерцание лишь подчеркивает темноту дворца.

Словно далекая звездочка, поблескивало окошко невольницы с печально-ласковыми глазами. Да полно, почему это он решил, что за этим окошком именно она, то солнышко, которое не жило и умиротворяло осень его сердца? Но хотелось думать, что это она не спит. Может быть, читает... А если с ней-то как раз сейчас Абдул-Латиф?!

Мгновенно помутнело перед глазами. Улугбек вынужден был зажмуриться от внезапной боли в груди, прислониться к стене. Право победителя — жестокое право... Смешно, о чем это он думает в такую минуту? Ревность? С этим чувством отправляется он в путешествие к святым местам?

Сарайбон вежливо покашлял. Улугбек пошел к воротам.

Их ждали четверо всадников-нукеров с двумя запасными лошадьми, собранными в дорогу. Улугбек хотел перед тем, как оставить Самарканд, пройти по любимым улицам и площадям великого города, посетить Гур-Эмир, дабы отдать долг почитания памяти деда и отца, но всадники стали впереди и сзади паломников, и получилось так, что не паломники, а всадники определили маршрут: сразу вниз, к Регистану и далее к выходу из города.

«Отец! Ты простишь меня, ибо я в руках твоего безжалостного внука», — мысленно промолвил Улугбек. Он прочитал короткую молитву, прощальным взглядом обвел траурно-синеватый купол усыпальницы, потом сел в седло.

Они ехали шагом вдоль тихих улиц, вымощенных гладким камнем, сопровождаемые цоканьем подков. Дворы, окруженные глиняными стенами, и торговые лавки, мимо которых они проезжали,

были немые. И это в осенне-праздничные дни, когда обычно город не спал до глубокой ночи, когда шум, и пение, и клики радующихся урожаю людей не смолкали чуть ли не до зари. Иные времена, трудные, тяжелые, беззвучные! Кладбище какое-то, а не город, не Самарканд, умеющий работать, но и веселиться тоже... Кстати, вот и звуки, нарушающие тишину, — увы, это всего лишь дервиши, столь любящие кладбища. Напротив медресе Улугбека — ханака, странноприимный дом, где они обосновались и откуда сейчас слышно их «ху-ху».

Улугбек придержал коня. Дадут ли ему возможность зайти хоть на минуту в свое медресе, попрощаться с ним, положить руку на плечо хотя бы одного талиба?!

— Не велено останавливаться! Стегните коня... повелитель.

Да, вот когда понял Улугбек, чем он стал теперь. Бедный, не по своей воле поступающий изгнанник, лишенный не просто власти, но и милости закона, человеческого и божеского. Бесцеремонный окрик — вот что теперь только и будешь ты слышать. И поступать, как велют тебе. И только в терпении находить утешение. Вот когда стало ясно, что и этот Регистан с медресе, и талибы, и шагирды, и сама возможность прийти сюда для высоких бесед и умственно-бескорыстных раздумий, что все это прошло для тебя и никогда больше не вернется к тебе. «За что, всевышний, за что ты отнял у меня эти бескорыстные радости, за что так жестоко покарал раба своего?»

Не задержались они и у соборной мечети, где следовало бы сотворить молитву путешествующих.

Остались позади и усыпальницы Шахи-Зинда... Они выехали на широкую каменную дорогу, что ведет к «Баги майдан». Отсюда можно завернуть к обсерватории, не доезжая до «Баги майдан». Но всадники еще до поворота пошли другим путем, пересекли Сиаб и стали подниматься на возвышенность. Что? И к обсерватории его не пустят попрощаться? Ну нет, он будет там — не до «Баги майдан», так после, он не уедет из Мавераннахра, не посетив своего детища!

У ворот «Баги майдан» четверка сопровождавших Улугбека нукеров передала его и Мухаммада другой вооруженной четверке. Те приняли от паломников коней, пригласили идти во дворец «Чил устун» — «Сорок колонн», что стоял посреди знаменитого сада; сам дворец был тоже знаменит, помимо прочего, китайскими изразцами по всем своим четырем стенам. Со второго этажа дворца — Улугбеку ли этого не знать? — прямо как на ладони видна обсерватория, а если пересечь сад и выйти не через парадные ворота, а через специальную калитку в стене, то до обсерватории можно было дойти очень быстро.

Горбатый старик — махарам[56], смотритель дворца, служивший еще Тимуру, встретил Улугбека подобающими поклонами. Сколько раз прислуживал он ему, и какое дело глухонемому старику с бородой до пояса, что там происходит у повелителей и детей их, — повелители остаются повелителями. Но бывший повелитель Улугбек жестом показал, что ему нужен всего лишь кумган воды — и ничего больше; бывший повелитель Улугбек даже не вошел в покои дворца, а, взяв кумган воды, удалился в сад, в самое глухое место, не приказав никому следовать за собой.

Наполовину облетевший осенний сад шумел размеренно тихо. Желтые листья светились на земле.

Улугбек не стал терять времени, а, стараясь не шуршать листвой под ногами, быстро направился знакомой тропой к калитке, что выводила к обсерватории.

Но кто там идет за ним?! Старик? Улугбек резко обернулся: тихий, будто бесплотный ангел, тщедушный и улыбчивый, за ним крался Мухаммад Хисрав!

— Хаджи! Вы мой спутник в паломничестве или соглядатай?

— О, простите, простите, я ваш слуга... Аллах свидетель, я даже не мыслил следить за вами... Но вы идете к обсерватории, а горбун забеспокоился. Он ищет вас... он может поднять на ноги воинов... Улугбек заколебался на мгновение, но потом твердо сказал, что не покинет Самарканда, не побывав в обсерватории и не узнав об Али Кушчи, с ним ему надо поговорить непременно.

— Тогда позвольте мне сходить за Али Кушчи. Я постараюсь привести его сюда. Иначе... поднимется тревога и вас станут искать.

— Почему же только меня?

— Их интересует, где вы и что с вами. До меня кому какое дело?

Улугбек решил довериться этому тихому и, кажется, верному человеку. Показал Мухаммаду, как пройти из сада к обсерватории, а сам вернулся назад. И вовремя, потому что и впрямь обеспокоенный старик горбун уже хотел звать воинов. Завидев Улугбека, он жестами и знаками стал выражать бурную радость и приглашать войти во дворец. Там на втором этаже он подготовил комнату-веранду, зажег свечи, расстелил одеяла, поставил столик с угощениями из мяса и фруктов. С пиалой остывшего чая в руке Улугбек долго простоял на террасе, смотрел на небо, на сад. Серп луны висел над далекими горами Ургута, холодный, будто кусочек льда. В лунном свете осенний сад казался еще сиротливее. Не менялись только звезды — прекрасные, зовущие к себе. На самом вершине неба опрокинулся ковш Большой Медведицы, ниже рассыпался Млечный Путь, а над льдышкой-месяцем, словно горячий уголек, Хулькар. Привычно подумалось о том, что вот уже сорок лет разгадывает он тайны звезд, думая, что и человеческие тайны тем самым разгадывает, но нет... их-то не разгадал и теперь сирым изгнанником продолжает дорогу жизни, помыкаемый, мучимый... Но ведь такова участь не его одного, бывшего властителя. Сколько простых, бедных людей живут жизнью вечно помыкаемых, их мучат владыки, они терпят, они терпели, может быть, и от него, Мирзы Улугбека, терпели так, как терпит он теперь от своего гонителя-сына. И, быть может, тогда обращались к всевышнему, прося защитить их, прося отомстить за слезы пролитые по его, Мирзы Улугбека, вине.

Или совесть и справедливость в самом деле, как говорили поэты, не может ужиться с обладанием властью? Властвовать над теми, кто подобен тебе, подчинять их своему произволу — это гадко, бесчеловечно, это от помрачения разума. И это наказуемо, да, да, наказуемо хотя бы уже тем, что все мы бранны и обладание властью для тебя временное состояние, к которому нельзя привыкать, если у тебя не спит совесть. Неужели, только став сирым и гонимым, человек может понять сирых и гонимых, сострадать им?

Усилием воли Улугбек попытался отогнать эти не радующие душу думы.

Он все вглядывался и вглядывался в серовато-призрачную темноту переплетавшихся ветвей, стараясь увидеть сквозь них контуры здания обсерватории. Вспомнилось давнее-давнее: вместе с наставником своим Кази-заде Руми он ходит по дорожкам этого сада, беседует о задуманном строительстве, обсуждает каждую деталь будущего величественного здания, а то присаживается на корточки, чтобы начертить что-то для наглядности вот тут, прямо на красном песке садовой дорожки.

Потеплело на душе от таких воспоминаний.

Вдруг стала перед ним и другая картина: молодой, сильный и, как все Тимуровы потомки, горячий и своевластный, он, султан Мавераннахра, он, ученый человек, избивает плетью старого строителя —

несправедливо, злобно, безжалостно наказывает... а наказывать-то надо было не того, кто сказал ему правду о мытарствах простых строителей, а тех, кто кормил их гнилой пищей, наверное, не без корысти для своего кармана... Сколько таких, как тот старик, было согнано сюда, к холму, какие лишения пришлось претерпеть им?!

Стыд за тепер уже неисправимые несправедливости, им свершенные, добавился к мучительному ощущению того, что жизненный путь кончается, и волна раскаяния смыла с души Улугбека жалость к себе.

От невеселых мыслей оторвал Улугбека Мухаммад Хисрав. Он привел Каландара. Они прокрались по саду незаметно для воинов, большинство которых спали. Спал где-то в покоях дворца и горбун махарам.

— Ассалам алейкум, повелитель-устод!

«Устод! Он называет меня устодом? Кто же сам, этот дервиш?» Улугбек, стоя в дверях комнаты, взгляделся в пришельца, память сработала мгновенно.

— Каландар Карнаки?

— О, вы узнали меня, учитель! Узнали даже в этом рубище...

Все еще не приглашая гостя в комнату, Улугбек спрашивал:

— Ты покинул медресе, стал дервишем, да? Но тогда как ты попал в обсерваторию, что там делал?

Каландар усмехнулся.

— Соглядатайствовал, устод!

— Не шути, не говори загадками, дервиш!

— Нет, учитель, это не шутка, — Каландар поправил свой кулох. — Шейх Низамиддин Хомуш сделал меня соглядатаем. Дабы не выкрали без его ведома из обсерватории вероотступника Улугбека «еретические» книги, написанные такими же вероотступниками, каков он сам... Да еще приказано мне было узнать, где золото эмира Тимура и кто это отдал его мавляне Али Кушчи на богопротивное дело...

— Еще раз говорю, не шути со мной, дервиш!.. Коли таков был приказ и ты принял его к исполнению, зачем пришел к бывшему султану? В чем твоя цель?

Каландар помолчал, потом ответил серьезно и скорбно:

— Моя цель... в меру сил своих приносить добро людям науки.

Улугбек не уловил тона, в котором были произнесены эти слова.

— Продолжаешь смеяться, да?.. Человек оставил храм науки, стал своим среди невежд и гонителей науки, а теперь пожелал приносить добро людям науки? С чего бы это, дервиш, и как я могу поверить в такие превращения?

...Они долго говорили в ту ночь. Не сразу открылась перед Улугбеком душа Каландара, но, когда султан поверил в искренность дервиша, в чистосердечное признание им своей ошибки, когда узнал, какую помощь оказал Каландар Али Кушчи, Улугбек возблагодарил аллаха. «Вот она, чистая душа под грязным покровом одежды нищего, — подумал Улугбек. — Вот оно, служение истине и добру. А стало быть, и науке. Ибо что есть истина, спросили однажды мудреца Абубакира Тахира Абхари, и он ответил: „Наука“. „А что такое наука?“ — снова спросили его. И он ответил: „Истина“... А я бы добавил еще: „И добро...“

Припомнилось Улугбеку в беседе с Каландаром и то, что советовал сделать прямодушный и верный

Бобо Хусейн, — поднять городское население, ремесленников, простой люд. Он тогда не послушал совета, не поднял „чернь“, а в ней-то, может быть, и было его спасение, в ней чистота и добрая сила... Но что случилось, то уже случилось. Надо думать о завтрашнем, а не о вчерашнем. Из рассказа Каландара Улугбек понял, что место, куда Али Кушчи тайно отвез шестнадцать сундуков с книгами, никому не известно, кроме самого Али Кушчи. Но он-то, Улугбек, должен знать его!

— Я встречу с мавляной, — сказал Каландар, — передам ему ваше желание, и мы догоним вас в дороге, учитель.

— Нет, Каландар. Али Кушчи должен скрыться. Его будут искать, преследовать.

— Тогда я сообщу вам. Я найду способ...

„О всевышний, о жизнь! Вот как круто поворачиваешь ты передо мной ход событий! В трудный час, покинутый и одинокий, пришел ко мне когда-то этот простодушный джигит, теперь сердце его откликнулось на тревогу моего сердца, его боль слилась с моей... Благодарю, благодарю!“

— Благодарю тебя, Каландар... И прости меня. Прости мою вину перед тобой... Увы, я не спас твой родной город от Барак-хана... Не уберег твою любимую, — на миг в памяти Улугбека предстала Хуршида-бану, невольница гарема, ее распущенные, длинные, до полу, волосы, печально-трогательная, беззащитная красота. — Много тягот пришлось тебе испытать, я добавляю тебе новые. Не знаю, смогу ли отблагодарить тебя за них я сам, — Улугбек положил руки на плечи Каландара, — но да наградит тебя всевышний за чистое сердце, за верность... сын мой...

14

Али Кушчи вернулся в Самарканд около полудня. Понукаемый пятками мавляны, осел весело бежал вперед, а его собрат, на котором восседал Мирам Чалаби — он теперь вел верблюдов, — несколько поотстал.

Каландар встретил учителя и ученика там же, где третьего дня проводил их, — у подножия горы Кухак.

Дервиш все эти часы после прощания с Улугбеком ходил взволнованный. Слезы султана, его руки на плечах Каландара — все это потрясло бывшего сурового воина и тоже бывшего теперь, если не по одежде, то по образу мыслей, дервиша. Каландар дал себе клятву во что бы то ни стало исполнить последнее желание повелителя-устода.

Вернувшись из «Баги майдан» к обсерватории, на свое наблюдательное место, Каландар довольно долго выжидал, не появится ли поблизости какая-нибудь сомнительная личность. Удостоверился, что кругом все тихо и спокойно, взял хурджуна и осторожно спустился вниз, прошел оврагом вдоль высохшего ручья до места встречи с Али Кушчи.

Шел он ночью, во вторую ее половину, и все же неожиданно наткнулся — уже рядом с условленным местом — на двух табунщиков. Молодой и пожилой, они сидели, беседуя о чем-то у костра, подкидывая в пламя сухие ветки. Дервиша с хурджуном на плече они встретили уважительно, напоили кумысом, угостили холодным мясом. Но Каландар словно и не ощутил вкуса питья и еды; он беспокойно вставал, уходил, возвращался (будто взглянуть на лошадей, пущенных табунщиком пастись неподалеку). К утру поднялся на Кухак, благо гора была невысока, и увидел сквозь клочковатую пелену сизого тумана небольшой караван; тогда он признался табунщикам, удивленным его непоседливостью, что пришел сюда на встречу, и попросил коня. Пожилой

табунщик разрешил взять иноходца.

Каландара, взволнованного и несколько запыхавшегося, встретили Али Кушчи и Мирза Чалаби.

— Что случилось, Каландар? — встревожился мавляна.

— Хвала аллаху! Все спокойно, устод.

Торопливо и сбивчиво рассказал Каландар о вчерашнем свидании с Улугбеком, о желании повелителя узнать, где спрятаны книги. Али Кушчи, не дослушав его, спросил:

— По какой дороге поехал повелитель?

— По дороге к Кешу...

— Дай мне своего коня, — приказал вдруг мавляна.

— Но... это не мой конь... и потом, Мирза Улугбек ведь сказал, что вам надо спрятаться... Да и сам я видел, что вас искал эмир Султан Джандар...

— Дай коня, говорю, или я пойду пешком!

— Но, устод...

— Ты сказал: устод. Пойми, что и я хочу видеть своего устода, не мешай мне, сын мой. Я не прошу себе, если не попрашаюсь с ним... Дай мне коня, Каландар!

Каландар недолго раздумывал, жажда немедленного действия снова захлестнула его.

— Тогда мы едем вместе. Я не могу оставить вас! Повелитель поручил мне оберегать вас, мавляна.

Каландар оставил табунщикам верблюдов как залог до возвращения двух коней. Взял у молодого табунщика чекмень [шапку, они пришлись впору. И, не теряя ни минуты, отправив с обсерватории одного Мирама, бывший дервиш и ученый пусти-ись в путь.

Солнце поднялось уже на высоту тополя, оно, словно по распоряжению смилостивившейся над бедными людьми природы, грело не по-осеннему сильно. В небе распелись жаворонки. Но нежные белые паутинки, реявшие в прозрачном, все-таки не прогретом воздухе, напоминали, что весна далеко, да и лето прошло.

Али Кушчи и Каландар мчались степью, в стороне от обычной дороги. Надо было обойти Самарканд, но все равно его близость давала о себе знать. Степь была обжитой: то и дело им попадались пастухи и подпаски, лениво дремлющие в тени какого-нибудь холма; в золотистых рощах пестрели цветастые платки девушек и женщин, ветер доносил их голоса, крик и гам детей. Когда всадники спускались в ложбины, громадный высокостенный город скрывался из глаз, но, стоило выехать на косогор, он опять маячил перед ними и потом сбоку от них — по мере их движения в объезд Самарканда; с более высоких холмов они могли разглядеть, если бы остановились, даже отдельные дворы в городе, похожие издали на медные блюда, а сияние куполов мечетей медресе и усыпальниц сопровождало путников долго-долго.

Как мирны картины, встречавшие их, этих несчастных, гонимых сторонников Улугбека, будто и дела нет людям до бед и преступлений, творящихся за этой внешне безмятежной пеленой жизни. А люди на самом-то деле живут совсем не мирно, ненавидят, преследуют друг друга. Вот и с Улугбеком, повелите-лем-устодом, обошлись несправедливо, не по совести. Да, Али Кушчи предчувствовал это еще в ту ночь, когда устод неожиданно вызвал его к себе в Кок-сарай. Но то, что ему, ученому, астроному, не дадут даже близко подойти к обсерватории, которую он создал, — такой судьбы для Улугбека, судьбы изгоя, не предвидел и Али Кушчи... Если такова судьба повелителя, того, перед кем падали ниц, какой же будет его, Али Кушчи, собственная судьба? С ним и подавно церемониться

не станут.

Почувствовав, как сердце его охватывает давний холодный страх, Али Кушчи обругал себя трусом и еще яростнее пришпорил коня. Даже на краю пропасти устод не позабыл о своем шагирде. «Велел оберегать меня, словно я особа, которой положены телохранители. Он не велел мне искать встречи с собой, но я не могу... не могу не услышать последних ваших напутственных слов, устод... Нет, нет, Али Кушчи не из низкого племени неблагодарных, не из тех, кто при виде чужого меча над своей головой трусливо бежит в кусты».

Через степь и рощи, через скошенные посевы и холмы всадники, сократив расстояние, выскочили наконец на дорогу, ведущую в Кешу. Но и здесь они пошли параллельно ей, по косограм и полям. То навстречу им, то обгоняя их, мчались по дороге воины, и тогда осторожности ради они спрыгивали наземь и держались так, чтобы с дороги их не было заметно.

Когда солнце стало клониться к западной части горизонта, они миновали Димишк, и тут зоркий глаз Каландара заметил на дороге четырех всадников впереди; выехали из Димишка, видно, незадолго до них, ехали очень медленно, будто нехотя.

— Стойте, мавляна, воины!.. Обернутся, увидят нас, поскачут — догонят. У нас лошади притомились... Спрячемся?

И в самом деле всадники остановились, оглянулись, и двое из них пошли назад, к ним!

— Спустимся в лощину? — полувопросительно сказал Каландар. Но тут Али Кушчи воскликнул:

— Устод!

Он узнал переднего всадника по светло-серой чалме, конец которой развевался на ветру. Передний всадник вдруг резко прибавил коню прыти. И Али Кушчи, в свою очередь, пришпорил коня, помчался навстречу.

— О сын мой, дорогой мой... О аллах, благодарю тебя за эту радость — за свидание с моим сыном, — Улугбек силился говорить, как обычно, спокойно, но голос дрожал и на ресницах блестели слезы.

Али Кушчи прижался лицом к лицу устода.

— Учитель, как я рад, как я рад...

За время, прошедшее после их ночной встречи в Кок-сараяе, Улугбек сильно сдал. Али Кушчи показалось, что лицо учителя покрылось множеством новых морщин — глубоких, глубоких морщин, — а одежда паломника старила Улугбека еще сильнее. Только глаза были те же: бездонные, пронизательные, полные боли, которая волновала сердце, и знакомой отцовской теплоты, притягивающей к устоду самые холодные души.

Сердцем уловив их состояние, Каландар взял коней под уздцы и отошел к Мухаммаду Хисраву, который вместе со спутниками остановился поодаль.

Улугбек, как бы смущаясь, вытер слезы концом чалмы, сказал:

— Ну, как с книгами?..

Али Кушчи коротко рассказал, где спрятаны книги.

— Драконова пещера? — Лицо Улугбека посветлело. — Помню, помню. А кто еще знает о месте, которое скрывает наши книги? — спросил Улугбек, подчеркнув слово «наши».

— Мой талиб Мирам Чалаби, да вот теперь надо будет раскрыть тайну перед Каландаром Карнаки.

Помолчав, устод спросил:

— А помог ли чем мавляна Мухиддин?

Али Кушчи хотел было сказать правду о неблагодарном, трусливом шагирде, но потом подумал, что не стоит ни Улугбеку приносить лишних огорчений, ни Мухиддина чернить, хоть было бы и поделом, как-никак двадцать лет вместе провели в одном медресе.

— Помогал... кое-чем...

Прикусив кончики усов, Улугбек понимающе кивнул головой.

Они расставались недолго, но трудно. Тяжко было на душе. Хотелось внушить друг другу надежду, но в чем она могла заключаться, где было искать ее?

— Сын мой Али! Я покидаю тебя, покидаю этот любимый край... Ты опора моя, я благодарю аллаха за милость, которую он явил, послав тебя мне в дни невзгод... Береги себя, скройся от ищеек и палачей... Бог весть, увижу ли я вновь нашу землю. Бог весть, что ждет меня на чужбине. Но если сбудутся мои надежды... и я... окажусь в медресе Каира или Багдада... если удастся продолжить свои научные занятия, то книги, сохраненные тобой... коли я не приду за ними и ты не придешь ко мне с ними... тогда я пришлю, может быть, человека к тебе, надежного своего человека... Жди. Да сохранит тебя всевышний, сын мой!

— А золото, устод?

— О золоте не говори... Да сохранит тебя всевышний, Али, да сохранит...

15

Словно оживленный хорошей баней, став после встречи с Али Кушчи легким, подвижным, снова уверенным в себе, скакал Улугбек по дороге, ведущей к Кешу... Коль есть такие ученики, жизнь, право, не прожита напрасно и не пропадут, не пропадут ни сорокалетний труд собирания духовных сокровищ, ни собственные творения.

Но такое состояние духа, как это с ним теперь нередко бывало, продержалось недолго. В голову снова полезли мысли о бренности всего сущего, а более всего тяжелые и, увы, правдоподобные предположения, что все вокруг себя он видит в последний раз: и эти задумчивые поля с осенним шелком паутинок над ними, и обнажившиеся сады с желтыми коврами палых листьев понизу, и эти бурые косогоры в полыни и ковыле, и горы вдаль, что закрылись белесым туманом. И уже не благодарение аллаху рождалось в его душе, а мольба униженная о том, чтобы всевышний ниспослал ему терпение и мужество.

С вершины одного из холмов, по которым вилась дорога, Улугбек увидел сзади себя двух вихрем скачущих воинов; впереди есаул, судя по украшению на шлеме, он размахивал копьем и, видимо, кричал, стараясь, чтобы Улугбек его заметил и остановился; впереди же себя, на холме пониже того, на котором Улугбек придержал коня, маячила еще одна фигура всадника — воина ли, отсюда не разглядеть было, но стоял тот всадник лицом к движению паломников. «Похоже на засаду», — подумал Улугбек, и сердце его дрогнуло от тревожного предчувствия, а потом заныло так же сильно, как и при расставании с дворцом. Поводья, которые он натянул изо всех сил, не дали ему упасть. Боль прошла так же быстро, как и наступила, но предчувствие неотвратимой беды не покинуло Улугбека.

Подскакали воины. Есаул, человек с монгольским разрезом глаз, резко осадил своего боевого карабаира[57], приложил руку к груди, поклонился в седле. Второй заученно повторил его движения.

— Да будет счастливым путь, избранный вами, повелитель... Пусть аллах дарует вам вечную жизнь!

В улыбке есаула было притворство, в глазах его Улугбек уловил и холод и насмешку, столь не вязавшуюся с пышнопочтительными словами. Улугбек сделал вид, что принял приветствие всерьез: — Да услышит вас аллах, сыны мои... Что скажете еще? Затем ли скакали вы из Самарканда, чтобы пожелать мне удачного паломничества?

Есаул снова поклонился.

— Еще я принес вам привет от луноликого вашего сына, благословенного шах-заде, что молится о своем отце и благополучии его.

— Спасибо и ему... что же он велел передать мне?

— Наш повелитель приказал, чтобы мы проводили вас с почетом, как подобает человеку вашего сана и вашей известности.

Улугбек выпрямился, прямо, глаза в глаза посмотрел на есаула.

— Мухаммад Тарагай не для того отправляется в святую Мекку, чтобы возвратиться потом снова на трон, поэтому султанские почести ему теперь ни к чему... Коли за этим скакал, то вернись и передай мои слова шах-заде!

Лицо есаула выразило крайнюю степень восхищения и одновременно сожаления, что невозможно выполнить сказанное таким достойным человеком, каков собеседник есаула.

— Хвала вашей скромности, ваш покорный слуга восхищен вами... Но луноликий наш повелитель, ваш сын и престолонаследник, строжайше напутствовал нас — не дело, если мудрый и благороднейший покинет Мавераннахр подобно какому-нибудь нищему. Венценосец дарует вам пищу и одежду, целый караван из трех верблюдов, прибыть они должны на рассвете... А пока мы любезно просим вас отдохнуть и переночевать вон там в кишлаке, — и есаул, подобрав ремень плетки, ткнул кнутовищем в сторону маленького кишлака, видневшегося слева от дороги, среди холмов.

Вместо ответа на приглашение Улугбек снова стал всматриваться во всадника, неподвижно стоявшего впереди; что-то было в нем знакомое, но слишком далеко тот находился, чтобы разглядеть его.

— Это не эмир Джандар?

— Эмир Джандар? — переспросил есаул, опять нехорошо заулыбавшись. — Что делать эмиру одному на пустынной караванной дороге? — И повернул коня к маленькому кишлаку, месту их ночлега.

«На вопрос не ответил и враз потерял всю свою приторную вежливость... Что еще понадобилось Абдул-Латифу от меня?»

Улугбек медленно поехал вслед за есаулом. Перед глазами маячили далекие горы. Снова пришли мысли о неизбежности смерти, о близости ее, только теперь успокоительные мысли. «Зачем дрожишь, Мухаммад Тарагай? Боишься потерять голову? Но много ли она стоит ныне — без трона, без собольей шапки, без знаков султанского отличия твоего от других людей?.. Кто, как не ты, говорил, что лучше скорее умереть здесь, на родимой земле, чем позже на чужбине?»

По обыкновению своему, он подтрунивал над собой, над своими страхами, но предчувствие близкого конца все сгущалось в душе и лишь в самом кишлаке, когда увидел он тонкий синий дымок над дворами, услышал блеяние и мычание овец и коров, вернувшихся с пастбищ, и плач детворы, и покрякивания мужчин, когда ощутил запах свежеевыпеченного хлеба, душа его чуть успокоилась.

«Будь что будет, — решил он. — Надо поесть, поспать хорошо перед завтрашней дальней дорогой, если аллах позволит пойти по ней».

Разместились все они — Улугбек, хаджи Хисрав, воины — в первом, стоящем на краю кишлака доме. Жильцов отсюда, видно, выгнали — ни в комнатах, ни во дворе не было никого. Поклажу Улугбека занесли в дом, потом увели куда-то их коней. Сами воины решили ночевать во дворе. Чтобы успокоиться, Улугбек стал устраивать себе поуютнее ночлег: перенес хурджуны поглубже в комнату, зажег светильник в нише. Вместе с Хисравом разжег огонь в предназначенном для него месте — пригодился хворост, принесенный со двора.

Подходило время вечерней, предзакатной молитвы — намаз-гар. Улугбек пошел к выходу для того, чтобы во дворе совершить омовение.

Вдруг резко и громко хлопнула дверь на террасе. Через мгновение распахнулась дверь в комнату и на пороге появился великан в черном чекмене с огромным туркменским тельпеком[58] на голове.

«Саид Аббас!» — вспомнил вдруг Улугбек и отскочил к стене.

— А вот ты где! — закричал черный и, словно стервятник, кинулся к Улугбеку.

Сначала Улугбек изловчился и, собрав все силы, отбросил от себя Саида Аббаса, но тот вновь вцепился в него, норовя схватить за горло. Опять распахнулась дверь.

— На помощь!

Но есаул с монгольскими глазами не стал помогать султану; ударом ноги он свалил его и вместе с Саидом Аббасом упал сверху на Улугбека. «Где хаджи? Чего они хотят, эти изверги?» — успел подумать Улугбек.

А хаджи лежал в углу, забился под чекмень, свернулся в клубок.

От острой боли где-то под сердцем Улугбек едва не потерял сознание. Ему заломили руки за спину, пиная ногами, поволокли из комнаты. «Как барана жертвенного... Где ты, Али? Зачем я отпустил тебя?» Боль все нарастала, тело уже не чувствовало ударов — болело внутри, сердце болело.

Улугбека бросили во дворе, на миг оставили в покое.

За это мгновение он услышал стук копыт (кто-то въехал во двор), и привиделось ему бездонное небо, звезды в разрывах черных, быстро проносящихся туч. А еще широкая-широкая степь, теплый вечер в степи, фигура деда, припадающего на левую ногу. А еще Сарай-мульк-ханум, белые, нежные пальцы ее в перстнях, голос ласковый, вроде журчащего ручья: «Не хочешь спать, стригунок мой, тогда полюбуйся на звезды. Это милосердные ангелы парят в небе, славят создателя. Полюбуйся, стригунок мой, полюбуйся...»

Сжав зубы от боли, Улугбек попытался читать молитву, но не смог сосредоточиться. Он приоткрыл глаза, и последнее, что увидел в своей жизни, был Саид Аббас, в яростном замахе вознесший над ним, полуживым-полумертвым уже, кривую саблю.

Последнее, что успел подумать Улугбек, было: «За что, создатель?»

И еще: «Прощай, Али, сын мой...»

Часть вторая

1

Мавляна Мухиддин охвачен предчувствиями тяжкими, неясными и потому особенно устрашающими.

После хуфтана — последней молитвы, свершаемой правоверными перед заходом солнца, мавляна

вознамерился было прилечь. Но стук в дверь поднял его с постели. Наспех одевшись, Мухиддин со свечой в руке пошел открывать. Замирая от страха, приподнял засов: на пороге стоял отец, хаджи Салахиддин. Он тоже держал свечу, но одет был совсем иначе, нежели сын, — в белой чалме поверх остроконечной тюбетейки, в златотканом халате, будто собрался на некое торжество. Только вид у хаджи Салахиддина был не обычный торжественно спокойный, а такой, словно ювелир торопился на пожар. Он задул свечу, быстро прошел в комнату, но на почетное место не сел, а, стоя, кивнул сыну — закрой дверь! Мавляна набросил цепочку, молча взглянул на отца: колючие глаза Салахиддина приказали подойти ближе. Мухиддин почувствовал холодную дрожь.

— Твой любимый учитель... Мирза Улугбек, сын Шахруха, покинул сей бранный мир, — прошептал ювелир внятно и многозначительно.

Серебряный подсвечник беззвучно упал на тонкий шелковый ковер: мавляне Мухиддину не достало сил удержать его. Отец быстро нагнулся, схватил горящую свечу, поднес ее к бледному лицу сына.

— Ты понял, что я сказал?

— Когда это случилось? — тоже шепотом спросил мавляна.

— Вчера ночью... Его обезглавили!

— Кто?

— Кто?! — Хаджи Салахиддин рассмеялся ядовито. — Кто в силах был это сделать, тот и сделал...

Его же отпрыск кровный, шах-заде Абдул-Латиф!

— О, милосердный аллах!

— Теперь жди, пойдет резня! — Ювелир сказал это убежденно и уже не приглушая голоса. Словно еще больше запугивал сына. — Теперь, говорю я, все родственники, все близкие бывшего властителя, все его учителя-нечестивцы и шагирды его, все, все теперь испытают на себе гнев победителя шах-заде, всех он покарает, в темницы упрячет, в изгнание рассеет!

— За что же, отец?

— «За что же»? — Хаджи Салахиддин передразнил робкий шепот сына. — Вы же ученый муж, о мавляна, и не догадываетесь, за что? А разве когда-нибудь было иначе? Старый халат не для плеч нового владельца. Да и зачем он ему?.. Многих, многих шах-заде покарает, иные и обезглавлены будут, подобно покойному Мирзе Улугбеку.

Мавляна Мухиддин едва стоял на ногах — не будь здесь отца, который по-прежнему не садился и не приглашал сына сесть, он бросился бы на постель, зарылся бы в подушки: не видеть ничего, не слышать про все эти ужасы!

Мавляна закрыл глаза, зашептал молитву, поднеся руки к лицу.

Салахиддин-заргар[59] чуть-чуть смягчился.

— Тысячу и тысячу благодарностей аллаху за то, что надоумил меня не порвать с шейхом Низамиддином Хомушем. Шейх был и остался моим пиром. А поверил бы и я... как ты, этому безбожному султану... не знаю, что спасло бы нас теперь... Я сейчас... да, да, на ночь глядя, отправлюсь к светлейшему шейху. Надеюсь, что и тебя позовут. И ты пойдешь! И бросишься к его ногам, умоляя о прощении грехов. Плакать должен и каяться, говорить, что шайтан сбил тебя с пути. И что уповаешь на милость аллаха! Понял, что я сказал?.. Не стой как пень, отвечай!

— Понял, благословенный...

— И скажешь еще, что давно отошел от всех мирских дел, от научных занятий, от сего бранныго

мира отошел... тайно, в душе, да боялся в том признаться еретику султану...

— Благословенный, нужно ли такое? Ведь от повелителя — да пребудет душа его в райском саду! — мы видели только добро...

— Много добра видел?! Ну, тогда поднимись на минарет соборной мечети и кричи о том на весь Самарканд! — Салахиддин-заргар сжал кулаки, точно собирался ударить несогласного. — Видел добро? Безмозглый! А притеснения их? А Абдул-Азиз, да будет уготован ему ад?! Иль Хуршида не твоя дочь, это дитя, вымоленное мной у аллаха, светоч моих глаз, бутон моего цветника?

Мухиддин отвел взгляд от горящих яростью глаз отца. Медленно шевеля губами, произнес:

— Повелитель был в неведении о злодейских планах шах-заде.

— «Был в неведении»!.. Это ты в неведении! Тайны вселенной они познали, — издевательски рассмеялся старик. — Ничего вы не познали! И жизнь ты знаешь, мудрейший из мудрых, меньше темного простолюдина... Так запоминай, что говорят неглупые люди: завтра начнется резня и первой скатится твоя голова! Среди иных безбожных голов — твоя первой скатится, и дом твой будет первым предан огню! Первым!

Сын покачнулся, с трудом удержался на ногах, схватившись за спинку кресла. Хаджи Салахиддин поддержал его под локоть, усадил. Из ниши стенной вынул чайник и пиалу. Налил чаю Мухиддину. Тот, стуча зубами о край пиалы, сделал несколько глотков. Отец, остыв, пристальнее вглядывался в лицо сына.

— Прости меня, если так тяжелы оказались для тебя мои слова. Но думаю я не о себе — о тебе, о доме твоём, о семье... Над нашим домом черные тучи... Ты говоришь: вы видели хорошее. Верно, видели и такое от наследников эмира Тимура, — вот уж чья душа пусть возрадуется в раю! — видели мы всякое. И плохое тоже. А начнет шах-заде разыскивать людей, близких к отцу своему, найдутся доброхоты, укажут на тебя первого, на нас с тобой... Ты же не ребенок, думай как взрослый!

Мавляна Мухиддин сидел, подавленный, недвижимый. В слабом свете свечи лицо его казалось безжизненным. Хаджи Салахиддин скрыл тревогу за привычной суровостью и решительностью:

— Ну, я пошел к пиру... Если он вызовет тебя — утром ли, ночью ли, тут же прибудешь и скажешь шейху все, что надо. Так, как я тебе велел. И запомни: у нас нет другого выхода!

Нарочито четкими шагами Салахиддин-заргар направился к двери.

Еле доплелся до постели мавляна Мухиддин после ухода отца, разбитый и обессиленный, свалился на ложе. Не мог заснуть всю ночь. Стоило закрыть глаза — и в воображении представал устод Улугбек, закрывающий голову руками от занесенной над нею сабли... Голова устода, залитая кровью, катилась в пыли и прахе по земле, вращая глазами и что-то шепча, казалось, обращаясь к нему, Мухиддину.

Тогда вскакивал мавляна с ложа — в ужасе, еле сдерживаясь, чтобы не закричать. И ходил, ходил по комнате до полного изнеможения. Но стоило лечь в постель, и снова видения преследовали его. Он и клял себя за слабость, за готовность сделать так, как велел отец, и убеждал в том, что именно так надо поступить, что устода уже нет в живых и, стало быть, нельзя счесть изменой ему слова «раскаяния», которые Мухиддин должен был сказать шейху.

Он вконец измучился и потому, когда на рассвете за ним пришел наконец от Низамиддина Хомуша посыльный, испытал даже некоторое облегчение.

Бомдод — первая молитва правоверных, на раннем рассвете.

Каландар после нее опять завернулся в старую кошму и улегся на супе: можно было еще подремать. Вскоре, однако, его разбудили. Он открыл глаза и увидел загадочную ухмылку Шакала.

— А, косой! Чего тебе?

— Мне? Золота! — Шакал тихо засмеялся. — Мне золота, а светлейшему шейху Низамиддину Хомушу тебя. Собирай манатки и спеши к шейху, дервиш!

Разминая затекшие ноги, Каландар не без смятения думал о том, что неспроста его разыскивал и разыскал-таки шейх, неспроста...

Всю ночь дул ветер, накрапывал дождь, а утром стало спокойно, свежо и чисто. Только холодно. И на безоблачном небе, быстро светлевшем, угасали последние неяркие звезды, — будто от холода.

В городе было пустынно, ворота и калитки под замками, и не из-за раннего часа, а, казалось Каландару, из-за черной беды, что уже несколько дней висела, распластав тяжелые крылья, над Самаркандом. Лишь по дороге на «Мазари шериф» попало несколько открытых мастерских — кузнецов да жестянщиков, — и как приятен их стук и грохот, когда вокруг тревожное молчание!

Мюриды Низамиддина Хомуша провели Каландара во внутренний двор сразу же. Каландар не успел даже определить по запаху, что варилось под чинарами в огромных чугунных котлах. Не задержался Каландар и во внутреннем дворе, с трех сторон окруженном пышно украшенными террасами; лишь минуту-другую любовался знакомым мраморным водоемом, серебристыми его фонтанчиками, игрой воды, лившейся в отводное русло, выложенное цветными плитками, и тут же мюрид позвал его в светло-бирюзовую прихожую, а оттуда, отворив резную дверь, во внутренние покои.

Каландар, на миг задержав дыхание, перешагнул порог... Новое дело! В комнате, в почетном ее углу, по левую сторону от шейха, сидел на куче одеял старый ювелир хаджи Салахиддин! На белой чалме, на златотканом халате, на маленькой фарфоровой пиале, в которую он как раз в этот миг наливал чай, играли красные блики от туркменских ковров, что расстелены были по полу и развешаны по стенам комнаты. Узнал ли Салахиддин-заргар Каландара, неизвестно, на приветствие дервиша молча кивнул — руки были заняты пиалой. Шейх принял пиалу и тоже лишь кивком поздоровался с Каландаром; сделал глоток, отвел пиалу от губ.

— Присядь, дервиш!

Почтительно сложив руки на груди, Каландар опустился на колени там, где стоял, неподалеку от порога. На сей раз шейх не пригласил его подойти к скатерти.

— Какие вести принес нам из средоточия нечестивости? Что там происходит? Говори, дервиш.

Каландар слегка пошевелился, не переменяя позы.

— Все спокойно, мой пир...

— Спокойно, говоришь? Гм... А что узнал, что выведал про золото эмира Тимура, спрятанное там еретиками?

— Святой шейх, о том не ведаю...

— Голову подними, дервиш, смотри в глаза мне!

Каландар выдержал взгляд шейха.

— Говорю правду. По велению вашему смиренный слуга ваш неделю провел у ворот обсерватории, денно и ночью присматривал за ней...

— И что же?

— Не заметил ни одной живой души, мой пир.

— А где был ночью третьего дня?

«Все знает!.. Знает?.. Или хочет поймать меня, запугать?»

— Той ночью... холодной, святой шейх... ваш слуга решил пойти к табунщикам, к ручью, обогреться у костра... И часу не прошло, как я вернулся.

— Так, так... — Шейх резко, почти неприязненно отбросил за спину длинный конец чалмы. — А книги, рукописи еретические, бесстыдные картины, все ли там на месте?

«Нет, ничего он не знает... И о делах Али Кушчи не осведомлен».

— Должны быть там, мой пир. Куда им деться, если и муха не проникнет без вашего разрешения в обсерваторию?

— Та-а-ак... А тот... ученик несправедного султана... как его... из памяти выскочило имя нечестивца...

— Али Кушчи, — подыграл Салахиддин-заргар. — Мавляна Али Кушчи, мой пир.

— Да, да... Али Кушчи... он где?

Каландару на миг опять показалось, что шейх знает все и лишь притворяется незнающим.

— Я неделю сидел у ворот. Этого человека не видел...

— Хвала тебе, дервиш, хвала, око мое!.. Золото на месте, еретические книги на месте, нечестивый шагирд нечестивого султана тоже, видать, на месте... Только на каком месте? И твое место где, дервиш?

Шейх побледнел. Приподнявшись, сунул руку под подушку, подложенную сбоку, вытащил трещотку, схожую с веретеном. На ее звук приоткрылась дверь, и показался знакомый Каландару мюрид.

— Здесь ли мавляна Мухиддин? Если здесь, пусть войдет!

Каландар искоса глянул на ювелира. Старик перехватил взгляд, но ни единый мускул на лице его не дрогнул.

Бесшумно отворив дверь, вошел мавляна Мухиддин. Невнятно прошептал приветствие, на цыпочках прошагал до места, указанного ему шейхом, сел — покорно, беззвучно. У Каландара Карнаки гулко забило сердце. Он побоялся посмотреть на мавляну — некогда одного из двух наставников своих в медресе; он смутно догадывался, что вот сейчас и произойдет то ужасное, ради чего позвал их сюда этот лис, этот жестокосердый хитрый шейх.

— Мавляна Мухиддин! Вам надлежит сейчас вот вместе с этим дервишем пойти в крамольное гнездо, — шейх не отказал себе в удовольствии усмехнуться, — в хорошо вам обоим известное крамольное гнездо... в рассадник нечестия и безверия...

Каландар видел, как под ударами слов шейха задрожали тонкие пальцы рук, скрещенных на груди мавляны поверх серого чекменя, как все ниже и ниже опускалась долу большая белая чалма, как все покорнее и раболепнее становилась поза.

— ...Так вот, вы, мавляна, пойдете немедленно в это гнездо... а почему вы молчите, мавляна?

Чуть встрепенулся мавляна Мухиддин.

— Ваши слова — закон для истинных мусульман, святой шейх.

— Ну, так вот... запоминайте, запоминайте, мавляна... Исчадие ереси, называемое обсерваторией

Улугбека, равно как и медресе его, должно быть стерто с лица земли. Нам ведомо, что вы причастны, мавляна, к делам несправедливым. Однако заблуждение слуг тех, кто назван тенями аллаха на земле, можно искупить, коли аллах соизволит, и... мы надеемся, что вы, мавляна, богоугодными делами своими искупите грех прежних заблуждений!.. — Шейх приподнялся на подушках, подался чуть вперед. — Так вот, запомните, ни одна из еретических книг не должна исчезнуть оттуда, куда вы отправитесь! Все, все они, эти книги, не в духе нашей истинной веры, все рукописи, все бесстыдные, развратные картины — все это должно сжечь! Вы, мавляна, знаете эти книги, надо полагать, лучше многих. Идите вместе с этим дервишем, идите и все осмотрите: на месте ли эти книги, не спрятаны ли они какими-нибудь учениками султана-нечестивца... Ясно ли сказал я, мавляна?

— Ясно, — прошептал Мухиддин.

— И еще об одной тайне я осведомлен, — продолжал шейх. — Вероотступник Мирза Улугбек спрятал в гнезде своем сокровища великого, победоносного эмира Тимура — да возрадуется душа его в райских садах! Они в руках нечестивца Али Кушчи... Передайте сподвижнику своему Али Кушчи... — при слове «сподвижник» шейх глянул на Мухиддина и Салахиддина-заргара с усмешкой, — передайте ему: пусть не упрямится, а придет к нам за отпущением грехов, пусть молит аллаха о снисхождении, о прощении. Участь учителя его, Мирзы Улугбека, что возведен был на трон, но и сброшен с него, ибо избрал путь непокорства аллаху, да послужит для Али Кушчи уроком! Пусть знает, что благословенному шах-заде все о нем известно и что терпение повелителя не безгранично!..

Поднимаясь с одеял, мавляна Мухиддин почувствовал устремленный на него взгляд Каландара Карнаки: худое, болезненно-бледное лицо наставника вспыхнуло, даже кончики больших ушей, не прикрытых тюрбаном, покраснели. «Испугался меня или стыдно стало?» — спросил себя Каландар, пятясь и кланяясь и давая возможность мавляне выйти первому.

3

Не думал, не гадал мавляна Мухиддин встретиться с Каландаром Карнаки. Да еще где? У суфийского шейха, большого человека в ордене накшбендиев. Благо еще, стал Каландар дервишем, человеком, что отвернулся от бренного мира и выбрал в удел покорство нищего и зоркость соглядатая, послушного тому же шейху. Иначе совсем было бы неумоготу отвечать на вопросы пресветлого шейха перед лицом третьего человека!..

А теперь новая забота — встреча с Али Кушчи! Как посмотреть в глаза Али, как передать благоразумные советы шейха?

Три всадника ждали мавляну Мухиддина у ворот. Только помогут ли они в его деле?

Мухиддин знал Али Кушчи. Если тот уж дал слово... если что-то решил... упрямство ослиное проявит тогда в исполнении намеченного. Не раз говорили они с повелителем-устодом про разум, да будет ли теперь разумен мавляна Али? Может, зловещий конец устода заставит и его подумать о разумном решении?

Хорошо, если так... Хорошо бы!..

Так и повторял всю дорогу до обсерватории мавляна Мухиддин: «Хорошо бы, хорошо бы», — а при виде высокого портала, дверей, ведущих туда, где прошла счастливейшая — что скрывать? — счастливейшая четверть века его жизни, эти слова словно вылетели из головы. Смело их волной страха перед предстоящим свиданием.

Ворота, к несчастью, открыл сам Али Кушчи. Темная феска прикрывала темя, длинный темный чекмень, несмотря на холод, i распахнут на груди. Видно было: гостей таких не ожидал. Молча посмотрел на всадников, на Каландара, на мавляну Мухиддина. Потом опять на всадников-воинов и на съезжившегося в седле «сподвижника». Понял, кажется, зачем все они пожаловали сюда, усмехнулся.

— Добро пожаловать, дорогой мавляна!

Мухиддин, все еще сидя в седле, пробормотал, краснея:

— Светлейший шейх Низамиддин Хомуш повелел мне осмотреть книгохранилище, проверить сохранность книг...

— А я не знал, что вы теперь на службе у светлейшего шейха, — Али Кушчи насмешливо сощурился. — Но осмотреть книги можно только сойдя с коня, почтенный мавляна... И еще: вы приехали проверить книги, а для чего приехали ко мне эти славные воины?

Воин, рябоватый лицом и явно гордящийся длинным султаном на своем шлеме, насупился и важно ответил:

— Отныне мы будем стеречь это вместилище злых духов!

— Понятно: воины будут стеречь обсерваторию. А ты, дервиш?

Каландар приосанился, как то сделал только что рябой воин, сказал громко, выразительно:

— А я тут затем, чтобы сжечь эти греховные книги, написанные нечестивцами! Бросить их в костер!

— Несчастный, кто сказал тебе, что хранимые здесь книги греховны, что их написали нечестивые люди?

— Пусть вам скажет о том мавляна Мухиддин, он лучше знает, чем я!

«Молодец, Каландар, право, молодец! — мысленно одобрил находчивость дервиша Али Кушчи. — Что теперь скажет этот трус?» Вслух же Али Кушчи воскликнул:

— Как?! Вы, мавляна, привели сюда воинов, чтобы сжечь книги, сровнять с землей храм науки, в котором сами изучали науку о звездах и преподавали ее другим? Я не ослышался, мавляна? Этот безумец говорит правду?..

Мавляна Мухиддин — лицо белое, без кровинки — потоптался минуту-другую, съежась, будто от холода, потом расправил плечи, желая придать долговязой фигуре своей достойный вид, и двинулся к обсерватории, загребая ногами. Прежде чем протянуть руку к литым кольцам двустворчатой двери, снова остановился, постоял нерешительно перед входом; губы его непроизвольно зашептали что-то молитвенное.

Да, мавляна Али прав: почти четверть века, долгую четверть века он, Мухиддин, поднимался по мраморным ступеням в просторные помещения обсерватории, тихие, полусумрачные, и зимой и летом прохладные... Почти четверть века провел он рядом с секстантом и чудесными приборами, обращенными к небесной выси, у полок с бесчисленными книгами, и нельзя было остаться спокойным сейчас, вспомнив об этой долгой четверти века. Взглянул на столь хорошо знакомую блестящую дугу секстанта, что уходила вниз, на отверстие в овальном потолке, откуда на чудо-секстант падали лучи звездного света, и сердце мавляны Мухиддина облила невыразимая горечь. Было время, когда глаза его при помощи чудесных инструментов, придуманных самим устомом, сосредоточенно всматривались в вечное небо, и забывал он тогда о тревогах и заботах мира поднебесного, преходящего, и сердце его наполнилось великим восторгом от изумления перед тем, что

открывалось ему, Мухиддину, и от способности своей вести беседу, долгую и тихую, с беспредельной вселенной, со звездами, мерцающими и вспыхивающими в бездонном пространстве, с таинственными — ему казалось, божественными — силами, которые придавали стройность и смысл всему, что видели глаза. Теперь он лишен таких счастливых минут и часов, теперь он исполнитель поручения, что недостойно мавляны, теперь в сердце его страдание и презрение к себе. О аллах! За какие грехи ниспослано тобой такое наказание?

Еще сильнее охватила его сердце печаль в книгохранилище. Оно выглядело так же, как раньше, когда посещал библиотеку повелитель-устод: от свечей, стоявших в нишах, исходил теплый, неяркий свет; блестело серебро подсвечников. На столике, выдвинутом перед полукругим креслом, сложены кипы книг, отобранных для неотложной работы, в углу на высокоспинном кресле посверкивали золотканый халат и тигровая шкура, темным пятном поверх нее — бархатная шапочка устода, словно только что вышел он отсюда и вот-вот вернется, сядет в любимое кресло, покрытое шкурой тигра, и, обратив лицо к своим верным шагирдам, поведет, как обычно, спокойно-степенную беседу о тайнах вселенной. Мухиддину померещилось, будто он и впрямь слышит глуховатый голос устода. Превозмогая озноб страха и раскаяния в том, что ему сейчас предстояло делать, мавляна Мухиддин стал медленно шагать вдоль полок, сопровождаемый холодным и неотступным взглядом Али Кушчи, который остался стоять у дверей в библиотеку — неподвижная фигура, опирающаяся спиной о стену, сложенные на груди руки, нескрываемое презрение к «сподвижнику». Мухиддин не притрагивался к книгам и рукописям; ему не надо было ни пересчитывать их, ни поднимать взора вверх, к полкам под самым потолком (может, их переставили туда, самые редкие произведения?): сразу же обнаружил он, что наиболее ценные книги и рукописи исчезли. Вот угол, где с особым тщанием хранились книги и рукописи мудрецов и поэтов Мавераннахра, вместо завернутых в шелк знаменитых этих редкостей, здесь стоят другие книги... Он же знает все книгохранилище, можно сказать, наизусть!.. Вот особая полка, скрытая шелковой занавесью, — полка рукописей самого устода. Закрыв глаза, Мухиддин представил себе порядок, в котором они стоят: «Турк улус тарихи», четырехтомная История улусов тюркских племен; рядом на тончайшей бумаге «Таблица звезд», и тут же комментирующие их трактаты; выше, над полкой устода, — полка с книгами сиятельного Кази-заде Руми и Гиясиддина Джамшида: устод всю жизнь почитал своих учителей.

Обе эти полки тоже заставлены теперь другими книгами. Значит, Али Кушчи вывез самое редкое, спрятал куда-то. Куда? И как он мог это сделать один? И еще шейх говорил о драгоценностях, о золоте, и сам Али Кушчи говорил об этом, когда приходил за помощью... Куда же он спрятал золото?

Мавляна Мухиддин знал упрямство Али Кушчи, его последовательность в исполнении принятого — раз и навсегда! — решения. Он чувствовал сейчас, спиной своей ощущал, как растет, вскипает гнев Али Кушчи, что продолжал стоять у двери, наблюдая за ним, Мухиддином... Шейх ошибается, думая, что обещанием прощения развяжет язык Али Кушчи! Потому и не станет он, Мухиддин, передавать Али Кушчи слов Низамиддина Хомуша.

Мавляна Мухиддин долго еще бесцельно бродил по библиотеке, не зная, как поступить. Потом медленно направился к выходу, смиренно вобрав голову в плечи.

Али Кушчи закрыл собою весь дверной проем.

— Убедился ли досточтимый мавляна в том, что все книги... все крамольные книги на месте, в

целости и сохранности?

— Да, да, все на месте, все в сохранности, — торопливо закивал мавляна Мухиддин. — Все, все на месте...

— И святому шейху будет доложено об этом именно так?

— А?

Али Кушчи стиснул зубы. В глазах, устремленных на Мухиддина, были гнев, злость и отвращение.

— Шейх, говорю, будет знать о том, что здесь все на месте?

— Будет, будет... Я так и доложу.

— Вот что, мавляна! — Голос Али Кушчи задрожал. — Прошлой ночью от руки убийцы пал... наш повелитель... устод Улугбек. Известно об этом шагирду его Мухиддину?

Мавляна съежился, прижался к стене, словно ища у нее защиты от возможного удара.

— Все люди науки сегодня в глубоком трауре! Невежды маддохи торжествуют! Подлые, они убили нашего учителя, главу ученых... Что молчишь, мавляна? Молчание — знак согласия! Значит, знаешь про подлое убийство, знаешь... И в такой день вместо траура, вместо того, чтобы разделить горе просвещенных... прийти сюда, в эту обитель знания, чтобы готовить великие творения к костру!

— Али, Али! Дорогой мой друг! Но что же мне оставалось делать, — почти прорыдал мавляна Мухиддин. — Я не герой, я простой смертный, раб аллаха...

— Ну, так пойди и доложи своему хозяину, раб: Али Кушчи спрятал лучшие... крамольные книги, их нет в обсерватории, нет! Скажи, что надо сжечь обсерваторию, дотла спалить!.. Только помни, душе невинно погибшего устода... убитого твоими новыми хозяевами... все ведомо, весь ты виден! Мухиддин словно вжался в стену. Громко всхлипнул. Ладонью стал смахивать слезы с длинных ресниц. Губы кривились, бормотали что-то об «ужасной вести», о собственной несчастной судьбе, о том, что «разбитый кувшин не склеить». «Я ваш слуга, покорный слуга...» — то и дело слышалось из уст мавляны.

Али Кушчи отвернулся, сделал шаг в сторону.

И жалко было Мухиддина, и трудно верить в искренность его страданий. Память подсказывала случаи, когда мавляна Мухиддин оказывался в трудном для себя положении и вот так и отделялся — слезами.

Али Кушчи махнул рукой:

— Я все сказал, мавляна! Сказал, как ученому. Как почитаемому мной ученому. А как вам поступить, об этом спросите у своей совести!

И Али Кушчи прошел внутрь книгохранилища, мимо мавляны Мухиддина, глядя поверх него, будто не видя того, кого только что обличал.

Мавляна Мухиддин минуту-другую стоял перед распахнутой дверью, вздыхая часто и шумно, потом вытер лицо рукавом чекменя и медленно, пошатываясь, стал спускаться по лестнице...

Али Кушчи долго не мог успокоиться, снова и снова перебирал в памяти подробности разговора с мавляной Мухиддином. Он ведь не ждал ничего хорошего, тем паче не ждал помощи от этого труса, но как же трудно, оказывается, потерять веру в человека, с которым столько вместе пережито! Где-то на самом доньшке души теплился у Али Кушчи лучик надежды, и вот нынче погас тот лучик совсем. Шагирдом Улугбека остался только сам Али, один. И нету другого.

...Кто-то тронул мавляну за плечо. Обернулся. Увидел Каландара и Мирама Чалаби. Его ученики,

его собственные ученики!

— Мавляна Мухиддин ушел?

— Ушел, устод.

— А воины?

— Один поехал с ним, двое внизу, у ворот. Стерегут нас.

Помолчали. Али Кушчи все думал о горестном своем одиночестве.

— А ты почему не уходишь, дервиш?

Каландар подтолкнул локтем Мирама.

— Ваш покорный слуга был беззаботным нищим... А теперь... Если мавляна Мухиддин раскроет святейшему шейху тайну исчезновения книг, то... лишусь я всего, наставник!

Али Кушчи неожиданно для себя рассмеялся.

— Дрожишь за сохранность старого колпака и лохмотьев? Не шутка, это большое богатство!.. Ну, а всерьез, куда хочешь податься теперь, дервиш?

— Теперь? — Каландар потер лоб треухом, пожал плечами. — К Уста Тимуру Самарканди, наставник. Знакомой дорогой, если позволите. — Он показал пальцем в пол. — Больше некуда мне! А вы, устод?

— Я? Нельзя мне уйти... Пусть резня, пусть темница! Своей волей отсюда не уйду. Да и свершается с каждым лишь то, что написано на роду!.. А вот Мирама ты взял бы с собой, дервиш.

Мирам Чалаби нахмурил брови, иссиня-яркие глаза его потемнели.

— Нет, нет, учитель! Где будете вы, там буду и я!

Али Кушчи встал с кресла, ласково обнял ученика за плечи. Потом достал из-за пояса-кушака связку ключей, отделил один.

— Пойдемте, друзья.

4

Много часов не смыкал глаз шах-заде Абдул-Латиф. До вчерашней полночи не мог заснуть.

Вчера в полночь получил он наконец долгожданную весть от эмира Султана Джандара, посланного вслед Мирзе Улугбеку. А получив эту весть, которая словно гору свалила с плеч, шах-заде в радостном изнеможении упал в золотое кресло прадеда своего, эмира Тимура, и тут же заснул. Сколько проспал, не помнит. Но показалось ему, что кто-то встал над ним, спящим, и от страха Абдул-Латиф сразу пробудился.

Свечи в подсвечниках на круглых поставцах почему-то не горели. Теплилась только одна свеча — в нише над дверью, слабо освещая лишь малое пространство у самого входа, а вся огромная комната полна была, тьмой.

Сердце шах-заде стучало глухо и часто.

Абдул-Латиф поднялся с трона, осмотрелся по сторонам. Один ли он тут, в этой громадной сумрачной зале? Вдруг почудилось, будто кто-то прячется в темных углах и под раззолоченными стульями, выстроенными вдоль стен, кто-то неотступно рассматривает его через щелку, образованную тяжелыми занавесями за спиной, за тронном!

Нет, нет, это только почудилось!

«О создатель, милостивый и всемогущий! Прикрой раба своего крылом защиты!..»

Абдул-Латиф отпрянул от трона, постоял минуту посреди комнаты, слушая тишину. Преодоле!

оцепенение. На цыпочках, боясь темных теней в углах, прошелся вдоль стен, в каждой нише зажигая свечу. Помещение оживило, нежные орнаменты вспыхнули голубым и желтым.

Никого, нет никого!

Опять подошел шах-заде к трону, обессиленно уронил тело на сиденье, обхватил руками голову. Что с ним такое? Почему сердце бьется, как птица в жестких силках?

Чего, чего он боится? Он же всех победил, все препятствия преодолел, он же теперь повелитель Мавераннахра, единственный, единственный! Всевышний явил ему — ему! — свою щедрость, свою милость, подвел его к воротам счастья!

Может, напугала весть, поступившая от Султана Джандара? Но ведь никто другой не ждал этой вести столь нетерпеливо и вожделенно — он, Абдул-Латиф, ждал ее, он! Ах, как он ее ждал! Всякий раз вскакивал, держа руку на груди, словно не давая сердцу выскочить, всякий раз, когда сарайбон — дворецкий появлялся с сообщением, что кто-то прибыл. Все ждал от дворецкого слов: «Эмир Джандар!» И раздражался, слыша другое имя. Уже за полночь было, когда в залу ввалился сам Султан Джандар с темным шерстяным хурджуном на загорбке. Зацепился эмир кривой саблей за дверь, тихо выругался, а войдя, отвесил неловкий поклон, не снимая мешка с плёч.

Сердце так и рвалось из груди шах-заде, когда он одеревенело прошептал:

— Говори!

Султан Джандар выпрямился, втянул живот, поднял голову. Ребром ладони провел по горлу.

— Голова отсечена от тела, повелитель.

Весь в холодном поту, шах-заде спросил:

— Где? — Он хотел спросить, где произошло убийство. Султан Джандар понял иначе, сбросил на пол — со стуком! — ношу, развязал веревку, начал копаться в мешке руками.

«Нет, нет не показывай, не надо!» — беззвучно, взглядом приказал шах-заде. Эмир усмехнулся, снова выпрямился, резко, почти грубо осведомился:

— Где хоронить будем?

Долго ждал злой вести шах-заде, а о месте захоронения и не подумал.

— В Гур-Эмире?

Шах-заде смятенно покачал головой: ну уж нет, только не там!

— Хвала вам, повелитель! — загромыхал Султан Джандар. — Мы погрешили бы против веры, коль нечестивца положить в гробницу победоносного воителя. Предлагаю закопать его тело в его же крамольном гнезде — в медресе!

Шах-заде нетерпеливо махнул рукой:

— Делай как знаешь, только... побыстрее! И чтоб ни одна живая душа не узнала, ни одна!

Эмир, все так же неприятно улыбаясь, попятился к выходу, поволок хурджун за собой.

— Не беспокойтесь, заступник трона, все будет как надо... Люди умные говорят: хоть и видел, лучше сделать вид, что не видел...

Шах-заде помнит, что сразу же после ухода эмира он успокоенно произнес:

— Ну, слава аллаху, — и тут же заснул.

Успокоенно?

Как можно быть спокойным здесь, в этом сумрачном дворце? Вот снова что-то — или кто-то — за спиной!

Шах-заде молнией сорвался с сиденья, резко повернулся к занавесям за тронем. Шевелится, вправду шевелится!

Он стремительно выхватил из ножен саблю, прыгнул вперед, не сводя одичавших глаз с шевелящейся ткани, рубанул по ней. Сабля задела замок потайной двери, звякнула приглушенно. Кусок занавеси упал на пол, приоткрыв железный лист, один из тех, которыми обита была дверца, уводящая в подземелье.

Никого... Никого нет, слава аллаху! Ему померещилось!

Абдул-Латиф вытер пот со лба и щек.

«Да что это со мной?.. В чем я виноват, если убит нечестивый султан, по несчастью, по насмешке судьбы называемый родителем моим? И не я, не я убил его! Саид Аббас, которого сам же отец и сделал врагом себе...»

И кто велел ему выступить против веры истинной, против могущественных улемов, столпов веры, против сеидов[60], потомков пророка?.. Гнева всевышнего не убоился, вознамерился постичь тайны вселенной, а она — престол аллаха, и недаром всевышний не дал нам права на постижение этих тайн... Вот потому и покарал!

А уж о нем, сыне-то своем, разве заботился покойный султан? Благословенный родитель? Нет, черствый, черствый чужак — так будет правильней! Ни разу не погладил в детстве, ни разу не прижал мальчика к груди своей, не помнит, не помнит Абдул-Латиф, чтобы к нему обратились со словами: «Сын мой!» всю любовь, всю ласку свою — другому, Абдул-Ази-зу! Того-то любил и нежил. А Абдул-Латифа отдал на воспитание бабке, Гаухаршод-бегим. Властная эта женщина, даром что красоты неопишуемой, невлюбила Абдул-Латифа. Всегда холодно улыбалась ему тонкими своими губами. Из всех внуков один у нее был любимчик — толстый увалень Алауд-давля, сынок Мирзы Байсункура, вот его она и ласкала, одаривала, ему была советчицей, доброй феей. А он, Абдул-Латиф, и здесь, в Самарканде, и там, в Герате, в громадном пышном дворце деда Шахруха чувствовал, что никому не нужен, никому не приятен. Так, сирота злосчастный. Обида на родных и неприязнь к ним — с детских лет!

А позже, когда пришла к нему ранняя возмужалость — возмужалость воина и властителя, — видел ли он что-либо хорошее от отца? Как бы не так! Благословенный родитель ущемлял его во всем, старался поднять повыше любимчика своего Абдул-Азиза. В сражении тарнобском под Гератом победителем оказался этот сопляк! Так распорядился сообщить всем и каждому их благословенный родитель. А ведь ту битву против Алауд-давля выиграл он, Абдул-Латиф; не примчись он тогда со своими всадниками в степь Тарноба, неизвестно, что было бы с братцем, да и с самим родителем тоже. Ну, пусть так, пусть победил Абдул-Азиз... Но вот разбили Алауд-давлю, «этого упрямяца, снова захватили Герат. И кто взял добычу, что хранилась в замке Ихтиерид-дина? Родитель! У кого взял? У сына своего, Абдул-Латифа! Под предлогом, что казна истощена войной, все его богатства, подарки деда Шахруха, все сокровища, все золотые статуэтки, доставшиеся от прадеда, великого Тимура, — все это отец отправил в Мавераннахр! Ну, пусть так. Пусть! Не в богатстве дело... А вот когда неугомонный Алауд-давля, собрав новые силы, осадил Герат и Абдул-Латифа в Герате, подал ли благословенный родитель руку помощи своему сыну? Помог, называется! Герат остался у Алауд-давля, а его, Абдул-Латифа, отец отправил в Балх, в этот захудалый городишко, вроде кишлака!

Мирза Улугбек вернулся в Мавераннахр, распорядился: отдать старшему сыну жалкий

провинциальный Балх, а младший... младший получил в руки великий город, столицу Самарканд!.. Чем больше обид припоминал шах-заде, тем живее играла кровь в жилах. И вчера он подстегивал себя такими же воспоминаниями. Сын, обиженный несправедливым отношением отца, сын, вынужденный взяться за меч во имя защиты истинной веры и во имя защиты самого себя, сойди он с этой тропы — и сомнения, неясные, а потому особенно пугающие, начали бы закрадываться в душу. А сомнения — первый шаг к воспоминаниям и о хорошем, что сделал ему отец, а за ними недолго и до раскаяния в том, что он, сын, причинил отцу.

И Абдул-Латиф все подстегивал и подстегивал себя воспоминаниями-обидами.

„Да, ничего хорошего я не видел от благословенного родителя. Только ущерб видел от него — моему богатству, моему полководческому дару, славе моей! А последняя наша встреча? Благодарил бы за великодушие, дал бы отцовское благословение, а что сделал отец? Напророчествовал дурное! „Сын, поднявший меч на отца, во веки веков будет проклят, лишен будет счастья!“ Ишь ты, поднял меч... Кто первый из нас поднял меч?“

И тут подумалось шах-заде, что как бы там ни было, а его сыновним мечом убит отец. Страх снова обуял Абдул-Латифа. Отцеубийца! Есть ли слово страшнее?.. А если об убийстве, происшедшем этой ночью, узнает население Самарканда? Можно ли доверять мстительному Саиду Аббасу и эмиру Джандару? Да они из пустой похвальбы растрезвонят... И как неприятно усмеялся эмир, чуть ли не подмаргивал ему, повелителю своему! Сообщник сообщнику... Но из двух сообщников один всегда верховодит другим.

„И не зря Султан Джандар щерился, видно, думает, что теперь будет мной вертеть, как хочет... Кто знает об убийстве? Саид Аббас. Султан Джандар. Несколько воинов. Да, еще хаджи Мухаммад Хисрав. Ну, этого-то припугнуть как следует, и он скорее язык сам себе откусит, чем хоть слово скажет. А вот с остальными как быть?“ Шах-заде ужаснулся пришедшей тотчас мысли — жестокой и страшной. Но она, эта мысль, продолжала вызревать, она крепла, оттесняя иные мысли, и превратилась в конце концов в твердое решение: всех, причастных к убийству отца, убрать, уничтожить; поручить это сделать надо тому же Султану Джандару, а потом убрать и его. Абдул-Латиф быстро пересек залу. Открыл дверь.

— Эй, кто тут есть?!

Дремавший на стуле сарайбон торопливо вскочил, поклонился.

— Простите милостиво, повелитель. Задремал.

— Гонца пошли к эмиру Султану Джандару! Пусть эмир прибудет немедленно!

Сарайбон отвесил еще более низкий поклон.

— Не позволит ли повелитель рабу своему свершить сначала молитву бомдод?

„Слава аллаху, выходит, уже утро наступило“, — подумал Абдул-Латиф, чувствуя облегчение.

Милостиво наклонил голову. Сказал негромко:

— Пусть и мне принесут воду для омовения.

Небольшая дверца вела из зала в укромную комнатку — махфихану.

Пройдя туда, шах-заде присел на корточки у выложенного мраморными плитками углубления в полу, совершил омовение. Потом снял халат и, как делал перед сражениями, расстелил его в углу, сел коленапреклоненно на золоченую эту подстилку лицом к Мекке. Зашептал слова молитвы.

Потом долго еще сидел, прикрыв глаза, не меняя молитвенной позы, — подстеленный халат словно

изымал его из суетного мира. Сосредоточенно вслушивался в тишину — так обращался к небесам, просил защиты, поддержки, душевного успокоения. И когда успокоение начало приходить, когда решил он уже подняться, из соседней большой комнаты послышался шум, возня, приглушенные голоса будто борющихся друг с другом людей. Абдул-Латиф торопливо подобрал с полу халат и, на ходу набросив его на плечи, быстро пошел в залу, но достичь ее не успел: дверь распахнулась и в махфихану вбежал Абдул-Азиз.

Он был бос. Непокрытая голова его, наголо обрита, тряслась. Длинная, по колена, шелковая рубаша, до пояса разорванная, свисала с плеча. Глаза, полные ужаса, метались на лице. „С ума сошел! — пронеслось в мозгу Абдул-Латифа. Он невольно потянулся к сабле и сделал шаг назад. — Как же это он попал сюда из заточения? Кто выпустил? Кто впустил?.. И что с ним, чего он хочет?!“

Абдул-Азиз нетерпеливым жестом сорвал рубашку совсем, напроць; пальцы вцепились в волосы на голой груди. Не попадая зубом на зуб, заикаясь, спросил:

— Что... что ты сделал с благо... благословенным... ты... отце... убийца!

„Узнал! Узнал!! Откуда?! Кто ему сказал?“

Абдул-Латиф обнажил саблю: „Кинется вперед — зарублю!“ Закричал громко, яростно:

— Эй, кто там есть? Сюда!.. Сарайбон!

— П-п-поднял меч на... родителя своего?.. Как же з-земля еще носит тебя, п-почему небеса не рухнут на т-твою голову?

Бритая голова брата тряслась все сильнее, глаза сверкали все безумнее. Стуча зубами, Абдул-Азиз двинулся вперед. Старший стал отступать к стене, выставив саблю и слегка пошевеливая ею. Но Абдул-Азиза это не остановило, он надвигался на брата, а тот уже ощутил лопатками твердую поверхность стены. Бросил халат, взмахнул саблей.

— А-а, п-подлый... отцеубийца... А-а, родитель мой... б-бла-гословенный. Что ты сделал с ним? — выдохнул Абдул-Азиз прямо в лицо Абдул-Латифу и вдруг залился щедрыми, бурными, словно сель в горах, слезами; они вмиг затопили впалые щеки, исчезая в грязной, давно не расчесываемой бороде.

„Зарублю, зарублю! Пусть еще шаг сделает“. Абдул-Латиф продолжал медленно отступать от брата — двигался вдоль стены, спиной ощущая ее твердость, неподатливость. Он уже достиг потайной двери, когда вбежали балхский приспешник и есаул.

— Хватайте этого безумца! Хватайте!

У сарайбона тоже был разорван ворот бархатного халата. Зачем-то рванув еще раз этот ворот, сарайбон бросился сзади на Абдул-Азиза, обхватил его за шею. Есаул привычным приемом стал заламывать руки младшему шах-заде. Абдул-Азиз тщетно вырывался.

— М-мерзок... м-мерзок... Гнушаюсь тобой... Ты не брат мне... Всеми святыми, пророком клянусь, — Абдул-Азиз захрипел. — За ноги п-повешу тебя! Вниз го-голо...

— Уведите этого сумасшедшего! Вон его отсюда... Иначе зарублю!

Абдул-Азиза повернули лицом к выходу, стали выталкивать. Но, освободив одну руку, он уперся ею в косяк двери.

— Руби! Руби!.. Как отца з-зарубил!

Могучий темнолицый есаул оторвал наконец Абдул-Азиза от двери, выпихнул вон. И старший брат услышал, как младший тяжело упал наземь, а через мгновение вновь раздались яростные рыдающие

проклятия:

— Отцеубийца! Гнев господи... покарает тебя!.. Земля поглотит отцеубийцу, сама земля!..

Потом послышался свист нагайки, стук закрываемой снаружи двери, и все стихло...

Абдул-Латиф вошел в залу, где стоял трон. Присел рядом с ним прямо на пол, прислонил горячий лоб к холодным золоченым поручням.

„О аллах, защити меня, защити... Откуда узнал обо всем этот... свихнувшийся? Кто рассказал ему?..

А ведь кто-то рассказал! Какой-то дьявол донес ему весть в заточение. Значит, и по всей столице она распространится не сегодня, так завтра, по всему Мавераннахру!..

А может, об этом уже узнали и два других наследника? Двоюродные братья — Мирза Абдулла и Мирза Абу Саид? По моей воле их тоже бросили в зиндан, но надо проверить, как они там...

Проверить самому. Никому не доверяя! Страшная весть все засовы сорвет... Защити, создатель, обереги от недругов, от происков их, не дай опорочить имя раба своего! Весь дворец, весь дворец полон недругов. Кругом враги! В каждом углу Кок-сарая тени двуличных!.. На кого, на кого опереться, кому довериться в этой злосчастной стране?..“

Долго сидел так шах-заде: лоб на холодных подлокотниках вождельного трона, глаза закрыты, уста шепчут просьбу простить грехи, укрепить мужество и волю, а в сердце все тот же страх, в ушах все тот же хриплый голос брата:

„Гнев господи на отцеубийце! Сама земля поглотит тебя, сама земля!..“

Шах-заде вздрогнул, услышав тихий скрип двери. Эмир Султан Джандар! Явился наконец!

Хитровато-проворные глаза, крупные чувственные губы, выпяченные будто в усмешке.

Абдул-Латиф вскочил с места, бросился к эмиру, вцепился в отвороты его одежды.

— Ну, обманщик!.. Развратник! О твоих похождениях знает вся столица, весь Мавераннахр!.. Кто распускает подлые слухи?

— Оплот милосердия... О смерти своей ведаю...

— Не ведаешь?! А что побледнел?.. — Шах-заде схватил вельможу за рукав чекменя. — Султана-богохульника, вероотступника казнил ты! Ты!.. А молва порочит меня!

Эмир Джандар отпрянул назад, произнес стонуше:

— Если была хоть капля неправды в том, что я сказал, пусть всевышний покарает меня, повелитель!

— Долой с глаз моих, лицемер! — Шах-заде отвернулся. Заложив руки за спину, быстро прошел в глубь залы. Дернул шнурок голубых занавесей за тронем, и они распахнулись, пропуская сверху, из окна под потолком, сноп солнечных лучей, от которых тотчас вспыхнули и бирюзовый этот потолок, и нежные краски настенных росписей, и багряно-червонные ширазские ковры на полу.

У Султана Джандара зарябило в глазах.

Скосив глаза, шах-заде глянул на вельможу. Голову-то эмир склонил, но все равно чудились в его фигуре ненависть к нему, шах-заде, и некая гордыня, какая бывает у человека, почитающего себя несправедливо обиженным. „Вон он каков, единственный мой оплот. Брови-то как насупил!.. Нет, с ним надо осторожнее“.

И вдруг, словно ничего и не произошло меж ними, шах-заде повернулся к Султану Джандару и сказал:

— Ну, мой эмир, поведайте обо всем... Как там... обошлось?

Почувствовав, что гроза миновала, эмир Джандар заговорил с облегчением, сразу поняв, о чем хочет

узнать шах-заде.

— Похоронили, благодетель... Закопали тело в углу во дворе медресе... Ни одной живой души не было ни в самом медресе, ни вокруг. Никто не догадается ни о чем и никогда...

— Кто был с вами во время... похорон?

— Саид Аббас.

— Еще?

— Ну, эти нукеры... четверо...

Абдул-Латиф со значением взглянул на Султана Джандара, глаза в глаза. Понял ли эмир, что хотелось сказать и не хотелось говорить шах-заде?

Абдул-Латиф медленно подошел к Султану Джандару — близко подошел, лицом к лицу.

— Слушайте внимательно, мой эмир... Всех, кто участвовал в этом, — у шах-заде не повернулся язык произнести слово „убийство“, отыскивая, чем его заменить, он наморщил лоб, — всех, говорю, кто был при этом деле... всех надо... убрать! — Абдул-Латиф сделал резкий мгновенный жест, проведя ребром ладони под подбородком.

В глазах Султана Джандара промелькнул испуг, усы будто встопорщились.

— Обезглавить?.. Всех?..

— Не о вас речь, эмир. Что вы испугались, оплот мой верный? Вы моя правая рука, гора, на которую опираюсь... Остальных... всех убрать! У нас нет иного выхода, мой эмир. Или их тайная смерть, или позор... на нас обоих... из-за молвы людской.

— Но, мой благодетель... разве султана убили вы? Разве не ясно, что вероотступнику отомстил за смерть родителя своего Саид Аббас?.. Это могут узнать все.

— Нет!.. Нужно молчание. Полное молчание... Надо казнить их всех... Где Саид Аббас?

— Он сидит у ворот Кок-сарая, ожидая часа, когда вы позволите ему припасть к вашим стопам.

— Нет! В зиндан его. Тотчас! И тех нукеров тоже... И немедля, сегодня же им... — шах-заде опять провел ладонью по горлу. — Сегодня же... Вы поняли меня, мой эмир?

Эмир Джандар, побледнев еще сильнее, покорно склонил голову.

— Слово повелителя — закон для преданного слуги.

— Хвала вам, эмир... И еще одно. Что будут говорить о всех этих... делах самаркандцы, какая будет молва в народе — о том вы будете каждодневно докладывать мне. Ясна ли моя речь вам?

— Ясна, благодетель... Только вот еще... — Эмир Джандар взглянул опять на шах-заде с загадочной ухмылкой сообщника. — Никто лучше не осведомлен о слухах, которые ходят по Самарканду, чем шейх Низамиддин Хомуш. Нет такой молвы, которую не слышали бы его мюриды, нет такой щели, куда бы они не проникли!

Шах-заде кивнул головой в знак согласия — он понял намек — и отпустил эмира. Подождал, пока не затихли его шаги по лестнице, подошел к трону и без сил опустился на него.

5

Минула неделя — первая неделя власти Абдул-Латифа, полной, никем не оспариваемой власти.

Всю эту неделю шах-заде не выезжал из Кок-сарая. Он даже не выходил из той самой залы, где стоял трон и куда был открыт доступ для одного только эмира Джандара да ближайших прислужников, приведенных Абдул-Латифом из Балха.

Не прошло и полных суток после разговора шах-заде с Джандаром — черной полночью эмир вновь

явился пред очи властелина с хурджуном на плече. На сей раз в знакомом мешке грязновато-темного цвета была завернутая в кусок серой бязи голова Саида Аббаса.

Абдул-Латиф знаком приказал развязать хурджун, но когда эмир, насупленный и угрюмый, вытащил круглую бритую голову, всю в запекшейся крови, и, держа ее за куце свисавшую бороду, хотел показать шах-заде вблизи, тот не выдержал; холодная дрожь пронизала все естество его, и он закричал: «Убери, убери!» Не готовность эмира Джандара выполнить тотчас любой приказ взволновала шах-заде, а беспощадность доверенного слуги, и волнение это было волнением страха. Тем более следовало бы избавиться от эмира, но разве не доказывал он своей верности Абдул-Латифу? Да и не рано ли убирать эмира Султана Джандара, коль жив был еще брат, этот сумасшедший и опасный Абдул-Азиз? Кому, как не Джандару, следовало теперь поручить... Избавлюсь от Саида Аббаса и успокоюсь, так думалось шах-заде раньше. Успокоюсь, потому как распространять слухи об убийстве Улугбека всего выгоднее было кровнику отца, этому самому Саиду Аббасу... Но вот шах-заде своими глазами увидел голову, круглую бритую голову, отделенную от туловища человека, поклявшегося отомстить султану Улугбеку, увидел, а успокоение все не приходило. Напротив, как ни старался он отвлечься, думать о чем-то другом, бритая голова в кровавых пятнах, со своей куцей, жалкой бороденкой маячила перед ним, хоть закрывай глаза, хоть нет — все равно; а задремав, он тут же просыпался, будто нарочно будил его кто-то, стоящий у изголовья. И какие-то таинственные тени, прячась, все клубились в углах залы, и от любого шороха сердце готово было разорваться в ошеломляющем стуке.

Абдул-Латиф за эти несколько дней сильно похудел. Щеки его ввалились, глаза стали огромными, локти и плечи выпирали из-под одежды, словно острые щепки. Надо было бы позвать табибов[61], рассказать о недуге. Но этого шах-заде тоже страшился — во дворце и в столице не должны были распространяться слухи о недуге повелителя, недавно столь победоносного и крепкого... Шах-заде порой искал спасения от смятенных чувств своих в вине, но помощь вина, как водится, была минутной; проходил миг облегчения, и вслед ему еще мрачнее, чем прежде, надвигались мысли, тяжелыми осенними тучами заволакивали сознание.

Подумал однажды Абдул-Латиф и о плотских радостях, о знаменитых красавицах из гаремов отца и брата. Абдул-Латиф знал, что брат сумел раздобыть некую несравненную красавицу, газель, да и только, впрямь газель... Опустошив несколько кубков крепкого вина, он решил было убедиться, так ли она красива и... прытка, та газель. Но тут помешал сарайбон, почтительно доложивший, что своим посещением осчастливил дворец светлейший шейх Низамиддин Хомуш.

Шейх был духовным пиром шах-заде. В борьбе против Улугбека всецело поддержал притязания старшего сына. Шейх знает все и вся — и о нем самом, и о том, что делается в Самарканде. Абдул-Латиф побаивался шейха и сейчас невольно встревожился — что скажет ему пир, зачем он пожаловал так поздно, после вечерней молитвы?

— Скажи, что жду!

Шах-заде поправил одежду, разгладил складки на груди и плечах. Придвинул золоченое кресло поближе к тронному, уселся на трон. Приосанился. Но, заведя в проеме отворенной двери высокую фигуру шейха, всю в белом — поверх зеленого бархатного халата белое покрывало, поверх остроконечной бархатной тюбетейки белоснежная чалма, — почтительно привстал. Чуть подождал в надежде, что сам шейх подойдет ближе и первым произнесет приветствие. Низамиддин Хомуш,

однако, не торопился; медленно перебирая янтарные четки, испытующе смотрел на шах-заде, не отходя от порога.

Шах-заде встал, приблизился к пиру, склонился в полупоклоне, пригласил занять кресло возле трона. Шейх не спешил. Он все сверлил взглядом своего духовного воспитанника, и красивое, удлиненно-благородное лицо наставника выражало если не прямое недовольство увиденным, то жесткую решимость исправить то, что он увидел.

Полузакрыв глаза, шейх прижал руку с четками к груди. Неторопливо произнес молитву. Затем рокочущим властным голосом задал вопрос, коего и опасался шах-заде:

— Что случилось, счастливейший из счастливейших? Или посетил тебя недуг?

— Нет, слава аллаху, все хорошо у меня, мой пир...

— Венценосцы тоже, бывает, страдают хворями.

Абдул-Латиф облегченно вздохнул. Шейх выдал ему разрешение на болезнь.

— Мучит головная боль, это верно...

— Болит голова? Просто болит или дьявол-искуситель смущает покровителя истинной веры, вносит смятение в его душу?

«Догадался! Ничто не скроется от его духовного взора».

— Если последнее, если, повторяю, смятение тревожит душу, то денно и ночью следует славить аллаха, чем и укрепишься. Смирением изгоняется сомнение! И необходимо, чтобы такое усердие, шах-заде, стало видимым всеми, стало уроком для самаркандцев, которых вероотступники много лет совращали с истинного пути.

«Осуждает, что я заперся в Кок-сараяе», — подумал шах-заде. А шейх вдруг неожиданно спросил:

— Я слышал, что Саид Аббас в заточении. Зачем? Почему?

«Если б он услышал про дальнейшее, что бы сказал? А ведь услышит...»

— А затем... что он распространял всякие вредные слухи, задевающие честь раба аллаха, мой пир.

— Честь венценосца задевают слухи, распространяемые не Саидом Аббасом, а зловредными шагирдами султана-вероотступника, сын мой.

Духовный сын продолжал стоять перед наставником. Смятенный взгляд шах-заде был устремлен на спокойное лицо старца, на пальцы, сжавшие четки, на полузакрытые глаза; от благообразного лица веяло твердостью, а отнюдь не снисходительностью.

— Каких шагирдов имеет в виду светлейший шейх?

Шах-заде присел наконец на краешек кресла.

— Какие слухи зловредные ни рождались бы в народе, какие бы дурные дела и незаконные заговоры ни замышлялись... против трона... — шейх повел в сторону трона рукой в тяжелых четках, — все это идет от тех мудрецов, что избрали нечестивый путь, мой шах-заде!.. Правильно, богоугодно было казнить султана-вероотступника, и это сделал сын мой духовный. Но бельмо на глазу осталось! Все эти ученики, что гнездятся в нечестивых медресе, в исчадии богохульства — обсерватории, — вот это бельмо!

Шейх смотрел снизу вверх на Абдул-Латифа, который сидел на тронном кресле прямо, тоже устремив взгляд в одну точку; лицо без кровинки, губы плотно сжаты, пальцы рук впились в колени.

— О милостивый и всепрощающий шах-заде!.. Ведь надо знать, кого прощать и за что... Ведомо ли шах-заде имя Али Кушчи?

Абдул-Латиф кивнул: ведомо.

— Шайтаноподобный шагирд сошедшего с истинного пути Мухаммада Тарагая до сей поры мутит умы, грязнит чистых! До сих пор сидит в обсерватории. Ваш пир, повелитель, услышал худшую весть: сей вероотступник вывез оттуда святотатственные книги и где-то их спрятал...

— Где же?

— Ежели всепобеждающий султан не знает, как про то может знать раб аллаха? — Низамиддин Хомуш позволил себе чуть-чуть улыбнуться: незаметно, краешком губ. «Всепобеждающий султан — вот этот...» — подумал он иронически, но взгляд его, не отрывавшийся от лица Абдул-Латифа, выражал теперь смирение перед величием повелителя.

Льстивые слова прились по нраву шах-заде. Шейх продолжал:

— И еще одна весть, шах-заде: из казны эмира Тимура, — да воздаст всевышний должное великому воителю за веру истинных мусульман! — из казны прадеда твоего пропали сокровища... Верно ли это?

Шах-заде кивнул: верно.

— Так вот, знай, шах-заде, султан-вероотступник отдал их своему нечестивому шагирду! Гордец Али Кушчи, сказывают, спрятал их в том самом гнезде богохульства — в обсерватории. Знают о том два человека. Один — прежний шагирд Мухаммада Тарагая мавляна Мухиддин. Раскаялся сей ученый. Смирненно признал пагубность прежнего пути и снова встал на истинный... Он жертва... А второй — раб божий дервиш Давулбек... Пожелаешь, пошлю его к тебе, послушным и преданным будет рабом.

— Осчастливите меня этим, мой пир!

Шейх уперся в подлокотники кресла, поднялся... Выражение твердости, решимости сменилось на лице его выражением отцовской ласковости, благорасположения.

Шейх был очень, очень доволен беседой. Ну, разве можно было бы представить себе что-нибудь подобное раньше, при Мирзе Улугбеке? Улугбек просто не дослушал бы шейха, начал бы сам учить его уму-разуму, как необразованного, темного имама какого-нибудь. А шах-заде совсем по-иному держится... Сидит, внимает.

Шейх уже больше года находился с Абдул-Латифом в тайной переписке. Склонял его к мятежу тоже он, шейх. И все же побаивался, что почтительность шах-заде к нему — лишь до завоевания трона, а после как бы не выиграла в духовном воспитаннике прадедова кровь, Тимурово коварство, истовое желание ни с кем власти не делить... Но нет, шах-заде ныне смятен и податлив. Мягче шелка. Ох, благо, благо, коли и дальше так будет! Не приведи аллах, возгордится шах-заде, как и родитель его!

— Благословенный шах-заде, — голос Низамиддина Хомуша ласкал, нежил, обволакивал, — благословенный шах-заде, есть у меня еще один совет, коль вы сочтете нужным выслушать его.

— Слушаю вас, пирим. Раб аллаха всегда был внимателен к советам вашим...

— Султан — тень аллаха на земле, шах-заде... Благосклонности аллаха удостоивается тот правитель, кто следует пути пророка и нигде не сворачивает с него. Потому Абдул-Латиф — султан, повелитель сего государства. И долженствует султану, ревнителю веры истинной, явить и гнев праведный. В зиндан всех этих людей науки! Всех, возмущающих умы и совесть!.. А все книги, что, как зараза, пришли к нам из чужих стран, в огонь! Все до единой!

Шейх не сдержался. Он начал кричать и размахивать руками.

— И пусть днем и ночью тебя снедает это богоугодное желание! Или ты уничтожишь нечисть и тем возрадуешь дух пророка нашего Мухаммеда, или вероотступники сбросят тебя с трона!.. Но не удастся, не удастся! Благословение высокого нашего учителя ишана Убайдуллы Ходжи Ахрара с нами... Ясна ли моя речь, шах-заде?

— Ясна, мой пир.

— И извергни отныне из сердца своего сомнения, ибо все правоверные Мавераннахра молят за тебя всевышнего! — воскликнул Низамиддин Хомуш. — Должно показать себя народу, шах-заде, а не проводить долгие часы уединенно в этих чертогах... Должно посетить гробницы святых, постоянно навещать мечети, а в главной, соборной, каждую пятницу проповедовать, дабы, видя и слыша своего повелителя, возрадовались бы истинно верующие. А смутьяны и нечестивцы убоялись бы, опять скажу, гнева праведного... Да позволит аллах свершиться всему этому!

Шейх поднес ладони к лицу.

Потом чуть враскачку двинулся к выходу. Абдул-Латиф хотел было проводить наставника, но тот остановил его знаком — нет необходимости...

Шах-заде почувствовал усталость. Но эта усталость была совсем иной. Успокоение пришло. Он знал это по сладкой истоме тела, по слипающимся сонным глазам. Приоткрыв их, удивился — эта громадная зала, казавшаяся ему недавно темной и враждебной, сияла, словно под солнечными лучами: и бирюзовые краски сводчатого потолка; и радостно-изящные, какие-то сладострастные даже росписи на стенах; орнаменты, изгибавшие свои золоченые линии; золоченые кресла вдоль стен; ширазские ковры на полу — золото, яркость, благородная светлая желтизна — разве все это не знак власти, удачливой силы?! Чего же ему бояться? Он воевал за эти золотые хоромы, за султанский трон. И вот он здесь. И еще воевал он за то, в самом деле, чтоб изничтожить всех нечестивцев! Он проявил жестокость? Но того и требовал шариат! Ему, Абдул-Латифу, некого и нечего бояться! Громко застучал он колотушкой, призывая сарайбона, а когда тот явился, передал через него приказ: послать гонца к эмиру Султану Джандару. Пусть эмир сразу же отправляется в обсерваторию. Схватить этого нечестивого Али Кушчи и его учеников! В зиндан их, немедленно в зиндан!

6

Примерно с неделю прожил Каландар Карнаки у Тимура Самарканди. И никуда не выходил из пещеры, нигде не показывался.

Днем Каландар помогал кузнецу: то раздувал мехи, то держал на наковальне тяжелую поковку, то сам стучал большим молотом, придавая раскаленному железу нужную форму.

Каландар научился чинить котлы, кумганы, чайники. Полюбил он и приготовление чая — дело не простое, а главное, с пользой убивающее время. Чаю нужно было заваривать много: в пещеру к Уста Тимуру по вечерам обычно собирались соседи-ремесленники — кузнецы, изготовлявшие подковы и гвозди, слесари, жестянщики, каменотесы, резчики по кости и дереву, чеканщики и сундучники. С небогатыми гостинцами навевывались братья Калканбек и Басканбек, и тогда, казалось, вода в черном кумгане над огнем бурлила особенно сильно, и под стать ей живо бежала беседа. Новости из Самарканда не радовали, правда: мастерские ремесленников и лавки торговцев были все еще закрыты из-за страха перед грабежами, цены росли с каждым днем.

Беседа после «ахов» и «охов» снова сворачивала к последним дням Мирзы Улугбека, тем дням, когда еще можно было бы — особенно по мнению молодых собеседников и прежде всего горячих братьев-

кузнецов — поправить дело.

— Повелителю надо бы собрать ополчение, кликнуть к себе таких, как мы! Да, да, бедняки, простые люди закрыли бы ворота Самарканда перед жестокосердным шах-заде! Мы бы не пустили его в город! Каландар не перебивал Басканбека и Калканбека, молчал. Сразу вспоминались последние напутствия Мирзы Улугбека, слезы его при прощании с Али Кушчи и с ним, Каландаром, и больно сжималось сердце у дервиша, никого не хотелось ни видеть, ни слышать. Каландар отходил в сторону, падал лицом вниз на земляной пол в углу пещеры и долго лежал там, неподвижный, будто отсутствующий. А Уста Тимур, обращаясь к молодым спорщикам, говорил, неторопливо растягивая слова:

— Молодо-зелено, молодо-зелено, и мало что вам понятно... Если ветер такой, что верблюда подымет, то козу-то и подавно... Попади город в осаду, кому трудней пришлось бы? Не шах-заде, нет, а таким беднякам, как вот вы да я. Знать бы взаперти похудела, а голоштанное дух свой испустили бы... Так что, сынки, помолчите уж про осаду-то...

За разговором время движется вроде и быстрее. Но ближе к зиме, известно, ночи длинней. Каландар долго-долго, обычно до самого рассвета ворочался с боку на бок. Несколько дней прошло, и ему, степняку, стало казаться, что гостеприимная пещера кузнеца слишком темна и слишком тесна. Он чувствовал желание немедля уйти отсюда, если не в степь, то в ближние кишлаки и сады, пусть его поймают, пусть схватят. А то сидишь без дела, точишь-точишь слова... Но Каландар сдерживался. Он знал, что его в самом деле ищут. Знал точно, потому что в начале его сидения в пещере к нему явился по поручению Али Кушчи Мирам Чалаби и вместе с приветствием от мавляны передал строгий наказ быть осторожным и ни в коем случае не появляться в городе. Ведь когда он, Каландар, ушел из обсерватории, туда по горячему следу нагрянула дервишеская братия, искали не кого-нибудь, а его, Каландара. Шакал искал, самолично, рассказывал Мирам.

Стало быть, тут действовала рука шейха Низамиддина Хомуша.

В памяти встало разгневанное лицо мстительного шейха, и Каландару на миг даже здесь стало не по себе. Шакал ищет его, бегают, разнохивают. Вот и неподалеку от пещеры не однажды слышалось гнусавое пение: «О аллах, о всемогущий...»

Нельзя уходить отсюда, нельзя. Надо пересидеть, переждать!

Но как это тяжело! Особенно вечернее бездействие, все эти повторяющиеся разговоры под медлительное позвякивание пиал, под бульканье воды, наливаемой из кумгана в чайники, из чайников в пиалы... Каландар вспоминал родной край, свой далекий Карнак, вспоминал степь и холмы в степи, в просторах которой протекло его детство, вспоминал речки с прозрачной горной водой, в которых он ловил рыбу и купался, урюковую рощу неподалеку от кишлака: весною мальчишки любили забираться на деревья, наедаться недозрелыми плодами. Не раз вспоминал Каландар и свою любимую младшую сестру (ее захватили кипчаки при набеге), видел ее живо, будто воочию: вот вернулась она в их родной кишлак Карнак, пришла на кладбище, что сбегает вниз по склону Караул-тепе, пришла, отыскала могилу отца и матери и плачет над ней, плачет... Милое заплаканное лицо видит перед собой Каландар. Слышит мольбу, к нему, старшему брату, обращенную: «Где же вы, брат мой, куда занесла вас судьба?... Далеко ль от отчего дома? Если вы, братец мой старший, не сумеете возжечь светильник на могиле благословенных родителей наших, то кто же это сделает?!»...

Вот и сегодня, наверное, до самого рассвета ничего не получится у него со сном! Неотступно стоит

перед глазами далекое, незабываемое...

Старая крепость Карнак расположена на взгорке между двумя речками — саями. Высокие глинобитные стены зубцами подпирали небо — по крайней мере, так казалось в детстве, — а ров вокруг крепости был бездонно глубок. Поселение за стенами было невелико, узкие улицы обойти быстрым ребячьим ногам не составляло никакого труда: один миг — и готово!.. Ранней весной на плоских крышах домов прорастала нежная зеленая травка, даже маки иногда поднимались — в ту пору на крышах царствовала детвора: мальчишки запускали змеев, девочки играли б мячики, сваленные из шерсти. Когда устанавливалась теплынь, надо было ставить лицом к степи дозоры за одной из речек, на верхушке небольшой горы, так и прозванной Караул-тепе, «гора сторожевая башня». Под присмотром дозорных все мужчины Карнака, и стар, и млад, выходили на пахоту, сеяли ячмень и пшеницу, работали в садах и виноградниках. Но вот наливались первые, еще зеленые, плоды урючин, и в степи начиналась пора гуляний, праздничная пора. Молодые мужчины и женщины, а тем более девушки и юноши, как все радовались этим веселым дням!

Утро черного дня, когда налетели враги, похитившие любимую сестру Каландара, было утром такого именно праздника.

Каландару тогда исполнилось шестнадцать лет. Сильный, ладно скроенный, видный собой, он уже разжег костер в сердце не одной карнакской девушки.

В тот день отец ушел вместе с погонщиками верблюдов на базар в Ясси, а Каландар впряг в плетеную арбу лошадь — и сейчас доносится белая отметина на ее лбу, — усадил в повозку мать, сестру, соседских девушек и покатыл в сады на гулянье; а сады находились по ту сторону сая, около окруженного карагачами[62] кладбища. Рукава засучены выше локтя, в распахнутой рубашке, подставив оголенную грудь утреннему ветру, лихо сдвинув набок тюбетейку, Каландар не ехал — летел, словно на крыльях, потому что среди девушек рядом с его сестрой была, тоже шестнадцатилетняя, красавица, чей образ не давал ему тогда покоя. Девушка эта в красной косынке на голове, в красном домотканом платье, которое очень шло ей, изредка посматривала на Каландара, что беспечно поигрывал ивовым прутиком, подгоняя и без того резвую лошадку. И Каландар в свою очередь посматривал украдкой на девушку, и, когда их взгляды ненароком встречались, большие пугливые глаза девушки делались еще больше, она отводила взгляд, заливалась кумачовым румянцем, а подруги громко хохотали, и начинались безобидные, веселые шутки, подтрунивания, шалости.

Целый день был тогда Каландар в каком-то легком, парящем настроении. Ему нравилось видеть сквозь зелень листвы мельканье синих, красных, желтых девичьих платков — как только они приехали в сады, девушки бусинками рассыпались по поляне, будто маки и тюльпаны украсили зеленую лужайку. Каландару нравилось разводиться огонь для варки праздничных угощений, таскать женщинам-хозяйкам воду из сая, лазить по деревьям за еще незрелыми, но вкусными плодами, чтобы угостить детей и девушек. А больше всего нравилось ему, что в саду рядом с ним соседская девушка, лучше, красивей всех других. Она то и дело обращалась к Каландару, и не было ничего приятнее, чем принести воду ей, приготовить хворост для ее костерка, навстречу ее рукам и губам наклонить ветку урючины, и даже то было приятно, что, стоило Каландару подойти поближе, она отпрыгивала, словно серна, исчезала в зарослях, и поди-ка поймай ее там!

Весенний день пролетел быстро. Засобирались обратно. Молодые женщины и девушки нарвали

мяты, набрали в платки урюку, простоволосые, с вплетенными в волосы розовыми, сиреневыми, синими степными цветами, они казались еще красивей, чем прежде.

Ехали обратно, как водится, под песни, то задумчивые, то весело-озорные.

Немного успели спеть песен! Не доехав до речки, услышали, как гром с неба, крики караульных: «Эй, люди, спасайтесь! Враг, враг!»

А потом все потонуло в грохоте копыт.

Каландар нещадно стегал лошадь, арба гремела. Обернувшись, юноша увидел, как со стороны Караул-тепе выплеснулась темная конная лава. Сотня всадников, завывая, размахивая кривыми саблями и булавами, вскинутыми наголо, покатились вниз. Наперерез кинулись свои джигиты, но то была горсточка! Лава захлестнула их, поглотила, и вот уже первый терзающий душу женский крик, первый отчаянный детский вопль прозвучали на всю окрестность.

Каландар бросил поводья сестре. Чей-то привязанный конь в зарослях у самой речки бил копытом землю, чуя шум недалекой схватки. Одним прыжком Каландар взлетел на скакуна, веревка лопнула, конь взвился на дыбы. Каландар нагнал арбу — там была булава — и, не обращая внимания на крики девушек и громкое причитание матери, повернул коня навстречу врагам.

Их много тогда налетело на него, человек десять. Они были одеты в удобные для боя шерстяные темные чекмени, войлочные тельпеки закрывали их головы, рты раздирал воинственный крик: «Враг бежит, враг бежит!!» Но Каландар не бежал.

Первым перед ним оказался здоровенный — не лицо, подушка! — степняк, яростно кричавший: «Враг бежит!» Лошади сшиблись, бешено заржали. На какую-то долю мига Каландар опередил вражеского воина с ударом — тот вывалился из седла, будто сбитый с головы тельпек. Успел свалить Каландар и второго всадника, но тут и по его голове пришелся удар булавой. Закрывая руками лицо, Каландар пал с лошади, искры посыпались из глаз, и то, что увидел он перед тем, как потерять сознание, был конь, окруженный вражескими всадниками и увлекаемый от места схватки. Через какое-то время Каландар пришел в себя. Показалось ли ему, или так было на самом деле, он не знает до сих пор, но он увидел, как мимо него промчались враги с перекинутыми через седла, звавшими на помощь девушками — сестрой и соседкой!

Почему, почему тогда он не умер?

Сколько тяжелых ударов судьбы пришлось на его долю и позже, сколько мытарств, тягот и унижений!

Неделю спустя после того стремительного кипчакского набега Каландар, еще не вполне оправясь от ранения, участвовал вместе с другими молодыми джигитами из родного кишлака уже в большой битве против степняков. Джигиты Карнака сражались как тигры, но судьба была немилостива к ним, да и силы врага намного превосходили их собственные. Там, в бою, недалеко от города Ясси, погиб отец Каландара, а сам он снова был тяжело ранен; спасли товарищи, сумевшие вытащить его из сечи, окровавленного, беспмятного.

С тех пор и началась его жизнь скитальца. Бесприютный чужак! Никогда не чувствовал он так остро смысл этих жестоких слов, как ныне. И вправду, что держит его теперь здесь? Хуршида-бану? Это луч, который уже погас для него, звезда, которая закатилась. Завет, оставленный Улугбеком и Али Кушчи? Но это ведь не к нему, не к Каландару, обращен завет, и все, чем он мог помочь мавляне, все это он сделал... Да, надо подаваться в родные края. Пора! Ни землякам своим, ни себе не отыскал он

здесь пользы, а зажечь светильник у могилы родителей, чтоб возрадовался дух отца и успокоился дух матери, его долг: не смог исполнить сыновний долг, когда родители были живы, исполни хотя бы после их смерти. И торопись с исполнением!

Утром за скромной трапезой Каландар раскрыл свои намерения старому кузнецу.

Уста Тимур Самарканди долго молчал. Рука его то сжимала желтоватую, продымленную кузнечным жаром и чилимом бороду, то бесцельно гладила латаную-перелатаную шапку из бараньего меха.

Узкий сноп лучей падал сквозь отверстие сверху на морщинистое и землистое лицо старика, на высокий, в блестящих капельках пота лоб, на плотно сжатые губы, и грустным, очень грустным было это лицо.

— Каландар, сын мой, — сказал наконец старый мастер. — Когда ты впервые появился в этой неуютной лачуге, в бедной моей пещере, я обрадовался, очень обрадовался. Не было у меня сына, думал я, так вот бог наделил сыном меня, бедного, всеми забытого раба. Я радовался, что появился человек, который побеспокоится, чтоб над телом моим прочитали святой Коран, который затеплит свечу над моей могилой... Ну а теперь не знаю даже, что сказать тебе, сынок, в ответ на услышанное от тебя... Не знаю... А неволить тебя не смею.

Не знал и Каландар, что сказать старому мастеру, но чувствовал, что слова Уста Тимура, будто острые иглы, колют сердце. Но одно утешение старику может он все же высказать:

— Отец, могила ваша не останется без светильника, а душа без молитвы близкого человека. В Самарканде нет того, кто не знал бы, не почитал бы вас. Любой ремесленник... А Калкан-бек с Басканбеком?... А мавляна Али Кушчи?

— Слава аллаху, сынок, слава аллаху, кое-кто помнит еще обо мне, — подхватил Уста Тимур. — Не чтобы разжалобить тебя, говорю, и не для того, чтоб мешать тому, что ты задумал. Мои слова — моя любовь к тебе, Каландар... Тимур Самарканди хорошо знает, какво бывает человеку на чужбине. Недаром считают: лучше у себя на родине быть чабаном, чем на чужбине султаном... Сыновнее почитание — святое дело и для молодого и для зрелого человека. Ты хочешь вернуться домой, хочепи порадовать дух родителей своих. Дай-то бог осуществить тебе эту цель... А путь тебе дальний и опасный. Что нужно, чем я могу помочь, скажи. Здесь, — старик показал на жилище, — все твое, если тебе что-то нужно. И скажи мавляне — пусть даст золота...

— Золота? Нет, отец, золота не нужно такому, как я. Вы сами не раз говорили: о доле бедного печется сам всевышний... Будет у меня хлеб в дорогу дня на два, ну, и соли — вот мне и хватит. Да и степь наша не голая, не пустая — и людей, и городов, и сел немало. С мавляной Али Кушчи я, конечно, попрощаюсь, но золота... мне золота не нужно.

Уста Тимур погладил колено Каландара твердой и широкой, как кетмень[63], ладонью, усмехнулся грустно.

— Эх-хе-хе, молодо-зелено... ты джигит, и сердце твое чисто, знаю. Но что же делать, коли этот желтый металл тоже нужен в жизни? И как еще нужен!.. Кому-то золото приносит беду, знаю, но, бывает, и почет, и уважение... Так что и джигиту нелишне золото. Знаю про это больше тебя. Что знает старик, того и ангел не ведает!.. А стесняешься, так я сам скажу мавляне Али.

Отъезду Каландара в тот раз не дано было, однако, осуществиться.

Он собирался выйти из пещеры поздним вечером, когда утихнут улицы, когда меньше вероятия встретить какого-нибудь нежелательного путника. Каландар хотел направиться к обсерватории,

проникнуть в нее через уже известный подземный ход, попрощаться с Али Кушчи и вернуться тем же ходом к условленному месту, где ждали бы его братья Калканбек и Басканбек с конем. Уложены были в одну из переметных сум хлеб, соль, перец, толокно, в другую одежда и мелкая посуда, деревянная ложка, столь необходимые страннику; спрятан в надежном месте, но так, чтоб легко мог оказаться под рукой в случае нужды, добрый кинжал, сделанный самим Уста Тимуром и подаренный на дорогу, «отбиться от лихого налетчика»; надел Каландар теплый чекмень, нахлобучил черный, бараньей шерсти тельпек — все это Уста Тимур принес откуда-то еще днем, — а выходить все медлил, все прислушивался за дверью к людским шагам на площади, к шуму, к звукам, которые не затихали там до позднего часа. Наконец Каландар решился, да и пора было — за полночь.

Перетянулся поясом, вскинул на плечи хурджун. Подошел Уста Тимур, держа маленький светильник с горящим маслом. Приткнул светильник — куда-то в нишу в стене, обнял Каландара, поцеловал в лоб. И только поднял к лицу темные свои ладони старый мастер, чтобы сотворить молитву за благополучие в путешествии, в дверь тихо, но внятно постучали.

Каландар бесшумно отскочил в тень. Уста Тимур вновь взял в руку светильник и неторопливо пошел к выходу.

— Кто там не дает людям спать по ночам? — нарочито грубо спросил он, не поднимая засова.

— Прошу простить, Уста, это я, Мирам Чалаби.

— Кто-кто? Какой Мирам? — Старик повернулся к Каландару. Тот, скинув с плеч хурджун, одним прыжком пересек входной коридорчик.

— Отец! Это ученик мавляны... Разрешите, я сам открою!

Мирам, бледный, босой, без шапки, был похож на нищего с самаркандского базара. Слышно было, как он всхлипывает в темноте.

— Что, что случилось? — вскрикнул Каландар, уже чувствуя, что случилось что-то страшное.

— Учитель... учителя... в зиндан...

— Когда?!

Каландар выяснил, что вчера после вечерней молитвы — хуфтан в обсерваторию ворвалась четверка нукеров, перевернула там все вверх дном, а потом увела мавляну Али Кушчи. Матушка мавляны была при этом, она кричала, плакала, рвалась к сыну, бедняжка, а после того как увели мавляну, упала в обморок, и потому он, Мирам, не мог сразу же сообщить Каландару о случившемся: надо было посидеть со старушкой, хоть немного ее успокоить...

— Куда увели мавляну, узнал?

Мирам Чалаби кивнул. Еле слышно сказал:

— Узнал... В темницу Кок-сарая...

Светильник в руке Уста Тимура дрогнул.

«Что же делать? Как быть теперь?»

Вид у Каландара был решительный, грозный даже, но на самом деле дервиш был растерян. Понятно, что с отъездом придется повременить. Повременить? Да посмеет ли он вообще уехать, пока не решится, пока останется неясной судьба мавляны?

Каландар отер пот со лба; ему опять вдруг представилась сестра, сидящая у родительской могилы, ее жалобные причитания — только не по их собственным родителям, а почему-то по матушке мавляны — Тиллябиби.

Каландар посмотрел на Уста Тимура: старый кузнец стоял, беспомощно прислонившись к стене, смежив веки.

— Чего искали нукеры? Книги, что ли?

— И книги... И золото... Кричали, будто в обсерватории спрятано золото...

«Это мавляна Мухиддин! Он, он раскрыл тайну! Жалкий доносчик! Не ученый муж, а презренный изменник!»

Каландар, будто устав, тоже прислонился к стене.

«Что же делать?.. Надо остаться... Остаться... Но смогу ли я чем-нибудь помочь наставнику?.. Так что ж, уехать, потому что не можешь помочь? Это бесчестно... Вот их тоже, этого мальчика и этого растерявшегося старика... ведь их тоже нельзя оставить сейчас...»

— Каландар, сын мой, этот талиб совсем замерз, — сказал старый мастер, — надо бы напоить его чаем.

— Да, да, сейчас...

«Нужно пойти к мавляне Мухиддину, схватить этого труса за горло, пусть он откажется от своего доноса!»

Планы, один другого смелей и отчаянней, роились в голове Каландара, пока он разжигал огонь, готовил чай.

В ту калитку... ту, садовую, откуда он проникал в сад, подходил к окошку Хуршиды-бану... Он пройдет через сад, проникнет из сада в гостиную мавляны Мухиддина... Ему бы только остаться с мавляной лицом к лицу, один на один, уж тогда он найдет, что сказать этому слезливому предателю... Да, да, надо сразу же, немедля идти туда, в покои богача ювелира, надо брать их за горло, этих изменников, корыстолюбцев... Заставить мавляну Мухиддина отказаться от навета на Али Кушчи, иначе жизнь учителя повиснет на волоске и так легко будет оборвать этот волосок, так легко!

7

Хуршида-бану сидела в своей тихой комнатке и вышивала бархатный занавес. Но дело двигалось медленно, запасы ниток, узоры которых так красиво выглядят на темно-синем самаркандском бархате, почти не уменьшались: молодая женщина не столько работала, сколько прислушивалась к тому, что происходит на дворе.

А там раздавались настойчивые, повторяющиеся звуки шагов. Не чинные то были шаги отца, мавляны Мухиддина, а нервные, быстрые, сопровождаемые постукиванием трости шаги дедушки, хаджи Салахиддина. Да и не было дома отца. Недавно, после вечерней молитвы, его увели.

Нагрянули нукеры из Кок-сарая и увели с собой куда-то. И деду не сидится на месте, он все ходит и ходит по двору, выглядывает то и дело за калитку и опять возвращается, громко стуча кавушами и тростью.

Каждый раз, когда дед выходил на улицу, сердце Хуршиды замирало, игла начинала особенно заметно дрожать в пальцах — не появятся ли снова эти грубые нукеры, не загремят ли опять бесцеремонно и нагло по дорожкам двора подкованные их сапоги. А их окрики, их резкие приказы! И отец, согнувшийся в низком поклоне, жалкий, дрожащий словно осиновый лист...

То, что произошло совсем недавно, напомнило ей другое событие, весной. Тогда тоже ворвались к ним в дом нукеры, тоже стучали сапоги.

Три месяца минуло после свадьбы. Хуршида, похоронив надежду на возможность счастья с Каландаром, начала привыкать к мужу, нелюбимому, но, что ж делать, посланному богом хозяину своему, тому, кто кормил и одевал ее и кому она, чего нельзя было не почувствовать, нравилась. Однажды вечером муж пришел из Кок-сарая, где служил в какой-то канцелярии, бледный, объятый тревогой. И страх и страдание читались в его глазах. Он подошел к Хуршиде, сидевшей и в тот раз за вышиванием, поднял с места, долго и пристально вглядывался в ее лицо. Впервые видела его таким Хуршида. Подавшись назад, беспокойно спросила:

— Что случилось, господин мой?

Мирза не ответил. Притянул ее к себе, прижал, стал целовать лицо, глаза, руки, шею, но были это не поцелуи любви или вожделения, а все та же непонятная ей и почти уже безумная тревога. Задыхаясь, он оторвался от нее и вдруг стал резко, отрывисто приказывать:

— Быстро... Тотчас собери свои пожитки! А в шкатулку драгоценности!.. И потеплей оденься!.. Мы отправляемся далеко, далеко!.. побыстрее! Спешу, спешу! — И выбежал из комнаты.

Хуршида заметалась среди сундуков с платьями и дорожной одеждой, шкатулок, где во множестве хранились украшения, натянула кабульские сапожки, повязала голову белым теплым платком из верблюжьей шерсти, собрала в небольшую шкатулку особенно дорогие вещицы.

В доме тем временем началась какая-то суматоха: слышались пугающие покрикивания, хлопали двери.

Приближались сумерки, и печально-высокий голос муэдзина — призыв к молитве — донесся от ближайшей мечети, но не до молитвы было в темном, без единого огонька доме мужа, только в комнате Хуршиды горели свечи.

Муж вбежал уже в лисьем малахае, в шубе, наброшенной на плечи, с нацепленной на бок саблей. Хуршида тоже была почти готова. Мирза снова кинулся к ней, стал целовать щеки, глаза, бормоча бессвязно, безумно:

— Зачем... зачем аллах подарил тебе такую красоту?!

И застыл на месте.

С внешнего, большого двора слышались шум, крики, звон оружия; вихрь этих звуков стремительно пронесся по двору внутреннему; грохнули двери дома; громко заплакали дети, заголосили женщины, зачертыхались грубые мужские басы. Мирза кинулся к дверям, ведущим в их комнату, судорожными движениями стал накидывать цепочку на штырь — руки дрожали, не слушались его. Грохот сапог раздался совсем близко. Кто-то сильно ударил ногой в дверь. Мимо головы Хуршиды-бану пролетел кусок разорвавшейся дверной цепочки и, жалобно звякнув, ударился о большое серебряное блюдо в нише.

Словно черный смерч, ворвались в комнату воины. Мирза выхватил саблю из Ножен, но тут же был сбит с ног, несколько геловек упали на него. Вырвали оружие, стали бить, мять, омасть извивавшееся на полу тело. Остальные набросились на Куршиду. Ей заломили назад руки, накинули на голову какое-то темное душное покрывало и, спеленутую, подхватили, подняли, понесли куда-то. Хуршида еще некоторое время отбивалась, выпростала на миг голову из-под покрывала, успев заметить, как мужу, брошенному лицом вниз на пол, связывают на спине кисти вывернутых рук тонким ремнем, а потом сознание покинуло ее.

Хуршида пришла в себя уже в Кок-сараяе.

Она лежала на ложе из мягких шелковых одеял; сводчатый потолок, казалось, нависал прямо над запрокинутой головой; вокруг по ярко освещенной зале бегали, суетились молодые женщины, все в многочисленных, нежно позванивавших украшениях, бусах, браслетах. Они подносили к ее носу какие-то хрустальные флакончики, откуда пахло остро и терпко, терли лоб и щеки прохладной цветочной водой. Когда Хуршида-бану полностью осознала, где она, к ней явилась и госпожа гарема. Хуршиду чуть ли не силой заставили выпить пиалу вина, потом повели в баню.

В ту же страшную ночь к ней пришел Абдул-Азиз.

До сих пор Хуршида-бану, если вспомнит горящие вожелением глаза шах-заде, его лицо, искаженное нервным тиком, его нескладное, длинное, малосильное тело, чувствует, как к горлу подкатывает тошнота...

Смахнув слезу с кончиков ресниц, Хуршида опять прислушалась к шагам во дворе. Но что это? Какой-то стук явственно донесся до ее слуха вроде бы с другой стороны. Будто кто-то постучал в окно, выходящее в сад?

Замирая от страха, Хуршида посмотрела на старую служанку, безмятежно спящую в углу комнаты: ждала-ждала, бедная, мавляну Мухиддина, который сказал, что скоро, мол, вернется, и не выдержала — заснула.

Хуршида на цыпочках подошла к занавешенному окошку.

Вот еще раз постучали. Так стучал когда-то Каландар, только он! Неужели?.. Что могло понадобиться дервишу Каландару?.. Хуршида оглянулась: старушка мирно спала, свернувшись в клубок, ровно ребенок... «Нет, это мне почудилось», — сказала сама себе Хуршида-бану, вдруг почувствовав острое разочарование, вспомнив сразу и то, как стучал когда-то Каландар в это оконце, и свою последнюю встречу с ним, у ворот; слезы снова навернулись на глаза. «Три раза подряд... небольшие перерывы... Так он стучал... А сейчас почудилось... Видно, это ветер... А в последний раз...»

Вот уж не думала она, что встретит Каландара в дервишеском рубище у ворот мужниного дома, хотя и слышала о том, что влюбленный в нее молодой мударрис оставил медресе и заботы грешного мира сего. Встретив Каландара, заросшего волосами, в ветхих лохмотьях, в старом-престаром треухе, она испытала тогда и острую боль, и жалость, и даже испуг. Она сама не знает, зачем захотела остановить Каландара, зачем вскрикнула «господин мой!» и как нашлась с этим объяснением про дурной сон. Муж ничего не заподозрил, кроме желания воздать нищему за нищету. В ту ночь нетерпеливые ласки мирзы, его, как обычно, жадные поцелуи были для нее, словно горькая отравка. Муж скоро заснул, а Хуршида неслышно проплакала целую ночь, и все грезился ей Каландар — и тот, в рубище, но с глазами, жарко вспыхнувшими при ее возгласе «господин мой!», и прежний Каландар, поэт Каландар, читавший ей стихи, робевший обнять ее в те счастливые минуты, когда они оставались одни в доме.

Счастье, счастье, где оно теперь, ее счастье, и возможно ли оно вообще?

Но что это? Опять стук! Опять... Раз, два... три!..

А старая спит... Раньше она первой выходила узнать, кто пришел, не Каландар ли, а уж тогда и Хуршида летела на свидание... Еще раз постучали, и опять трижды: стук и маленький перерыв, стук и маленький перерыв.

Хуршида-бану торопливо повязала пуховым платком голову, накинула душегрейку, сунула ноги в

изящные кабульские кавуши[64]. Тихо выскользнула из комнаты, потом из дома, миновала огромный, как в самом Кок-сараяе, двор, еще освещаемый в поздний час каменными фонарями, и остановилась, тяжело дыша, перед калиткой в сад... Прислушалась. Всюду тихо, а из комнаты дедушки еле сочился тусклый свет, видно, уйдя в воспоминания, Хуршида и не услышала, как Салахиддин-заргар вернулся в дом и заперся у себя.

Женщина осторожно сняла цепочку и отворила калитку.

Никого! И дальше, у окошка ее комнаты со стороны сада — тоже никого. С замирающим сердцем двинулась она ведомой когда-то тропинкой к орешине. Вдруг там, у дерева, словно ветка хрустнула. Хуршида остановилась, вгляделась в темное пятно под деревом. Едва различила фигуру человека с треугольным колпаком на голове... Он! Каландар!

Вмиг обессилев, Хуршида схватилась за ветви тальника у арыка... Тень под орешинной шевельнулась, замельтешила в путанице ветвей.

— Не бойтесь, матушка, это я, дервиш Каландар, — донесся шепот. — Хуршида-бану?! Это вы, госпожа?

Хуршида несмело подошла к орешине, все еще не глядя на Каландара. Зачем-то разгребла накиданные у корней сухие ветки. Искося посмотрела на стоящего рядом. Дервиш повернулся спиной к свету неполной луны, и потому, наверное, могучая фигура его и заросшее бородой лицо казались мрачными, отпугивающе темными. Нет, непохоже это замкнутое, нахмуренное лицо на светлое ласково-печальное лицо прежнего Каландара. Только глаза были знакомые. Как будто излучали свет.

— Простите меня, госпожа. — Каландар смущенно кашлянул. — У меня к отцу вашему... к мавляне Мухиддину... небольшое дельце... Нельзя ли позвать его?

И голос был другим — чужой голос, незнакомый.

— Его... его нет дома. — Теплый комочек слез подкатил к горлу. — Его увели в Кок-сарай... Нукеры приходили за ним.

— Нукеры? Когда?

— После вечерней молитвы... Четверо нукеров, — зачем-то добавила она.

А вот ее лицо для Каландара совсем не изменилось. Или в том виноват был лунный свет, что лился сквозь ветви старой орешины? Удлиненный овал, высокий чистый лоб, опущенные густыми ресницами глаза доверчиво и кротко смотрят из-под темных бровей, и все так же нежны губы, все те же маленькие ямочки по краям, чуть сверху, над концами губ... Нет, что-то все-таки изменилось в ней. Похудела, стала еще тоньше, стройнее.

Пристальный взгляд дервиша смущал Хуршиду-бану, она отвернулась.

Будто грустный напев звенел в душе Каландара, напев, который звенел в нем прежде, когда он встречался с девушкой наедине, думал о возможном счастье. Положив подбородок на сплетенные кисти рук, краснея и восторгаясь, слушала Хуршида его стихи, и эта ее поза, и стыдливая тяга ее к нему вызывали в душе Каландара ласково-грустный напев любви, более упоительный для него, пожалуй, чем призыв горячей, жаркой страсти.

«Не надо огорчать ее. Она ни в чем не виновата».

— Не бойтесь, госпожа, за отца. С ним ничего не случится!

— Да сбудутся ваши слова, — прошептала, все еще не глядя на него, Хуршида-бану. — Время уж за

полночь, а о нем нет вестей...

— Уверяю: ни один волосок не падет с его головы!

Хуршида уловила что-то такое в голосе Каландара, что заставило ее наконец посмотреть ему в лицо.

— Откуда вам знать?

— Я знаю, госпожа. Знаю! Потому что...

Ясные глаза смотрели на него, блестя то ли от слез, то ли от лунного света. «Не надо огорчать ее.

Она ведь ни в чем не виновата. Зачем ранить ее сердце еще и вестью о черной измене отца?»

— Что ж вы замолчали?

— Потому что... будет лучше, госпожа, если вы не будете знать об этом...

— Почему же?

— Потому что... то; что знаю я, вам не надо знать... Это причинит вам боль...

— Но зачем же вы начали говорить, если знали, что это причинит мне боль? — Хуршида-бану протянула руку и положила ее на согнутую в локте руку Каландара. — Говорите же, прошу, говорите, пусть даже меч занесен над моей головой!

Каландар опустил голову, он понял, что, промолчав, больше обидит, сильнее ранит ее сердце, чем сказав то, о чем решил было не говорить.

— Простите, Хуршида-бану, я очень, очень виноват перед вами...

— Не надо ворошить прошлое. Я не в обиде на вас. Все от аллаха...

— От аллаха! — Каландар рванул ворот рубахи, крепко потер шею, грудь. — От аллаха? Почему я не послушался вас, не согласился бежать с вами в свой край? Или почему не умер до встречи с вами где-нибудь в степи, раненный врагами в бою?.. Вот уж сколько месяцев терзаюсь я этим, Хуршида-бану... госпожа моя!

Хуршида промолчала: обиды оскорбленного сердца забылись, а сочувствие и тяга к Каландару и понимание того, что уже ничего не исправишь, все это разом нахлынуло на нее. Он каялся в своей вине перед ней, он излил свою печаль, и сострадание к нему было в ней сильнее всех прочих чувств. И она испугалась вдруг этого нахлынувшего чувства больше даже, чем загадки появления Каландара здесь. Испугалась, что не выдержит — сейчас зарыдает.

— Так что же все-таки вы скрываете от меня? — переспросила Хуршида-бану. — Говорите же! Не бойтесь за меня: чему быть — того не миновать!

Каландар все еще медлил.

— Госпожа моя... Известно ли вам, что Мирза — Улугбек казнен?

— Когда? — Хуршида испуганно отшатнулась.

— Уже неделю назад... И пал он от рук убийц, по воле собственного сына, шах-заде Абдул-Латифа. «О создатель...» Хуршида-бану закрыла глаза, зашептала молитву. Мгновенно вспомнилось: гарем в Кок-сараяе, Мирза Улугбек за тонкой шелковой занавесью, приглушенно-печальный голос: «Я наказал вашего оскорбителя... Что случилось, того не поправишь... Ваша воля, оставаться в гареме или вернуться в свой дом». И, когда она сказала, что просит разрешить ей вернуться, Мирза Улугбек опять извинился перед нею, передал привет отцу, а потом с непонятной ей грустью добавил: «Вы еще молоды... и прекрасны, дочь моя. Да ниспошлет вам всевышний счастье, воздав за страдания». И снова добавил: «Дочь моя...»

Дочь моя...

Хуршида облизнула сухие губы.

— Это ли не конец света, если сын предаст смерти своего отца! Как это... мерзко и страшно!

— Да, и страшно, и мерзко... Сыновья — исчадия мрака. Но отец их, устод, поверьте, госпожа моя, словно яркое солнце, лучи мудрости его просвещали не одних мужчин, но и женщин...

— Истинно так, истинно, — прошептала Хуршида-бану.

— Устод Мирза Улугбек, желая сохранить сокровища, накопленные им за сорок лет...

— Сокровища?

— Да, сокровища науки — редкие книги, рукописи... вам, наверное, приходилось их видеть, госпожа?

— Приходилось... Я однажды даже переписала трактат повелителя...

— Так вот, за неделю до всего, что произошло... за неделю до... смерти своей он поручил судьбу этого сокровища мавляне Али Кушчи. Тот же, зная о возможных опасностях, принял меры предосторожности, и об этих мерах осведомлены были в столице всего три человека.

— И один из них... мой отец? — догадалась Хуршида. — И вы опасаетесь теперь, что отец выдаст тайну?

— У меня есть основания для таких опасений...

— Нет, нет! — испуганно воскликнула Хуршида-бану. — Он не свершит такой низости!

— И все же я хотел бы поговорить с мавляной об этом деле...

— Но я же сказала, что он... что его... Вы говорите, что отец вернется из Кок-сарая целым и невредимым...

— Да будет так!

— Если он вернется, я сама поговорю с ним. Я сама!

— Тогда... Позвольте слуге вашему навестить сюда завтра!

Ответа на этот вопрос он не получил.

— Мне нельзя не прийти. Мне нельзя не поговорить с вашим отцом. Потому что не только сокровища знаний, но и... жизнь мавляны Али Кушчи в руках вашего родителя!

— Я поговорю с ним, — снова сказала женщина, но в голосе ее уже не было прежней уверенности...

Каландар не в силах был уйти. Ему хотелось взять ее руку, прижать эту нежную, беспомощную руку к губам, хотелось упасть на колени перед Хуршидой-бану и говорить о любви, о пожаре, который все эти месяцы бушевал в его груди, и молить, молить о прощении. Но она же сказала: «Я не в обиде на вас... Все от аллаха».

«Как странно и жестоко устроена жизнь... Кажется, ничем не обделил творец Хуршиду-бану. Все есть — и красота, и богатство, и знатное имя. А вот малого нет — счастья! Обыкновенного, человеческого, женского счастья...»

Молчание затягивалось. Это почувствовала и Хуршида. Мягко сказала:

— До свидания, и да хранит вас аллах...

— До свидания, госпожа.

Она слышала, как шуршали под его ногами листья, пока дошел он до края оврага в самом конце сада. Тогда и она побрела обратно, домой. Сникшая, обессиленная, постояла у калитки. Прижалась лбом к холодной глине дувала, заплакала, сначала без слез, а потом наконец облегчающе обильными слезами.

О подвальных темницах Кок-сарая ходили легенды одна ужасней другой.

Но темница, куда привели Али Кушчи, ничем не походила, к его удивлению, на тесный и мрачный колодец, которым пугали воображение рассказчики легенд. Довольно сносная клетушка, ширина — две трети длины; по крайней мере, поначалу ему показалось, что «устроили» его даже просторно. Ощупывая ладонями стены, неровные, бугристые, он обошел комнату. Ладно, роптать ему нечего. Самое плохое в том, что темница примыкала к дворцовой конюшне, откуда и сквозь каменные стены проникало трудно выносимое зловоние. А вот солнечного тепла эти стены не пропускали, так что было здесь и сыро, и очень холодно. Но что же сделаешь? Ведь его не на торжественный совет к устоду позвали в Кок-сарай, не на вечернее пиршество, не для занимательных и поучительных бесед в кругу поэтов и мудрецов — его привезли совсем в другое место и с совсем иной целью. Как было прежде, при Мирзе Улугбеке, так уже не будет... Один создатель знает, когда Али Кушчи выпустят из этой тесной кельи, да и выпустят ли вообще. Уйдет ли он живым отсюда или нет, а спасение было теперь одно, выход один — запастись терпением, терпением и терпением.

Терпением и выдержкой!..

Но выдержку обрести непросто. Как ни старался Али Кушчи унять себя, он уже томился здесь, томился, словно птица в клетке, он то и дело ловил себя на том, что нетерпеливо расхаживает из угла в угол, бесцельно растрачивая силы. В темноте он спотыкался, иногда ударяясь о стену то плечом, то даже лбом. Не один раз он зачем-то ощупывал массивную дверь, открыть которую можно было только извне; ему казалось, что в комнате не хватает воздуха и что он вот-вот задохнется. Потом он приходил в себя, замедлял шаги, призывал на помощь разум, убеждая себя, что необходимо терпение, терпение, терпение, что нет ничего другого, кроме терпения, а через минуту-другую вновь беготня по камере, вновь муки бесплодных метаний. Наконец силы оставили его и он прилег на ветхую циновку, брошенную в угол.

И сразу же вспомнилась мать.

Вчера вечером Тиллябиби опять пришла к сыну в обсерваторию. От самого Ак-сарая, Белого дворца, что недалеко от Гур-Эмира, шла. И принесла любимое кушанье Али — плов с горохом. Он велел Ми раму Чалаби разжечь очаг, сам расстелил одеяла для того, чтоб матери удобнее было сидеть. Потом все втроем они расположились вокруг сандала[65], расстелили дастархан. Комнату заполнил ароматный запах плова, чуть посыпанного черным перцем и другими приправами. А потом... потом четверо нукеров... грубые их приказы одеваться, не мешкать, ничего с собой не брать, долго не прощаться! И враз обессилевшая, оцепеневшая мать... Откуда вдруг взялись у нее силы: она вскочила, метнулась к сыну, задержавшемуся у порога, обняла его, крепко обхватила за шею, вцепилась — не оторвать!

Вспомнив ее объятия, беззвучные рыдания ее, слезы, что залили морщинистое лицо, Али Кушчи сжал кулаки и тихо застонал. Закрыв глаза, он долго сидел, не шелохнувшись, в углу своей, да, теперь своей темницы...

Терзаться так было нельзя. Бессмысленно, неразумно растравлять раны. Суетливость — сейчас самый опасный его враг.

«И чего ты мечешься, Али? — вновь стал уговаривать себя мавляна. — Если ты страшишься зиндана, то зачем принял поручение устода, опасное поручение?»

Раз взялся за опасное дело по доброй воле, по велению разума и совести, раз ему нужно было во имя науки, во имя света разума сохранить для потомков сокровища Улугбека, пусть хоть один луч из лучезарного богатства, то... то чего же сейчас дрожать?»

Ну вот, он уже может и подтрунивать над собой:

«О ученейший мавляна, мудрейший из мудрых! А ведомо ли вам, что темница, где вы столь свободно передвигаетесь, где вы обладаете собственным ложем, есть всего лишь начало тех прелестей, кои ждут вас в дальнейшем? Кто, кроме всевышнего, знает, досточтимый Али, что еще придется вытерпеть тебе? Может, тот самый меч, которым обезглавлен был благословенный устод, разлучит твое прекрасное тело с твоей мудрейшей головой, или, быть может, ты останешься жить... в этом или каком-нибудь другом, более удобном каменном мешке, сыром и темном, словно могила. Останешься жить, но с этой поры никогда уже не увидишь бескрайнего простора неба, мигающих в ночи далеких звезд... Останешься жить, но не обнимешь больше ни друзей, ни родных, ни матери!.. Да, ты испытываешь все, что тебе суждено испытать!»

Опять прилив горечи поднял было его с циновки, но на сей раз он заставил себя остаться на месте.

«Терпение, терпение, дорогой мой Али!.. Прошел ведь всего один день заточения, один, а сколько их еще впереди!.. Что ж с тобой будет, мудрейший из мудрых, если ты не наберешься терпения на годы, на годы!.. О нет! Если на годы, то молю, создатель, забери бедного раба своего сейчас, чем лишать его счастья видеть небо и звезды, проникать разумом, что ты дал ему, в их удивительные тайны!»

Али Кушчи явственно представились обсерватория, фигура учителя за работой, и будто стало светлее в узилище.

Усталость, вызванная государственными заботами, тоска, томившая сердце — все отступало, уходило прочь, когда устод приходил в обсерваторию. Он забывал обо всем, работал самозабвенно, обычно до рассвета. Иногда же, отрываясь от научных занятий, от наблюдений, брал в руки любимый танбур[66]. Устод был настоящий виртуоз в игре на танбуре, тонкий мастер. Надев на указательный палец золотой медиатр[67], Улугбек начинал слегка тревожить, пощипывать струны, и человек, слушающий этот разговор струн, вдруг замечал, как овладевает им светлая, тихая, будто осеннее солнце, печаль, как сжимается горло от внезапно подступивших слез, но слезы эти не разъедали душу, а, наоборот, смывали тоску и грусть, и хотелось под эту неизъяснимую печальную мелодию, творимую устодом, как же хотелось быть лучше, быть чище и добрей, чем ты есть.

Устод и сам не стеснялся слез, он вытирал влажные глаза и говорил, откладывая танбур в сторону: — Удивительная сила в музыке... Часто я раскаиваюсь, что пришел в сей мир, часто соглашаюсь с теми горькими мыслями, что столь хорошо выражал достославный Омар Хайям:

Откуда мы пришли? Куда свой путь вершим?

Бегущей жизни смысл, увы, непостижим!

Но стоит услышать хоть однажды «Чоргох», и чувствую я, как исчезают эти мысли, чувствую себя чистым, словно ребенок, и хочется жить. Али, так хочется жить! Разве не счастье, сын мой, Али, услышать одну только эту мелодию? Да, истинно велик разум человека, если благодаря ему человек способен создать такую красоту.

Али Кушчи ощутил вдруг зуд в ногах. Снял ичиги, ощупал изнутри голенище, провел рукой по циновке и брезгливо отдернул ладонь: так и есть, к сырости пола, затхлости воздуха добавились теперь еще насекомые — блохи, клопы, тараканы...

Наверное, наступил рассвет. Чтобы проверить предположение, Али Кушчи постучал в дверь, желая испросить воду для предмолитвенного омовения. Ответа не последовало. Мавляна потер ладонями по сырой земляной поверхности пола, снял и расстелил на полу свой чекмень вместо молитвенного коврика, прочитал молитву.

А сколько в самом деле прошло времени с тех пор, как он появился в этом узилище? Наступил ли рассвет, или ему только показалось? И снова пугающая мысль: если так тяжело дожидаться первого рассвета в темнице, то что же испытывают узники, заточенные на всю жизнь?..

Мгновения тянулись теперь для Али Кушчи ужасающе медленно, и казалось ему, что отныне нарушен закономерный круговорот времени, что в самой природе приостановилась извечная смена захода восходом, ночи днем, тьмы светом: все окружающее словно застыло недвижно и нерушимо. Были, конечно, признаки, по которым он догадывался, что время течет, что вслед за ночью приходит день: с вечера больше клопов и блох выползло из щелей; еще о движении времени говорило и маленькое, размером в ладонь, оконце в окованной железом двери — оно дважды за сутки, по-видимому, через равные промежутки в часах, приоткрывалось, и стражник подавал узнику воду в оббитой по краям глиняной чашке и овсяную лепешку. Невелика она была, эта лепешка, опрокинь пиалушку на нее, и лепешка спрячется. Али Кушчи умудрялся в первые дни заточения обходиться половиной воды, которую ему давали, другой же половиной увлажнял лицо и руки. А маленькую лепешку делил на три части, ел в три приема, да еще запивая глоточком сбереженной воды!

Кажется, на четвертый или пятый день, наверное, ночью, потому как, навоевавшись с насекомыми, он вроде бы и заснул, Али Кушчи услышал звон цепных запоров, жалобный скрип железной двери. Появились люди с факелами.

Свет факелов резал глаза. Али Кушчи прикрыл их руками. На пороге стоял есаул, косоглазый и со шрамом, рассекающим губы (где-то видал Али Кушчи этого человека?), рядом — эмир Султан Джандар собственной персоной, а за ними два воина держали факелы.

Чадящие факелы хорошо освещали крепкую фигуру эмира Джандара, его бобровый тельпек с красной кисточкой на маковке, знак эмирского достоинства, серебристо сверкающий цояс на синем суконном чекмене, красные сафьяновые сапоги. Султан Джандар сделал было шаг вперед, но, передумав, остался у порога в темницу. Чуть прищуренные глаза его вглядывались в темноту. После нескольких мгновений молчания эмир Джандар, качнувшись крупным своим телом вперед, громко произнес:

— Мое почтение мудрейшему из мудрых Аляуддину ибн Мухаммаду Али Кушчи!

«Этот индюк смеется надо мной, — подумал Али Кушчи. — Предатель! Недавно был столь близок к повелителю, втерся в доверие. А теперь... Смеется надо мной, негодяй». Али Кушчи, хоть и знал, что играет со смертью, не сдержал колкого ответа:

— Рад лицедреть в этом райском цветнике правую руку великого повелителя, сиятельного султана Улугбека, эмира Султана Джандара-тархана!

Эмир Джандар поморщился и быстро, прыжком пересек темницу. Навис над узником, будто скала, готовая сорваться. Рука на эфесе сабли.

— Мавляна Али, — теперь эмир говорил медленно и жестко, без насмешки. — Эмир Джандар далек от премудрых наук, он всего лишь грубый воин. Но вы... но вас я уважал как мудрого человека, истинно ученого... Приходится сожалеть, что я жестоко ошибся!

— Увы, наши ошибки схожи... Ваш слуга тоже считал вас одним из самых верных эмиров нашего повелителя, от коего видели вы немало милостей. Как жаль, что я столь жестоко ошибался!

Эмир был изумлен. На какой-то миг он испытал даже нечто похожее на восторг. А потом, наполовину вытащив из ножен саблю, повернулся к есаулу, грозно выставив вперед кончики красивых подковообразных усов, кивнул головой: веди, мол, узника!

Сам повернулся на каблуках, со стуком загнал саблю в ножны до рукоятки и, не удостоивая больше никого взглядом, стремительно вышел из темницы. Есаул тихо, но внятно сказал:

— Идите за нами, мавляна!

Али Кушчи повиновался.

9

Вместе с приказом о заточении Али Кушчи в зиндан Абдул-Аатиф отдал и другой: и без того отрезанную от мира обсерваторию и медресе Улугбека запереть на замок, всех талибов распустить по домам, а за учеными мужами установить неукоснительную слежку. Рука шах-заде, скрепляющая такое распоряжение именной печатью, не дрогнула: после визита шейха Низа-миддина Хомуша Абдул-Латиф обрел желанное спокойствие.

В столице и особенно в Кок-сарае жизнь постепенно входила в колею. По утрам к шах-заде являлись засвидетельствовать нижайшее свое почтение сановники и военачальники, беки и эмиры.

Высокомерные эти вельможи, облачив телеса в парчовые, сверкающие рубинами и жемчугами халаты, в лисьи и собольи шубы (изукрашенные по верху опять же дорогой парчой), нахлобучив бобровые или из серебристого беличьего меха шапки, а то и степные малахаи, отороченные лисьими хвостами, приходили в Кок-сарай, в знаменитую залу приемов — салям-хану, выстраивались в ряды, словно нукеры на проверке, и покорно ожидали выхода главы государства. При появлении шах-заде сгибались в три погибели, отвешивали поклоны столь низкие, будто не молодого шах-заде встречали, а самого Сахиб-, кирана, эмира Тимура Гурагана. А как чутко ловили вельможи каждое слово Абдул-Латифа, как старались, чтоб замечены были их восторженно-всепреданнейшие взгляды, к нему обращаемые!

Однажды утром пришли посланцы столичных купцов. Именитые торгаши предстали пред очи молодого повелителя не с пустыми руками: дары унаследовавшему престол — горы шелковых, парчовых, суконных и всяких прочих тканей, тюки индийского чая, фарфоровую посуду, изготовленную китайскими мастерами, — приволок на дворцовый двор небольшой караван верблюдов. А лишь удалились торговцы, пожелавшие шах-заде здоровья и счастья, долголетия и славы, сарайбон объявил, что для выражения своей преданности просит допустить его к повелителю поэт Мирюсуф Хилвати.

Абдул-Латиф кое-что слышал о поэте Хилвати, даже, кажется, некогда перелистал сборник его стихов. И хотя пора было отправляться в соборную мечеть, шах-заде, чему-то обрадовавшись, решил задержаться в салям-хане и принять поэта.

Толстый, округлый человек в длинном халате из ткани «банорас», доходившем до пят, и в ковровой островерхой тюбетейке пал на колени у самых дверей и принялся забавно прикладывать ладони то к полу, то к лицу. Суетливое это подобострастие выглядело шутейно; шах-заде невольно засмеялся и милостиво позвал поэта к своему креслу. Но Мирюсуф Хилвати остался на коленях у порога; закрыв глаза, как бы не в силах вынести блеска, исходившего от того, кто сидел впереди на троне, поэт, не

меняя позы, заговорил так быстро, будто губы его не успевали прикоснуться друг к другу:

— Ваш всепокорнейший и трижды смиреннейший слуга сочинил стихи, посвященные вам, светочу и обители справедливости, вам, перлу и диаманту в короне великого султанства Мавераннахра, вам, падишаху изящного слова и его щедрому покровителю, и если благодетель соизволит услышать их, то я...

— Нельзя не обрадоваться, когда султан слова, поэт... Хилвати... преподносит нам свое творение. — Шах-заде улыбался так, как должен был, по его понятию, улыбаться истый покровитель изящного и душеспасительного слова. — Встаньте, встаньте, дорогой поэт!

Мирюсуф Хилвати наконец поднялся, правда едва не наступив на полу длинного халата и чуть не упав при этом — уже в прямом смысле слова — к ногам повелителя, что продолжал милостиво и снисходительно усмехаться. Но вот поэт оправился от замешательства, вынул скрытую до поры до времени под мышкой, завернутую в шелк книжечку, степенно откашлялся. Красные, подобно гранату, щеки его раздулись, и Хилвати громко произнес:

Победоносный прадед ваш прославлен целым миром.

Меч гнева божьего, он был лучом на небе сиром!

Султан безбожный дерзко длань на тайны бога поднял

И был низвергнут тем, кто царствует сегодня.

О славный правнук — веры меч, вас жаждет славить мир!

Вы в перстне камень дорогой, сияющий сапфир!

Когда Хилвати добрался до последней строки сочинения, голос его совсем уж срывался на петушинный крик, а глаза с испугом и мольбой о пощаде воззрились на Абдул-Латифа. Шах-заде невольно воскликнул:

— Славно, славно сложено!.. Хвала вам, дорогой поэт, хвала!

Шах-заде знал толк в поэзии, сам порою занимался сложением стихов и даже написал собственный диван[68], не торопясь, правда, к известности, особенно в кругу шейхов и маддохов. Ну да, насчет сапфира в перстне у Хилвати не без ловкости было сказано, однако шах-заде нравились стихи тонкие, полные завуалированного смысла, а тут неприкрытое, откровенное подобострастие, поэтически неуклюжее к тому же. Но шах-заде, воспрянув душой благодаря усилиям Низамиддина Хомуша, имел намерение в не столь отдаленном будущем сделать и свой двор средоточием поэзии, отнюдь, конечно, не вольнодумствующей, как то было при отце-вероотступнике, но угодной богу, а что касается роскошных пиршеств — со стихами и музыкой, а не только с обжорством и пьянством, — то их тоже следовало возродить. И поэты на них были бы украшением не меньшим, чем танцовщицы-рабыни... Так что пусть плоховаты рифмы у этого запуганного виршеплета, а все-таки первой ласточке и впрямь хвала!

Шах-заде приказал подарить поэту парчовый халат и пригласил Хилвати посетить соборную мечеть в собственной свите повелителя.

Да, сегодня он, шах-заде, новый повелитель Мавераннахра, должен был по совету шейха Низамиддина Хомуша посетить мечеть Биби-ханум, дабы обратиться к собравшемуся там множеству людей с первой своей — царственной — проповедью. Сегодня шах-заде вообще впервые после победоносного водворения в Кок-сарая покидал дворец, и потому был приказ усилить охрану, особенно же личную, многократно. Сарайбон подготовил больше полусотни всадников, к ним

присоединилась обширная свита придворных. И, когда пышная кавалькада выехала за ворота Голубого дворца, все вокруг заглушил топот коней, казалось, по этому шуму и столбам пыли, поднявшейся над улицами, что едет целое войско. Впрочем, мало кто видел это великолепие: город был все еще пустынен, торговые и ремесленные мастерские, лавки, что тянулись от Кок-сарая до мечети Биби-ханум, были сплошь закрыты ставнями, и лишь кое-откуда, главным образом из мастерских, гончарных и каменотесных, доносился еле различимый стук, и даже на площадях, на уличных перекрестках народу было всего ничего. «Боятся? А кого боятся?» — подумал об этой невеселой и подозрительной закрытости города шах-заде. Было отчего смутиться, и он решил, что непременно прикажет градоначальнику Мираншаху открыть ставни всех лавок.

Проезжая через Регистан, Абдул-Латиф опять испытал неприятное волнение: взгляд его упал на пустую, до блеска вычищенную площадку перед медресе Улугбека, перед отцовским ненавистным медресе, и припомнилось почему-то, как на исходе ночи после убийства пришел к нему в покои со зловещим мешком Султан Джандар. И ухмылка его загадочная припомнилась... Страх снова пронзил всадника, он натянул поводья, вцепился в луку седла. Пришел в себя лишь перед соборной мечетью.

У высоких и массивных двустворчатых ворот мечети Биби-ханум шах-заде был встречен целой толпой сановников города во главе с Мираншахом и столпами веры — почтенными улемами, шейхами и прочими, впереди коих стоял Низамиддин Хомуш.

Молельный двор мечети — большой, тысяч на десять — был полон людьми. В одном углу двора сбились дервиши, в другом — просто нищие, чернь, голодранцы с ближайших базаров и улиц, но вся эта братия составляла меньшинство — сегодня в мечети, в основном, собрались люди почтенные — улемы, богатые торговцы, чиновники, знать, имамы окрестных мечетей; все они были в белом — белых чекменях и покрывалах поверх разноцветных парчовых и бархатных халатов.

Величественная, приятная глазу и сердцу картина!

Шейх Низамиддин Хомуш взял шах-заде под руку, провел его мимо склоненных долу белых тюрбанов к мраморной трибуне в центре двора. Великолепный портал здания мечети вздымается ввысь за спиной того, кто стоит на трибуне, а перед ним — мраморная подставка в виде огромной книги, на этой подставке святой Коран, «Калломуло-и-шариф», в золоченом переплете.

Люди ждали от шах-заде проповедь — хутбу[69], и он произнес ее. Он на память приводил стихи из Корана, изречения из хадисов; проповедь же его состояла в том, что врагам ислама он пожелал гибели; далее он провозгласил, что отныне в Мавераннахре начался век истинного торжества веры, время счастья всех подлинных мусульман. Отныне и во веки веков! Последние его слова утонули в набежавшем, как огромная морская волна, грохоте совместного торжествующего возгласа множества голосов: «Илахи аминь!» — и гулкое эхо покатило под своды.

Вслед за шах-заде к верующим обратился светлейший шейх Низамиддин Хомуш. Он объявил о том, что шах-заде взошел на престол по праву наследования и что, собственно, теперь он уже не шах-заде, не наследник, а первый повелитель правоверных мусульман, благодетель и благоустроитель государства, венценосец Мирза Абдул-Латиф. Шейх произнес долгую молитву в честь венценосца и повелителя правоверных, и, когда с уст его сорвалось последнее в молитве слово «аминь», мощный, тысячеустый возглас «Илахи аминь!» был ему ответом и продолжением, и снова дрогнули своды мечети, а с высоченного ее портала взмыла ввысь стая испуганных голубей.

Успех проповеди, моление в честь венценосца были для Абдул-Латифа ветром, унесшим из души гнилые листья последних сомнений в собственной правоте. Правда, были и неприятности.

Доносчики принесли из Балха весть, что правитель Герата, Султан Мухаммад, коему Улугбек приходился родственником, узнав об убийстве султана Мавераннахра, приказал собрать войско для похода. Но Мирза Абдул-Латиф, во-первых, послал к Султану Мухаммаду надежного человека с предложением о сохранении мира, а во-вторых, как опытный воин, он знал, что тот не пойдет в поход зимой и потому надо различать угрозы словесные от угроз реальных, подлинно опасных. Многие сомнения исчезли из души Мирзы Абдул-Латифа, и потому был он деятелен и энергичен. Но только... при свете дня!

А ночью... Никто не видел, слава аллаху, как ночами врывается к нему в душу страх, тупой, не рассуждающий, гнетущий страх: кто-то, казалось, входит в темную комнату, заносит над изголовьем оголенный клинок. Абдул-Латиф вскакивал с постели; бодрствовал долгие часы после такого пробуждения, замирал от каждого шороха, шарахался от каждой привидевшейся тени — и так до утреннего солнечного луча. В часы ночного бодрствования он терял способность рассуждать здраво, и ему мерещилось, что в столице уже созрел заговор и что во главе заговорщиков стоят... ну, хотя бы родичи, двоюродные братья Мирза Абдулла и Мирза Абу Саид. Не Абдул-Азиз, нет, не он, уже умерщвленный, а они, еще живые, стоят во главе заговоров; Абдул-Латиф знал, что они в заточении. Что с того, ведь заговорщики, горячил он себя, уже нашли пути к освобождению, а он, венценосец, о том пока не ведает. И тогда ему хотелось тотчас, ночью, обойти все тюрьмы, и особенно тот зиндан под Кок-сараем, где томились братья, но смелости не было спускаться в узилище.

При свете дня страхи и опасения рассеивались. Но не сразу. Утром, после эдакой бессонной ночи, шах-заде смотрел подозрительно на всех эмиров и беков, приходивших с приветствием, и если кто-нибудь, не выдержав его тяжелого взгляда, отводил свой, подозрения Абдул-Латифа усиливались. Если встречал он ненароком своих придворных в каком-нибудь укромном месте дворца, в его многочисленных сумрачных коридорах и залах, то, будь они даже из Балха, доверие к ним пропадало: их тихий шепот, само укромное место — для чего это, если не для козней? И против кого, кроме него, кроме обладателя престола, могли быть эти козни?

Так смятение вновь и вновь овладевало Абдул-Латифом.

Однажды шейх Низамиддин Хомуш, который догадывался, что шах-заде больше всего боится заговоров и даже ищет заговорщиков, вновь повел речь о нечестивом Али Кушчи. Что мавляна сидел в зиндане, это верно, но он ведь не переставал быть от этого нечестивцем и возможным, вполне возможным заговорщиком. Ибо кто же, как не они — тут шейх подал Абдул-Латифу список, на котором стояло два столбца имен и названий, — ученые и книги, не эти нечестивцы, являются возмутителями спокойствия, а стало быть, и заговорщиками? И ведь до сих пор не преданы огню книги, благодаря коим эти нечестивцы сбивали и сбивают правоверных с пути истинного. Надо быть осторожным, посоветовал шейх.

Беседа эта случилась утром, когда шах-заде и шейх возвращались из соборной мечети. При слове «заговор» Абдул-Латиф вздрогнул. Он хотел было приказать тотчас доставить к нему на допрос Али Кушчи, — на допрос строжайший! — но, подумав, перенес дело на вечер, перед возможным приходом ночного недуга своего.

В тот вечер он быстрее обычного поставил подписи на всех бумагах, что принес ему начальник

дворцовой канцелярии, отпустил всех приближенных, ибо допрос он хотел предварить беседой с преступным мавляной с глазу на глаз, и послал эмира Джандара за Али Кушчи.

Уселся на трон.

Задумался.

Странно, предстоящая встреча волновала Абдул-Латифа.

Ему приходилось несколько раз встречаться с Али Кушчи — на торжественных пирах в Кок-сараяе и в саду «Баги майдан», на отцовской охоте, устроенной по возвращении султана из Герата в Самарканд, а однажды шах-заде был свидетелем беседы отца и мавляны о загадках небесных светил. Шах-заде помнит: печать вдохновения лежала тогда на челе Али Кушчи. Шах-заде знал: честность, прямота и спокойное благородство этого человека притягивали к себе многих. Мавляна был высок и худощав, но от него веяло силой; лицо его — высокий лоб, широковатый книзу нос, глубоко посаженные глаза — было простодушно, неродовито, но дышало твердой, непреклонной волей, умом и отвагой.

Некогда шах-заде заинтересовался и, можно даже сказать, увлекся этим человеком. Не снизошел, правда, до того, чтобы самому искать случая поговорить с Али Кушчи, но трактаты мавляны по астрономии и геометрии велел тогда же принести ему для ознакомления и прочитал их все, обнаружив и знание дела, воздав должное обширности знаний ученого и убедительности изложения. Да, в словах шейха есть истина, есть: Али Кушчи опасен и трижды опасен, если станет заговорщиком. Родитель-вероотступник, что вознамерился спрятать нечестивые книги, и впрямь не нашел бы человека, надежнее и вернее своего шагирда!

А сейчас он, Мирза Абдул-Латиф, намерен наконец побеседовать с этим ученым мужем, чья известность охватывает весь Мавераннахр, весь Хорасан. Али Кушчи, правая рука Улугбека, его истинный ученик, познал тайны звезд, а стало быть, и тайны человеческих судеб... нет, не беседу бы с ним вести, а допрос ему учинить, пыткой вырвать еще одну тайну — куда исчезло Тимурово золото и богохульные книги?!

Но не удивительно ли: с того часа, когда сегодня утром светлейший шейх произнес имя Али Кушчи, этот человек никак не уходит из мыслей и все больше хочется шах-заде лично увидеться с мавляной, поспорить с ним, переспорить, убедить и... и склонить его на свою сторону.

Вот было бы дело, если б Али Кушчи сам, по-хорошему покаялся в своей вине, указал, где спрятаны нечестивые книги, его и на службу в диван можно было бы взять. Да, неплохо, неплохо, коли рядом с новым властелином сего дворца, прославленного от запада до востока, будет восседать в совете и этот ученый муж, некогда самый одаренный ученик вероотступника султана, а ныне наперсник его, Абдул-Латифа, — поборника веры. Среди приближенных будет стоять по утрам, низким поклоном встречать, сложенными смиренно на груди руками... Вот тогда, пожалуй, придет конец гнусным слухам, заговорщицким шепотам по закоулкам Кок-сарая... А вслед за Али Кушчи разве не придут к нему, Абдул-Латифу, и другие шагирды Улугбека — математики, поэты, историки? Вот ведь пришел Мирюсуф Хилвати, но что он стоит, этот слишком подобострастный виршеплет, по сравнению с шагирдами отца?..

В соседней комнате послышались тяжелые шаги.

Эмир Джандар!

Шах-заде взволнованно сжал пальцами гладкие поручни тронного кресла.

Резные двери с узором из золоченых накладных полос осторожно приоткрылись.

— Узник здесь, благодетель.

Абдул-Латиф удовлетворенно кивнул головой. Султан Джандар понял этот кивок как знак разрешения для Али Кушчи войти.

Войдя в залу, Али Кушчи остановился у порога; голова закружилась, он прислонился к стене, смежив глаза.

Абдул-Латиф вспыхнул, как порох. Он хотел закричать: «На колени, эй, ничтожный!» Но что-то удержало его от крика. Может, любопытство — так странно здесь никто себя не вел перед лицом властителей.

Шах-заде всматривался в Али. Кушчи. Чекмень из темной простой шерсти, старый изношенный колпак на голове; губы плотно сжаты; грудь чуть приоткрыта; руки бессильно свисают вдоль тела — зиндан не проходит без последствий. И все же Али Кушчи почти не изменился, нет, он все тот же, сухощаво-подобранный, твердый и прямой Али Кушчи, и эти полузакрытые глаза, будто и не видящие хозяина залы, — это не просто признак физической слабости, это... дерзость! Не изменился мавляна ‘ Али Кушчи, не изменился; разве в бородке клинышком — такие у них у всех, ученых мужей, — появилось несколько больше седины, чем помнит шах-заде.

«Такой же гордец, как и благословенный родитель, не меньше!» — уже со злостью подумал Абдул-Латиф.

Али Кушчи, словно в ответ, открыл глаза, откачнулся от стены, попытался выпрямиться. Свет резал глаза. Мавляна снова принужден был зажмуриться.

«Надо привыкать постепенно, а то зрение потеряешь... Яркая зала, как и тогда, яркая... Увы, недели две назад, даже меньше того, на троне в этой зале сидел устод, человек, достойный рая! Сидел, изливал мне, Али Кушчи, боль души своей, высказывал свои последние желания... А теперь на том же троне отцеубийца! Душегуб!.. И лицо его мне противно. Усы вздрагивают, глаза встревоженные, беспокойные. Серый цвет лица — признак тайной нехорошей болезни... А вот что в глазах шах-заде? Страх? Скорее, бесноватость какая-то, одержимость... Надо выпрямиться, надо поклониться... ну, да ладно... не буду себя пересиливать».

«Так и стоит с закрытыми глазами. Такого венценосца, как я, не страшится!»

Абдул-Латиф уперся в подлокотники кресла, приподнялся, полунасмешливо и одновременно властно сказал:

— Мавляна Али, не для того ль, чтобы поспать, вы пришли в саям-хану? Откройте глаза, мавляна!

Али Кушчи собрался наконец с силами, выпрямился, посмотрел на шах-заде, прикрыв глаза козырьком ладони.

— Простите, шах-заде. Привыкшие к темноте глаза мои не выдерживают сияния этого чертога.

— Выйти из той темноты — это, мавляна, в ваших руках, — произнес Абдул-Латиф намеренно многозначительно.

«Нельзя считать тебя властелином-глупцом. Тебе не чужды, оказывается, и лисьи повадки», — подумал Али Кушчи. А вслух сказал:

— Простите, не понял ваших слов, шах-заде.

Абдул-Латиф слез с тронного кресла, бесшумно прошелся по горящим многоцветной радугой коврам. У дверей задержался, совсем близко от мавляны. На болезненно-сером лице Абдул-Латифа,

в глубоко запрятанных желтоватых глазах промелькнуло что-то такое, что сделало вдруг сына похожим на отца, напомнило Али Кушчи грустное лицо устода.

— Мавляна Али, я весьма уважаю вас как знаменитого ученого... Потому и хочу спросить: кем вы, мудрый человек, считаете меня?

Голос звучал печально, скорбно даже.

«Что он хочет от меня, этот жалкий отпрыск великого отца? Разжалобить? Смягчить мне душу, дабы проще потом прибрать ее к рукам?»

Али Кушчи отвел взгляд от опечаленного лица шах-заде, уставился в пол.

— Почему не отвечаете мне, мавляна? — обидчиво сказал шах-заде. — Ну, знаю, знаю: считаете вы меня... неблагодарным сыном, что вступил в борьбу с благословенным родителем за обладание... вот этим тронем. Больше того, за тирана считаете, за сеятеля смуты, за невежду, который ненавидит людей науки!.. А я... а я... — Он с шумом глотнул воздух и вдруг замолчал.

Али Кушчи по-прежнему глядел в пол, на ковры ширазской работы.

Шах-заде сказал все правильно: Али Кушчи считал его, да и был он на самом деле главарем невежд, темных и опасных, захватчиком престола, сеятелем смуты в стране, мракобесом, что навесил замки на врата науки и просвещения. Но самое страшное — убийцей собственного отца. Непонятно было только, зачем такой человек льет слезы, старается выгородить себя перед ним, перед бедным узником, кого ненавидит, кого бросил в заточение.

— Но я... не хотел того... Если я, покорный слуга аллаха, сверг с трона родителя своего, то... ради веры, ради истинной веры нашей, мавляна, решился я на такой шаг... Знаю: мой родитель — ваш устод. Я же для вас ничто, но выслушайте... Что оставалось мне, коль отец не соблюдал заповедей Корана и шариата, вел себя нечестиво? — Словно боясь услышать возражения, шах-заде повысил голос. — Нет! Нет у меня намерений попирать просвещение и науку, мавляна. Но разве позволено во имя науки забывать о всевышнем?

Али Кушчи с трудом поборол в себе желание оборвать шах-заде. Сдержанно, тихо он обратился к Абдул-Латифу:

— Лишь всевышний непогрешим, шах-заде. Вы говорите о том, кого всевышний призвал уже из этого мира в мир вечный, и судить о поступках того, кто ушел от нас, тяжкий грех...

Он все еще не смотрел на шах-заде, но все равно почувствовал, как от этих слов передернуло собеседника.

Оба замолчали.

— Ну, что же сделаешь теперь, — вздохнул наконец шах-заде, — теперь, после того как кровожадные убийцы свершили это преступление... Аллах свидетель, мавляна, от той вести у меня чуть разум не помутился, а сердце облилось кровью. Я велел схватить всех убийц, мавляна, всех их обезглавить! Всех!

«Ну и коварный деспот, ну и лицемер!»

Али Кушчи поднял тяжелый взгляд на отцеубийцу. Тот стоял теперь у самого трона, одна рука на подлокотнике, другая на рукоятке сабли.

«Хватит! Надо кончать это лицедейство!»

— Шах-заде! Для чего вы говорите обо всем этом мне, несчастному узнику?

— Чтобы... чтобы такой ученый муж, как вы, знал истину!

«Истину?! Чтоб знать истину? Нет, чтоб скрыть ее!»

Али Кушчи ничего не сказал больше, он вновь смотрел вниз, на ковры, хмурил брови, и в этом молчании — так чудилось шах-заде! — были несогласие, бунт, мятеж!

— Я знаю, я хорошо знаю, что думают, чем дышат ученые мужи... И цели их ведомы мне, мавляна! Это была угроза, плохо скрытая угроза.

— Шах-заде! — Али Кушчи помолчал, пытаясь взять себя в руки. — Истина... вы же говорили о ней... Если сказанное вами истина, то не важно, что станет говорить об этом ученый люд. И не надо бояться, что они будут думать о сказанном вами... Истина остается истиной, что ни говорили бы о ней люди. И если ваша цель...

— Моя цель, — перебил шах-заде, поняв, что мавляна на пределе сдержанности, — моя цель в том, чтобы сказанное мной... а оно есть истина... донести до каждого правого! И чтобы так было, я, ничтожный раб, нуждаюсь в таких, как вы, мавляна.

«Хитро! Жестокосердый властитель стал вдруг ничтожным рабом».

«Ну, хорошо, — мелькнуло в уме шах-заде, — я унижусь перед тобой, но крепко запомню это унижение».

— Я приношу вам свои извинения, уважаемый мавляна. Мои неразумные эмиры без согласия и даже без ведома моего бросили вас в зиндан. Ошибка, которую я хочу исправить... Отныне ваш сан и ваше место будут еще выше, чем прежде...

Али Кушчи живо представил себе место нынешнего своего пребывания: холод и темень, шершавые каменные стены, клопы и блохи.

— Я предложил бы вам, мавляна, будь на то согласие ваше, должность диван-беги[70]. Начальника дивана! Или, если захотите, станете историком, летописцем при нашем дворе. Кого пожелаете из ученых, поэтов взять к себе в помощники, берите! Единственное занятие ваше будет — писать о делах, которые мы намерены совершить в нашем государстве.

«Писать о твоих „государственных“ делах?.. Значит, скрыть твои преступления, отцеубийца, твои злодеяния, твою жестокость. Эти поэты, эти историки, которых я позову, должны будут славить тебя в касыдах[71], в летописях, выдавать черное за белое? Таким увидят тебя следующие за нами, грешными, поколения? Нет, нет! Как взгляну я тогда в страшный Судный день в глаза устоду!»

Шах-заде снова приблизился к Али Кушчи. В бледном лице, в провале глаз Абдул-Латифа мавляна уловил просящую, жалкую улыбку.

— Простите, шах-заде, но я не историк, чтобы писать о делах государственных...

— Но вам и не надо будет писать. Вам предстоит руководить другими. Хотите, к услугам вашим будут прославленные летописцы, которых мы вызовем из Герата.

— Но прославленные летописцы не нуждаются в руководстве вашего не сведущего в этом деле слуги.

— Ладно! Не летописцем, так звездочетом будете, дворцовым астрологом. Уж это-то ваше дело, мавляна?

— Увы, извините меня, но в гороскопах я тоже несведущ...

— Довольно! — Холодное пламя опалило глаза шах-заде. — Мне известно, в чем ты сведущ, нечестивец! И подлые замыслы твои ясны, заговорщик! Ты... ты шайтан в образе человеческом! Это ты совратил с истинного пути родителя моего. Это ты изгнал из его сердца аллаха,

всемиловейшего и всемогущего!.. Еретик! Вероотступник!

«О творец! Неужели судьба всех ученых Мавераннахра зависит теперь от этого деспота, от этой обезумевшей твари?»

— Где золото?! — неожиданно спросил шах-заде.

— Золото?.. Какое золото?

— Я говорю про те слитки золота, которые были выкрадены... слышишь, выкрадены из казны эмира Тимура и отданы тебе!.. И еще: где крамольные книги, что передал тебе султан-вероотступник?

— Шах-заде, это про отца? Про родителя своего говорить, что он веро...

— Отвечай, шайтан!.. Отвечай, я тебя спрашиваю!.. Чего добивался, пряча языческие книги? Чтоб было чем сбивать правоверных с пути истинного? Чтобы множить ряды еретиков? Отвечай, нечестивец! — Шах-заде подскочил к Али Кушчи, схватил его за ворот, брызгая слюной, продолжал выкрикивать: — Какая была у тебя цель, когда прятал золото? Для чего?! Чтоб было чем платить тем, кто в заговоре с тобой? Против меня! Чтоб лишить меня трона!!

На миг Али Кушчи испугался пены на губах шах-заде. И впрямь сумасшедший. Тело мавляны словно одеревенело, но душа не поддалась страху. Он готов был стряхнуть с себя руку шах-заде, ударить его! Вдруг представилась ему почему-то мать, старая Тиллябиби, на холодном полу, под ногами нукеров. Что будет с нею? Что с ней сделают?.. Но ненависть заставила прогнать из сознания это видение.

— Уймись, шах-заде! Зарубить своей саблей хочешь — руби. Или прикажи сгноить меня в зиндане. А ворот мой оставь и руками своими не касайся меня. — И крепкими — когда-то их называли железными — руками Али Кушчи оттолкнул от себя шах-заде.

Абдул-Латиф попятился, чуть было не упал, наткнулся на тронную ступеньку, с трудом удержался.

— Сарайбон! Эмир Джандар!

Толкаясь от усердия и мешая друг другу, в залу ввалились эмир Джандар и запыхавшийся темнолицый сарайбон в не закрученном до конца зеленом — такие носят в Балхе — тюрбане.

— Вон этого дьявола! Уведите его! В кандалы, в кандалы! И пусть сгниет в зиндане!

И, тяжело дыша, к эмиру Джандару:

— А где второй, тот... который...

— Мавляна Мухиддин? — подсказал эмир Джандар. — У ворот, здесь... Жаждет выразить свою преданность...

— Веди его сюда... А этого дьявола... вон!

Али Кушчи, услышав про мавляну Мухиддина, задержался у дверей. Эмир Джандар и сарайбон кинулись к нему сзади, попытались заломить руки. Али Кушчи резко рванулся, обернулся: Абдул-Латиф стоял посреди залы, глаза безумные, на губах и на кончиках усов пена.

— Шах-заде! — Али Кушчи уперся рукой в дверной косяк. — Мы, видно, не увидимся больше, потому скажу тебе напоследок: ты хочешь изничтожить жемчужины — ученых, выпестованных твоим благословенным отцом, нашим великим устом! Призываю дух его в свидетели: или ты откажешься от такого подлого замысла, или... будешь проклят, будешь презрен родом людским во веки веков!

— Это ты будешь... ты будешь презрен, богохульник!.. Где нечестивые книги, где?! Земля, говорите, круглая, а? Это созданная аллахом ровная земля — шар, а недвижные звезды, горящие камни,

созданные аллахом против дьявола... это... они движутся, да?.. Шайтан! Бес! Коран читай, Коран... Шах-заде все стоял, раскачиваясь, закрыв глаза, сжав кулаки, и желтоватая пена пузырилась на его губах.

— Тебе ли учить меня, как надо читать Коран? — Али Кушчи задыхался от ярости. — Не веришь в учение о небе, не веришь отцу своему, великому устоду? А меня, ученика устода, хотел сделать звездочетом? Зачем же тогда? Где же логика?

— Вон его, вон!

— Остановись, эмир! Я сам выйду отсюда! — и Али Кушчи пинком ноги отворил двери салям-ханы.

10

Мавляна Мухиддин сидел в подвальном помещении предвратной караульни. Точней сказать, не сидел, а метался, кружил по комнате, то и дело спотыкаясь о какие-то старые доспехи, седла и сбрую, что, закончив срок своей службы, разбросаны были по углам этого помещения. В подвале было темно, и мавляне Мухиддину казалось, что он попал в самый настоящий зиндан...

Да, это ничем не напоминало Мухиддину прежних посещений Кок-сарая, куда его вызывали для приятных бесед с устодом. Те беседы протекали в нарядных покоях, когда сидишь, бывало, на мягких шелковых и парчовых одеялах... А тут! Мавляна Мухиддин сжался весь, когда услышал какой-то писк под ногами и сообразил, что это крысы. Он кинулся к двери, стал яростно стучать по железу немощными кулаками, дергать за медные кольца, кричать, кричать, кричать!.. Чтобы потом, вспотев от усталости и бессилия, от мысли, что его погребли здесь, в этом вонючем сыром подвале, упасть коленопреклоненно на земляной пол и по-детски, навзрыд, заплакать...

Стирая со щек и бороды слезы, он стал думать о том, что не случайно очутился в сей холодной могиле, что это наказание за тяжкий его грех перед всевышним. И поделом, и поделом тебе, разжигал он себя, — вместо того чтобы денно и ночью творить молитву во славу аллаха, просить об отпущении своих прегрешений, он, ученик султана-вероотступника, дерзал заниматься нечестивыми науками! Он, ничтожный, поднял взгляд на небо — престол вседержителя и всесоздателя, не в молитвенном преклонении поднял, не для умиленного восхищения тайнами божественными, а с необузданным желанием проникнуть в них умом смертного... А разве совсем недавно не свершил он еще одного греха? Вместо того чтобы убоиться всевышнего, его праведного гнева, кого он убоился? Неблагодарного раба божьего Али Кушчи!

Опять забегали по полу меж седел и доспехов крысы, и опять волосы поднялись дыбом на голове мавляны. Он снова метнулся к двери, хотел снова стучать, но, подняв кулаки, замер: кто-то, кажется, спускался по ступеням в подвал, да-да, спускался, потому что шаги слышались все явственней. «О создатель! Яви свою милость... Пусть за мной придут, пусть позовут меня...»

Раздалось звяканье ключей в замке, громохание цепи; дверь, скрипя, приоткрылась. Два стражника с факелами объявились на пороге.

— Мавляна Мухиддин!

— Тут, тут я! Тут, ваш покорный слуга!.. — Мавляна бросился к стражнику, припал к нему.

— Э-э, стой, мавляна, иль умом тронулся?! — Стражник чуть не уронил факел. Правой рукой схватил мавляну за плечо, скомкав в кулак ткань чекменя. — Стой, говорю... А ну, следуй за нами!

— Готов, готов, — бормотал мавляна. Он поднимался по ступеням вверх, ощупывал холодные стены, боясь свалиться, и, когда очутился наверху, опять заплакал, чем немало удивил стражников.

«О благодарю, благодарю тебя, создатель... неужели я снова вижу белый свет?»

Из караульного коридора стражники вывели мавляну Мухиддина во двор Кок-сарая. Они шли мимо каких-то навесов, мимо конюшен, мимо спусков в какие-то подвалы, откуда их обдавало жаром, оглушало стуком молотов, бьющих по наковальням... А какое небо простерлось над двором Кок-сарая! Оно полно было звезд, а полумесяц над куполом дворца блестел, словно был чеканки настоящего золота!.. Мавляна Мухиддин потупил взор. «Опять не удержался, грешник... Прости раба своего, создатель, слабого и греховного раба своего!»

Ему приказали прибавить шагу.

Куда они шли, он не знал, и потому, попав вдруг в роскошные палаты, где от сотен свечей струился яркий свет, где ноги утопали в ворсе роскошных ковров, словно не по земной тверди ты шел, а парил над землею, попав вдруг сюда, усомнился, явь ли все это, не спит ли он, находясь на самом деле по-прежнему в мрачном подвале. Он подумал еще о том, что хорошо, если бы сном оказалось все его «приключение» — и подвал с визгом крыс и эти роскошные залы, через которые он проходил, поторапливаемый воинами, двигаясь куда-то, к цели, ему неведомой.

Наконец в одной из зал дворца перед резными дверями, искусно инкрустированными жемчугом, мавляна увидел представительного, важного вельможу в халате из синей парчи. Где-то он встречал этого человека?.. А, в доме эмира Ибрагима-тархана! Это Улугбеков военачальник... ну, да, его зовут эмир Султан Джандар!

Краснощекий бородач эмир не без жалости оглядел мавляну.

— Застегните пуговицы, мавляна... И поправьте чалму. Сейчас войдем к повелителю.

Мавляна Мухиддин быстро застегнул пуговицы на чекмене, непослушными руками поправил тюрбан. Султан Джандар за эти мгновения успел войти в тронную залу и выйти оттуда. Знаком показал: входи!

Это было тоже будто во сне: у золотого кресла, где совсем недавно восседал Мирза Улугбек, на сей раз стоял, напряженно вытянувшись во весь свой высокий рост, хмурый молодой человек. Лицо его было болезненно-серым, кончики редких усов странно подрагивали. Широко расставленные ноги и скрещенные на груди руки усиливали впечатление воинственности, веявшей от всей его фигуры. Мавляна пал на колени, потом ниц, лбом к полу.

Хмуро поглядев на распластанного, шах-заде без слов, движением брови как бы спросил Султана Джандара: «Это он и есть, мавляна Мухиддин?» Эмир кивнул, он, мол, и есть!

— Гм... — Абдул-Латиф не предложил мавляне подняться, он продолжал, полунасмешливо прикусив губу, разглядывать ученого, не смеявшего посмотреть на нового властелина... Впервые видел шах-заде мавляну Мухиддина, хотя почитывал некогда и его сочинения, что пользовались, пожалуй, не меньшей, чем сочинения Али Кушчи, славой. И представлял себе их автора пронизательным длиннородым мудрецом, гордым и высокомерным. Абдул-Латифу хотелось, чтобы отступивший от своих прежних убеждений мавляна, вчерашний крамольник, был таким же высокомерным гордецом, а то и посильнее, поупрямей самого Али Кушчи. А перед Абдул-Латифом... мешок какой-то валяется у ног, тряпка, чтоб ноги вытирать об нее.

Шах-заде нарочито медленными, мелкими шагами подошел к мавляне Мухиддину, навис над распростертым на ковре телом.

— Встаньте, мавляна!

Ученый поспешно приподнялся, согнулся в поясном поклоне, да почти так и остался стоять, словно не до конца переломленный прут. Лишь краешком глаза, робко, снизу посмотрел он на Абдул-Латифа. Тот перехватил взгляд. Ах, какие красивые, нежные глаза были у мавляны Мухиддина! Словно очи красавицы, подумалось шах-заде, с густыми ресницами, глубокие, чистые.

— Почему вы дрожите, мавляна?.. Пойдемте-ка сядем...

В кротких красивых глазах мелькнуло удивление. И все равно был в них страх, страх неизбывный.

— Б-б-благодарю, сиятельный... ровелитель... Ваш слуга принес к ногам вашим раскаянье свое...

— Ну, ну... Проходите, мавляна, проходите. Присаживайтесь. — Шах-заде пересек залу. По-прежнему улыбаясь той самой милостивой своей улыбкой, указал мавляне на кресла в углу, покрытые шелком.

При виде усмехающегося шах-заде понимающе улыбнулся у дверей залы и эмир Джандар.

Мавляна Мухиддин, все еще как бы не доверяя любезному приглашению, засеменил вслед шах-заде, встал в углу залы, у кресел, и только после вторичного приглашающего жеста хозяина несмело присел на краешек одного из них. Шах-заде уселся напротив.

— Мавляна, я когда-то изучал ваши труды по математике и астрономии...

Он еще не кончил фразу, а мавляна Мухиддин стремительно поднялся и встал перед шах-заде, как осужденный, склонив голову.

— Простите меня, повелитель! Шайтан попутал несведущего раба вашего, сбил с пути истинного! Мирза Абдул-Латиф брезгливо поморщился. Не этих слов он ожидал в ответ. Мавляна должен был защищать свои убеждения. Как Али Кушчи. Шах-заде желал показать этим гордецам ученым, что он тоже немало смыслит в тех тайнах, знанием которых они гордятся, смыслит настолько, чтобы потом наставить их на путь истинный, коль скоро Мирза Улугбек, или шайтан, как сказал этот робкий мавляна, сбил их с этого пути.

— Гм... стало быть, шайтан сбил вас с пути истинного?..

— Точно, он, повелитель!

— Выходит, что вы теперь не разделяете тех мыслей, в которые недавно верили?

— Не разделяю, повелитель, не разделяю.

Шах-заде бросил взгляд на эмира Джандара. Тот заулыбался ответно, всем видом выражая свое мнение: «Да, мавляна неплохой, неплохой человек».

Абдул-Латиф отвернулся недовольный... Этот хилый мавляна готов, видно, беспрекословно подчиниться ему, в другой раз подобное подобострастие лишь порадовало бы шах-заде, ныне же раздражает.

Интерес Абдул-Латифа к Мухиддину сразу погас. Хотел было отдать приказ Султану Джандару увести пленника, но вспомнил о спрятанных книгах.

— Очевидно, вы осведомлены о числе книг в обсерватории, мавляна?

Собеседник часто-часто закивал, преданно и кротко.

— Тысяч пятнадцать — шестнадцать. Или даже больше, повелитель.

— Какие исчезли, знаете?

— Трудно не знать... Все самые редкие и ценные.

— Надо говорить — самые нечестивые! — чуть вспылив, поправил Абдул-Латиф.

— О, простите меня, повелитель!.. Истинно так! Нечестивые, самые нечестивые книги хранились

особо. Среди них те, что доставлены были из Китая, Египта, Индии, Рума... Отдельно хранились книги, написанные теми, кто жил в Хорасане и здесь, в Мавераннахре, их тоже было несколько тысяч, и все эти книги...

— А откуда вам известно, что их вывез Али Кушчи?

Мавляна торопливо облизнул губы.

— Мавляна Али Кушчи собственными устами признался мне в том, повелитель.

— И в том, что спрятал золото и драгоценные камни, тоже признался собственными устами?

— Истинно так, повелитель, собственными... — Мавляна запнулся.

— Когда это было?! — Шах-заде стремительно подскочил, двумя руками надавил на плечи мавляны Мухиддина, пресекая попытку тоже подняться с кресла. — Говорите, не тяните, мавляна!

— Устод... то есть Мирза Улугбек... нет, султан-вероотступник... — мавляна совсем растерялся, — за неделю... за неделю до... низложения своего поручил Али Кушчи сокрыть... Это греховное дело поручил... А мавляна Али Кушчи осведомил вашего покорного слугу об этом поручении.

Шах-заде выпрямился, вновь скрестил на груди руки.

— С какой же целью он сделал так?

— Чтобы и меня... меня тоже притянуть к исполнению... греховного намерения!

— А вы? Не согласились?!

— Истинно не согласился, повелитель!.. Всевышний уберег...

— Хм... — Шах-заде полуобернулся к эмиру Джандару. Эмир подобрался, вытянулся в струнку.

— Привести Али Кушчи, благодетель?

Услышав это имя, мавляна Мухиддин пугливо посмотрел на эмира. «Не надо, не надо», — молили его глаза.

— Мавляна Мухиддин не виноват, это все дьявол Али Кушчи... — Султан Джандар попытался прийти на помощь сыну знаменитого богача-ювелира.

У шах-заде снова странно запрыгали кончики усов.

— Нет, — сказал он твердо. — Сюда не надо. Отведите мавляну Мухиддина к тому безбожнику! В одну темницу их! Пусть-ка мавляна Мухиддин поговорит с нечестивым Али Кушчи, пусть заставит его признаться в свершенных грехах!.. И уж тогда приведете их ко мне обоих вместе.

Мавляна Мухиддин сполз с кресла к ногам шах-заде.

— Милосердия, милосердия прошу, повелитель!

— Убрать!

И шах-заде брезгливо отвернулся в сторону.

11

Салахиддин-заргар до утра не сомкнул глаз, ожидая сына. От любого шороха стучало сердце и взгляд устремлялся на дверь. Но не было ни самого мавляны Мухиддина, ни вестей от него. Значит, оставили в Кок-сараяе, а что значит «оставили», Салахиддин-заргар знал.

Старик не находил себе места. Его Мухиддин — болезненный, с детства ослабленный многими недугами, нежен и прихотлив, словно девушка. Что же с ним будет, коли попадет он в сырую темницу, кишасую насекомыми? Сколько дней выдержит?.. О, аллах, неужто на склоне дней своих он, хаджи Салахиддин, будет разлучен с единственным сыном, светом очей, надеждой своей? Коли случится несчастье с Мухиддином, то долго ль протянет он сам, человек того возраста, когда одной

ногой стоят еще на земле, а другой — в могиле?.. И кому рассказать о нагрянувшей беде? Единственно — шейху Низамиддину Хомушу. Правда, его, шейха, волю исполняя, хаджи Салахиддин и оказался в нынешнем трудном положении. Но к кому же еще пойти за помощью, за душевным успокоением?

Ничего другого Салахиддин так и не придумал, хоть думал до утра.

Прочел утреннюю молитву. Надел теплый, из верблюжьей шерсти чекмень; на голову, поверх скромной бархатной тюбетейки, навертел шелковую чалму. Взял из ниши шкатулку. Из груды изящных сверкающих украшений выбрал два перстня — оба золотые, один с бирюзой, другой с алмазом, вправленными в металл.

Так повелось, что при посещении светлейшего шейха ювелир расставался с какой-нибудь дорогой вещицей; ныне одной не обойтись, взял две.

Небо начинало светлеть. Верхушки высоких тополей в саду уже заблестели, хотя солнце еще не взошло. Постукивая неизменной своей палкой, Салахиддин-заргар медленно пошел по двору под виноградными лозами. Приблизился к воротам.

— Дедушка, дедушка! — слышалось сзади.

Легко одетая, с небрежно брошенной на лицо кисеей, к нему подбежала внучка. Хуршида-бану была бледна, в глазах бессонная ночь, губы подрагивают, вот-вот не сдержит слез.

— Дедушка, куда вы?.. Куда вы уходите, оставляете нас одних?

Любимая внучка, как всегда, растрогала старика.

, — Дитя мое, я скоро вернусь. Ты не бойся... Я иду спра виться о твоём отце.

— В Кок-сарай? — Голос Хуршиды снизился до шепота. — Ой, нет, не надо! Не ходите в Кок-сарай, дедушка!

— Нет, я иду в другое место. — Старик помрачнел. — Надо же узнать, что с твоим отцом...

— Ему будет очень трудно, я знаю, очень трудно. — Хур-шида-бану закрыла обеими руками лицо и заплакала.

Салахиддин-заргар насторожился. Сдвинул брови.

— Что ты знаешь?

— Али Кушчи в темнице, говорят. И еще говорят, будто шах-заде собирается всех ученых мужей бросить в зиндан...

— Кто тебе это сказал? — прикрикнул Салахиддин, глаза его округлились от вспыхнувшего гнева, куцая борода воинственно задралась. — Кто сказал, откуда слышала такое?

Хуршида-бану виновато потупилась.

— Я слышала об этом... случайно... я...

Слезы женщины — оружие, действующее и на стариков. Ну как деду было не смягчиться?

— Не бойся, дитя мое, не плачь... В зиндане по велению шах-заде будут не все ученые мужи, а нечестивцы, что подняли меч на истинную веру. Твой же отец ничем подобным не прогневил всевышнего... Иди, иди, делай свои дела, а я буду делать свои!

Старик поцеловал внучку в лоб.

«Откуда все-таки она узнала злосчастную весть?»

Во внешнем дворе сторож грелся под навесом у ведерка с тлеющими углями. Завидев хозяина, он торопливо поднялся, стал выбирать из связки на поясе нужный ключ.

— Постой... Хочу спросить... Ночью никто к нам не приходил, не стучал?

— Нет, господин мой. Не то что человека не было, муха не пролетела.

— Ну, ну... Все равно будь начеку! Если кто появится без моего позволения, тебе отвечать!

До самого кладбища «Мазари шериф» не давал ему покоя тот же вопрос — откуда узнала внучка про Али Кушчи?

На открытой площадке перед домом шейха горел костер, около него грелись дервиши. Другая группа неподалеку кипятила воду в котлах.

Бывало, ювелира почти сразу звали к шейху, не давая ждать во внешнем дворе. На сей раз у шейха, видно, было важное свидание с кем-то высокопоставленным — и по внешнему и по внутреннему дворам усадьбы мюриды ходили на цыпочках, переговаривались вполголоса, без конца проносили в дом серебряные подносы со снедью. То и дело мимо Салахиддина-заргара шли прямо во внутренний двор без приглашения угрюмые нукеры и какие-то незнакомые, надменно глядящие прямо перед собой дервиши.

Пришлось-таки посидеть, обождать, пока наконец тоненький, словно девушка, совсем молоденький мюрид не пригласил его проследовать в дом.

Ох, не услышать бы сейчас от шейха безрадостной вести!

Старик придержал мюрида за руку.

— Есть кто-нибудь там, у моего пира?

— Да. Сегодня изволили пожаловать к нам светлоликий ишан Ахрар, пир нашего пира.

Салахиддин-заргар невольно ощупал в кармане золотые перстни. Недаром он взял два перстня!

Доброе предзнаменование!

И, подумав так, испытал вдруг чувство облегчения.

...Ишан Убайдулла Ахрар восседал в просторной салям-хане на самом видном и почетном месте.

Шейх сидел справа от него, тоже на груди шелковых одеял и тоже с четками в руках. Рядом с ладным, не потерявшим и в преклонные годы стройности шейхом ишан, широкоплечий и грузный, напоминал приземисто-закругленную киргизскую юрту. Белая борода шейха и рядом черная, как смоль, курчавая, без единого седого волоса борода на груди ишана... Каждый был и лицом заметен: строгие черты просветленного лица у шейха и мясистое, носатое, щекастое, румяное — у ишана. И внимательные, словно притягивающие к себе взгляды обоих...

Салахиддин-заргар преклонил колени, подобострастно произнес все слова почтительного приветствия. Ишан Ахрар бегло глянул на него, продолжая перебирать четки. Шейх ответил, как полагается, словами молитвенными. А затем неожиданно спросил:

— Что скажешь нам, хаджи Салахиддин? С чем пришел?.. Маловато времени у нас для тебя — вот пожаловал наш духовный отец из Шаша, удостоил нас чести лицезреть его и беседовать с ним о законах шариата, о делах первостепенно важных.

Ювелир еще раз склонился в почтительном поклоне.

— Благодарение аллаху за явленную милость — за то, что привелось мне припасть к стопам покровителя и защитника моего, прославленного ишана, известного щедротами своими.

— Так говори же, хаджи... — снова заторопил гостя шейх. Это было против обыкновения и потому страшило ювелира. — Что нового в городе? Какие вести среди торговых людей?

— Этой ночью, мой пир, — решился заговорить о своем Салахиддин-заргар, — ко мне в дом пришли

нукеры... и увели с собой сына моего единственного... мавляну Мухиддина. Он еще не вернулся, мой пир.

Шейх тонко улыбнулся.

— Видно, понравился повелителю, раз не вернулся.

— Мой пир!

— Или, может, тут другая причина? Может, твой непостоянный сын при встрече с нечестивцем Али Кушчи в дворцовом зиндане забыл про то, в чем каялся здесь, в сем доме?

— Этого не могло случиться! Раскаянье сына у ног ваших было чистосердечным и полным!

— Чистосердечным и полным?! — вдруг вмешался ишан Ахрар. Его глаза гневно засверкали. —

Когда можно было ему верить, сыну твоему, богохульнику?.. Да, да, богохульнику, ибо иначе нельзя назвать человека, простирающего сомнения свои до того, чтобы усомниться во всемогуществе творца всего сущего. Сын твой хотел проникнуть мысленным взором в таинственное царство вседержителя и всесоздателя... Почему же ныне он, любимый ученик султана-вероотступника, отказался от заветов своего учителя, как ты говоришь?

Хаджи Салахиддина охватил ужас. Только каяться, снова и снова каяться — лишь в этом было спасение.

— Безгрешен один аллах, — пробормотал он. — Простите, простите неразумного, заблудшего раба божьего!

— «Заблудшего, неразумного!» — передразнил его Ахрар, раздувая ноздри. — Я хорошо знаю тебя, ювелир! Хорошо знаю... Теперь ты уверяешь нас, что во всем раскаиваешься, а откуда пришло к тебе богатство, если не из щедрых рук вероотступника, покровителя твоего?

— Мой пир, покорность и преданность слуги вашего могут подтвердить многие... да и очевидна она...

— Ты не спорь, а лучше молись о спасении души сына!.. А о милосердии проси господ, только господ... Участь всех, кто пытался усомниться в могуществе творца, кто стремился совращать правоверных с пути истинного, участь всех нечестивцев будет столь же плачевной, как и твоего грешника сына! Всевышний не забывает про мщение тому, кто возгордился!..

Салахиддин повалился в ноги, коснулся лбом ковра. Ужас словно обручем сдавливал голову, язык не слушался, но молча старик кричал только одно: «Не лишай милосердия своего, аллах, пощади!»

— Иналлахо маассобирин... Аллах с теми, кто терпелив... — Это произнес уже шейх Низамиддин Хомуш. — Будь терпелив, хаджи Салахиддин!

Шейх достал из-под сиденья трещотку, потряс ею. Юный мюрид возник на пороге комнаты.

— Пришел ли божий нищий Давулбек?

— Он здесь, пирим.

— Скажи, пусть заходит.

Салахиддин-заргар не поднимал головы. Лишь по звуку догадался, что кто-то вошел в комнату и пал рядом с ним. Робко покосился на того, кто со столь громким рвением приветствовал ишана и шейха. Вместо нищего, оказывается, приложил лоб к пышному ковру косоглазый есаул из Кок-сарая: кривая сабля гулко стукнулась ножами о незастеленную часть пола, в глаза ювелира так и лез железный воинский шлем на склоненной голове.

— Ну, дервиш, принес ли ты вести о беглеце?

— Нет еще, мой пир...

— Это ты-то не можешь, старший среди дервишей и с некоторых пор есаул-баши во дворце? А я считал тебя проворным...

— Моя вина, пирим... не осталось такого места в столице, где бы я не побывал, такой щели не осталось, в которую не пролез бы.

— Что еще за беглец? — спросил ишан.

— Нечестивец Каландар Карнаки. Третьего дня я говорил вам о нем, мой пир... Он сбежал в день гибели султана-веро-отступника и до сих пор не найден.

— Жаль. — Ишан Ахрар недовольно покачал головой. — Доверять тому, кто побывал в руках султана-вероотступника...

— Не доверять, мой пир... я испытывал его, за ним следили... вот он. — Шейх кивнул на Шакала. — Ну-ка, оторви лоб от ковра... И ты, заргар!

Шакал приподнялся, положил руки на колени.

— Если сама земля поглотит этого дьявола, все равно я найду его, мой пир!

Шейх Низамиддин Хомуш повернул разговор в сторону от неприятного и для себя русла:

— Ну, хорошо, хорошо, ищи!.. А теперь посмотри направо. Знаешь этого человека?

Шакал не повернул головы, только искоса оглядел стоящего рядом с собой на коленях человека.

Ослабился.

— Во всем Мавераннахре нет того, кто не знал бы достопочтенного.

— Так вот, сын достопочтенного ювелира, мавляна Мухиддин, говорят, брошен в зиндан... там у вас в Кок-сарае. Это известно тебе?

— Да, мой пир. Мавляна Мухиддин находится вместе с нечестивцем Али Кушчи.

— Почему? Или его не допрашивали?

— Допрашивали... хвала мавляне, Он повторил те покаянные слова, что говорил здесь, у вас.

— Почему же тогда он в зиндане?

Шакал пожал плечами.

— Так решил повелитель... Пусть, мол, мавляна Мухиддин заставит раскаяться и Али Кушчи, тогда их вместе и освободят!

Салахиддин-заргар застонал. Он снова хотел пасть к ногам шейха, но грозный возглас ишана остановил его.

— Верно, верно сделал шах-заде! — Ишан поднял руку с четками, словно для того, чтоб исхлестать ими человека, который осмелился бы возразить. — Верно! Так с ними и надо поступать, с богохульниками! Не прощать их, а карать! — Ишан откинулся на подушки за спиной. — Твой сын, заргар, ел плов из одной чашки с этими вероотступниками! Не боясь гнева творца, сочинял неугодные богу трактаты! Он должен, должен теперь понести наказание! И чем сильнее оно будет, тем скорей очистится его душа, погрязшая в грехах... И не плакать по сему поводу надо, заргар, а благодарить творца!

— Пир мой, вы не знаете Али Кушчи...

— Знаю! Всех я их знаю! — Ишан снова выпрямился. Не поворачиваясь, занес руку за спину, поправил подушки. — Я знаю и шах-заде, заступника истинной веры... И вытри, вытри глаза, заргар, не бормочи о помощи и милосердии. Милосердия надо просить у бога, только у него одного. Денно и

ночно моли его об отпущении грехов... И да сбудется твое моление. Ну, встань, заблудший! Поднимаясь, хаджи Салахиддин посмотрел на шейха, но тот как бы в смущении отвел взгляд в сторону...

С трудом нашел выход в этой хорошо освещенной комнате старый ювелир. Шатаясь, пошел через прихожую, на мгновение привалился к стене отдышаться. Рука, растиравшая грудь под чекменем, случайно нащупала перстни. «Так и не отдал!.. Идти снова? Нет, нет!.. Нести их обратно? С ними домой? Дурной знак, ох какой дурной!.. Что же будет с нами, что будет?»

12

Каландар пришел в пещеру кузнеца Тимура Самарканди в полночь. Вернулся и молча лег лицом вниз на полушубок, расстеленный возле наковальни. На вопрос кузнеца «что случилось?» ответил коротко:

— Мавляна Мухиддин тоже в зиндане, отец.

Говорить, рассказывать подробности, проклинать шах-заде — ничего не хотелось. В мыслях своих Каландар все еще был в саду Салахиддина-заргара. Все стояло перед ним лицо Хуршиды, омытое слезами, и голос ее продолжал укорять, хотя и сказала она, что ни в чем его не винит.

Нынче он вторично пошел к мавляне Мухиддину, снова стучался в знакомое окно, выходящее в сад. С замиранием сердца услышал, как отворилась калитка. По легкому шороху кавушей узнал: идет Хуршида.

Он стоял все под той же старой орешинной. Хуршида была одета по-другому, чем прошлый раз. Поверх длинного, до самых щиколоток платья на ней был черный мурсак, вместо платка голову покрывала черная бархатная накидка, и даже тонкая-тонкая кисея на ее лице показалась Каландару иссиня-черной. Под стать настроению, видно, оделась; стояла молча, прямо, склонив голову под тяжелой накидкой.

Предчувствуя худшее, Каландар спросил:

— Да будет все хорошо у вас, госпожа моя... Вернулся ли домой мавляна?

— Нет...

Хуршида-бану подняла голову, посмотрела на дервиша. Глаза ее были печальны и, показалось Каландару, холодны.

— Почему? — спросил он и тотчас догадался, что вопрос неуместен.

— Откуда мне знать?.. Только... не думаю я, что они бросят в зиндан человека, который предал... будто предал мавляну Али Кушчи!

— Простите меня, госпожа...

— Вы говорили... вы уверяли меня, что нечего опасаться за него... Отца не тронут, даже волоса его не коснутся... Так где же он?!

Каландар отвел взгляд.

— Разве не все мы ошибаемся?.. Простите меня...

— Да, мой отец человек слабый. Его легко напугать. Зиндан, угроза оставить его там — это ведь в самом деле страшно. И все же, бог свидетель, отец не поступится своей совестью. Он не предаст друзей!

Мягкая, покорная, Хуршида могла быть гневной и резкой, Каландар знал это.

— Простите меня, Хуршида-бану, — только и мог повторить он, — я-то думал, несведущая душа...

Хуршида словно не слышала его.

— Слабый, невыносимый, больной, как же он перенесет зиндан? Рассказывают ужасы... Бедный отец!

Каландар не мог ни оправдаться перед Хуршидой за то, что посеял в ее душе семена недоверия к отцу, ни помочь чем-нибудь этой милой сердцу женщине, что спрятала лицо в ладони, в белые, нежные, прекрасные свои руки — и не для того ли, чтоб не видел он ее слез? Дважды в жизни он обидел Хуршиду, и теперь особенно трудно было приблизиться к ней, говорить слова утешения.

— Ну, полноте, госпожа, не надо плакать, — наконец сказал он, презирая себя за то, что не может найти нужных слов. — Не будем терять надежду.

Хуршида продолжала плакать, безутешно, беззвучно.

— Мы не будем сидеть сложа руки. Придумаем... что-нибудь придумаем, госпожа моя.

В глазах, обращенных к Каландару, вспыхнула искорка надежды. И тут же угасла.

— Дедушка бедный... Не знает, куда идти, у кого просить помощи.

— Да, трудно, всем трудно — и людям науки, и простым людям! Этот безжалостный новый властитель, видно, решил бросить в темницы всех, кто держит факел просвещения. Но суждено ли сбыться тому?

Не этих слов, нет, конечно, не этих утешений ждала от него Хуршида. Но что он мог сказать определенного? Пока ничего...

Хлопнула садовая калитка, показалась тень женщины, за нею еще одна тень.

— Хуршида! Где ты, дитя мое?

— Это за мной! — Хуршида оперлась на руку Каландара. Видно, в испуге. Ее рука была горяча и дрожала.

Каландар пожал эту дрожащую руку. Почувствовал, как всего его охватил жар. Вдруг обнял ее, прижал к себе. Хотел нежно поцеловать в лоб, но не выдержал — задыхаясь, стал целовать ее в губы, глаза, шею...

Вновь раздался тревожный голос, зовущий Хуршиду. Она же стояла, будто не слышала, что ее зовут, прижав горящее лицо к груди Каландара.

— Мы найдем выход, найдем, — прошептал Каландар. — Я приду еще, приду! — И, сказав так, подался назад, скрылся в темноте ветвей, словно растворился в ночном саду.

Уже в овраге за садом услышал, как отозвалась кому-то Хуршида:

— Я здесь, здесь! Иду...

Как помочь Хуршиде? Как помочь наставнику своему Али Кушчи? Чем помочь и себе самому?

Каландар пробирался глухими проулками и все думал, думал об этом. Ночные дозоры заставляли его менять направление пути, от каждого дальнего факела он поспешал куда-то в сторону, и вскоре так запутался, что вовсе потерял представление о том, где находится.

Потом вдруг обнаружил, что все это время кружил, что очутился в конце концов неподалеку от дома Али Кушчи, возле Ак-сарая. Давнее желание проведать Тиллябиби удобно было осуществить как раз сейчас, ночью, во тьме. Лишь бы не напугать старушку!

Ну а что он ей скажет? Что готовит подкоп в зиндан, куда заточили Али Кушчи и мавляну Мухиддина?.. Чем утешит ее?

Поборов сомнения, он все же навестил Тиллябиби и сам был не рад, что навестил. Больная, в

сильном жару, с закрытыми глазами, она металась в постели и бредила. Приняла Каландара за сына, все гладила рукой лицо его; на минуту сознание будто вернулось к ней, она открыла глаза и убедилась, что это не сын, что это другой человек, и, не узнав Каландара, откинулась на подушки, закричала в страхе, а потом опять забылась, забредила...

...Каландар закутал голову чапаном[72]. Воспоминания замучили его.

Братья Калканбек и Басканбек тормозили его, невесело шутили: вставай, мол, ничего не сделаешь в этом бренном мире. «Вернуть разум безумному может один лишь аллах!»

Каландар оставался недвижимым.

Время было далеко за полночь, когда братья собрались уходить. И тут вдруг постучали в дверь пещеры. Уста Тимур пошел со светильником в руках разузнать про позднего гостя, долго расспрашивал кого-то в коридоре, потом появился вместе с Мираном Чалаби.

— Этот юноша привел к тебе какого-то человека из медресе Мирзы Улугбека... Может, поднимешься, сын мой?

Каландар приподнялся. Миран почтительно поздоровался с ним.

— К вам Мансур Каши, его послали талибы медресе, все талибы...

— Послали ко мне? — удивился Каландар. — Зови тогда, раз ко мне.

Мансур Каши был самым молодым из мударрисов в медресе Мирзы Улугбека, но его уважал сам устод за ум, глубокие и обширные знания. Непривычно было видеть Каландару, что такой гость почтительно приветствует его, да так почтительно, будто перед ним не бывший талиб этого медресе, не дервиш недавний, а некий достославный ученый муж. Приход Мансура Каши не мог не радовать: еще не перевелись, значит, честные люди!

Старик кузнец оживил горячие угли в жаровне, подкинул туда ветви саксаула, постелил на помосте войлок, пригласил гостя садиться. А Мансур Каши все оглядывался по сторонам: что и говорить, «зала» была непривычна. Каландар успокоительно положил ладонь на колено мударриса.

— Так вы говорите, что вас послали ко мне люди науки и талибы? Откуда прослышали они о вашем покорном слуге?

Мансур Каши улыбнулся, погладил коротенькую свою бородку.

— Слава о вас распространилась по всему Мавераннахру... — заученно сказал гость и добавил не без лукавства — Особенно, шайр[73], после того, как вы оставили отшельничество и оказались вновь под крылом мавляны Али Кушчи... Люди науки знают о вас и уважают вас! — Это Мансур Каши сказал уже всерьез.

Их было приятно услышать, эти слова мударриса Мансура Каши. Но и горько от этих слов было тоже. «Велика ль польза от того, что я вновь под крылом мавляны Али Кушчи, коль ничем не могу помочь ни ему, ни другому своему наставнику, ни женщине, которую люблю!»

Все же Каландар превозмог себя, спросил спокойно, словно уверен был и в собственных силах, и в силах собеседника:

— Так что говорят среди ученых мужей, расскажите нам, друг мой.

Мансур Каши, свыкшись с обстановкой, глядел теперь неотрывно на пламя костра.

— И талибы, и мударрисы пребывают в тяжелой скорби, шайр. Ведомо, что все медресе ныне закрыты, и как сложится судьба ученых людей, неизвестно. Впрочем, доброй судьбы не ждем.

— Пребывать в скорби — много ли блага от этого занятия? Печаль лишь обессиливает.

— Верные слова! — горячо вмешался вдруг в их беседу Мирам Чалаби. — Но поговаривают, будто ученые люди решили вызволить из заточения Али Кушчи! Не знаю, почему не говорит о том мавляна Каши.

Мансур Каши с опаской взглянул на двух братьев, Кал-канбека и Басканбека. Они сидели у костра, поддерживали огонь. Каландар успокоительно улыбнулся, давая понять, что эти люди свои. Каши в ответ кивнул, но голос все же понизил, когда начал рассказывать:

— Да, Мирам говорит правду. Вчера вечером ко мне пришли талибы, несколько человек, с таким предложением — вызволить из темницы мавляну Али. Головы свои, мол, не пожалеем, в огонь бросимся, на все готовы... Если б знать, говорят, в какой стороне зиндан, мы бы подкоп сделали!

— Ай да молодцы! — не выдержал Калканбек. — Настоящие джигиты! Как по-твоему, Басканбек?

— И по-моему, молодцы... Думать-думать, весь ум растеряешь! Действовать надо! — Басканбек щелкнул ногтем по медному кумгану, ловко выхваченному им из огня. — К таким джигитам с храбрыми сердцами и мы бы присоединились, правда, Калканбек? Вот наш брат Каландар думает, думает. А что придумал? А мы?.. Скажут делать подкоп — будем копать! Скажут: саблю наголо — будем рубиться! Разве не так, а, Каландар-ака?

Каландар невольно рассмеялся.

Ну и впрямь молодцы джигиты, сами всегда бодры и других могут подбодрить. Но представляют ли они себе, что такое мощная крепость с высокими зубчатыми стенами, и как ее сторожат, эту крепость, и сколько там дозоров, вроде тех, что попадались ему сегодняшним вечером по дороге?

— Чему засмеялись, Каландар-ака? — спросил Калканбек.

— А тому, — ответил за Каландара Уста Тимур, будто угадав его мысли, — что... не знаете вы, кто строил эти зинданы... И Кок-сарай, и темницы в нем строил сам эмир Тимур. А он понимал толк в этом деле!

— Так что же, будем сидеть сложа руки? — снова загорячился Мирам Чалаби.

— Молодежь права, — прервал свое молчание Каландар. — Надо искать выход. Надо найти выход! И побыстрее!

Старый кузнец сидел спокойно. Поглаживал ладонью правую щеку, запачканную сажей, пристально всматривался в костер, будто не замечая, как вытянулись лица молодых людей, как крепко сжал голову Каландар, словно силой заставлял себя думать. Пышные ровные усы старика дрогнули, брови нахмурились.

— Смирный раб божий, я тоже много раздумывал, как же нам отыскать выход... — Старик говорил, как обычно, медленно-рассудительно, ни на кого не глядя, только на костер, на языки огня. — Я смог прийти к одному... Узников спасет, уж если что и спасет, золото!.. Золото! И ничто другое.

— Золото? — переспросил Каландар. — Подкуп, значит?

Установилась тишина. Калканбек от кузнечных мехов пересел поближе. Все сбились в тесную кучку, будто боясь прослушать хоть слово из того, что им скажет сейчас старик.

— Золото... Подкуп... — подтвердил он. — Больше ничего не поможет. Запомните, сыны мои, среди эмиров и беков, кто сейчас предан шах-заде, нет таких, кого нельзя перекупить. Забросить бы крючок с хорошей наживкой — и кто-то зацепится. Надо лишь подумать, кого цеплять. И золота не

жалеть. Голова Али Кушчи дороже всякого золота... Я не удивлюсь, коли узнаю, что Мирза Улугбек заранее подумал об этом. Видать, он и впрямь был мудрым и глядел далеко вперед.

Старик повернулся к Каландару: не выдал ли ненароком тайну? Но лицо Каландара было непроницаемо. Он сразу понял, куда клонит Уста Тимур. На мгновение удивился, что такая простая мысль не пришла в голову ему самому, и сейчас же лихорадочно стал прикидывать, кто может клюнуть на золотую наживку. Шакал, вот кто! Как-то вечером недавно он издали видел Шакала. Есаулом стал этот Шакал! На голове теперь носит не трех драный, а литой военный шлем, на поясе кривую саблю, под седлом у него крепкий аргамачище. И так важно, самоуверенно восседал на нем Шакал, что Каландар присвистнул... Да, прав старик, надо забросить удочку. Шакал клюнет! Мансур Каши, видно, по-своему объяснил бесстрастное молчание Каландара.

— Если необходимо золото, мы придумаем, как его найти. Соберем! Никто из ученых и талибов, думаю, не откажет нам!

— Дело не в одном золоте. Найдется ли рыба? Такая, что нам нужна.

— И рыба найдется, — Мансур Каши опять невольно покосился на братьев-кузнецов. — Ваш слуга знаком с одним человеком... из важных вельмож... его имя... эмир Султан Джандар... наш дальний родственник.

— Эмир Султан Джандар?! — Каландарова бесстрастия как не бывало.

— Эмир Султан Джандар? — Старик тоже удивился. — А говорят, что он-то и есть карающая рука шах-заде!

— Ну, тогда это не рыба, а кит! — развеселился Мирам Чалаби.

— Этот кит сожрал половину Самарканда!

— Пойдет ли он на приманку?

Все заговорили хором, перебивая друг друга. Уста Тимур молитвенно поднял руки, устанавливая тишину.

— Не будем бояться, дети мои. Вряд ли такая ненасытная акула не пойдет в наши сети за увесистой добычей!.. Пусть же всевышний даст нам удачливую ловлю, аминь!

13

Эмир Султан Джандар вернулся из Кок-сарая и улегся в постель, чтоб вздремнуть. Но и мгновения, кажется, не прошло, а уж слуга осторожно тронул за плечо.

— Господин! К вам гонец из Кок-сарая.

Султан Джандар с трудом открыл глаза.

— Из Кок-сарая, говоришь? Ну, зови! — И опять сомкнул вежды эмир Джандар, опора нового властелина. Вот уже несколько месяцев нет покоя этой опоре ни днем, ни ночью... В любое время суток поднимают его с постели гонцы шах-заде, будто и не эмир это влиятельный, не Султан Джандар-тархан, отпрыск древнего знатного рода, а так, чиновник какой-нибудь, человек на побегушках.

А ведь он, Султан Джандар, истинно опора шах-заде. Он освободил нового владыку и от старого повелителя, султана Улугбека, и от братца кровного, шах-заде Абдул-Азиза, что не давал Мирзе Абдул-Латифу спокойно спать по ночам...

Подумав про это, Султан Джандар вздрогнул: не призрак ли сейчас войдет сюда убиенного шах-заде, младшего из братьев!.. Как он рыдал тогда, в последний свой час, этот Абдул-Азиз! Будто ребенок!..

Султан Джандар все глядел на дверь, преодолевая внезапное оцепенение. Да, новый властелин многое свершил его, эмира Султана Джандара, рукой... И все-таки не доверяет! И завел еще в последнее время обычай — не спать по ночам, «государственными» делами заниматься. И все должны быть начеку — а вдруг позовет, вдруг весь диван переполошит? А если дел нету, устраивает пиры... Это бы еще куда ни шло, только и пиры его противны, как поступки, как он сам. При Мирзе Улугбеке в зале для пиров, бывало, собирались знаменитые поэты, мудрецы, танцоры и танцовщицы улаждали зрение, музыканты — слух. А этот один как сыч или позовет сановника, но не угощает, а молча пьет. Молча и ты сидишь, опрокидываешь чашу за чашей. Нудно, тоскливо! Если музыкантов велит кликнуть, то приказывает играть лишь грустное, тягучее, да чтоб тихо, а сам все сидит, раскачивается, глушит себя вином.

Шах-заде приглашает его на свои «веселья», приглашает. Наравне с приближенным каким-нибудь из своей своры, притащившейся сюда, в благословенный Самарканд, из Балха. Подаст тебе из собственных рук кубок с вином, на роже так и написано: цени, мол, эмир, честь, которую тебе оказывают.

Аллах всемогущий! На то ли он надеялся, когда отвернулся от Мирзы Улугбека и отдал славный меч в распоряжение шах-заде?

Султан Джандар рассчитывал, что Абдул-Латиф только для вида будет занимать трон, а управлять Мавераннахром, держать в страхе и трепете страну будет он, эмир Джандар. И думалось, виделось, грезилось тогда: все беки, все эмиры, вся знать, торговцы, сановники покрупнее и чиновники помельче, все, все будут обивать порог Султана Джандара, кланяться будут Султану Джандару, сложив почтительнейше руки на груди... И власть его будет невиданной, и хоромы его в столице ни с чьими другими не сравнятся по великолепию, а в гареме визиря окажутся самые знаменитые красавицы. И во имя того, чтобы осуществились эти вождедения, эмир выполнял все, что ни приказывал ему шах-заде, шел на любые преступления.

И что же? Ни слава, ни положение Султана Джандара, ничего не приумножилось. Напротив, иные вельможи стали косо смотреть на эмира, потихоньку злословить о нем... Ну а о приумножении богатства лучше и не думать!.. Последним средством поправить дела была женитьба старшего сына на внучке знаменитого ювелира хаджи Салахиддина.

Любимая внучка ювелира, увы, конечно, не первой свежести бутон, в скольких руках мужских побывала, ну да ничего, и красавица писаная до сих пор, говорят, а главное, очень уж казна дедушки красива, а этот кутила и мот, старший сын, неисправимый игрок в кости, сумеет и эту казну потрясти, как вытряс уже немало из отцовской. И хаджи неплохо было бы при покровительстве эмира, и эмиру хорошо породниться с ювелировой казной!.. Осведомленные люди сказывают, что любимой внучке дед уготовил все состояние свое.

Султан Джандар хотел уже сватов послать к ювелиру, но сумасшедший шах-заде зачем-то бросил в заточение отца красавицы, мавляну Мухиддина. И, как ни старался Султан Джандар выгородить мавляну, не смог помочь. Не смог, хоть некоторые и думают при дворце, что он все может... И еще думают, будто эмир Джандар — причина всех гонений, заточений, казней. А он... о, аллах! Он не знает, как сам-то остается в живых...

Ну да, он, как и многие другие эмиры, был недоволен бесславным походом в Хорасан, откуда вернулись без добычи. Всех раздражало, что султан Улугбек больше думал о звездах, а не о своих

верных эмирах, раздражали и притеснения, которые чинил им несдержанный в страстях Абдул-Азиз, любимый сын повелителя. Вот почему он, как и большинство эмиров, взял сторону Абдул-Латифа. Но Абдул-Латиф оказался хуже отца своего. Ничем не порадовал он эмиров: ни крупными дарениями, ни высокими чинами, благодаря которым можно было бы приумножить богатство. Шах-заде, выяснилось, признает одних шейхов-богачей, поклоняется, прямо поклоняется своему пиру Низамиддину Хомушу, одного его и слушает... Улемам хорошо, да эмирам-то каково? Вон даже шейх-уль-ислам Бурханиддин в тени. Впрочем, шейх-уль-ислам, наверное, сам ушел в тень, замкнулся, отгородился от всех, выжидает.

А он, эмир Джандар... Шах-заде, видно, спятил. Каждый день смотрит, смотрит эмиру в глаза — не верит ни словам его, ни поступкам, следит за ним исподтишка, ловит ехидными вопросами, хочет поймать врасплох...

Султан Джандар встал наконец с постели. Тяжко, долго вздыхал, растирая широкую волосатую грудь. Тут тихо приотворилась дверь и вошел Шакал.

«Вот еще одного соглядатая ко мне приставили», — подумал Султан Джандар. Грубо спросил: — Ну, что за неотложное дело среди ночи, косоглазый?

Шакал заулыбался угодливо.

— О том спросите нашего... милостивого повелителя, господин мой.

Султану Джандару захотелось обложить посланца самыми грубыми ругательствами. С трудом сдержался. Отвел взгляд в сторону. Стал надевать на тело, не освеженное достаточным сном, тяжелые воинские доспехи, будто на брань, но так приказывал являться шах-заде.

Мягкий, вкрадчивый, откуда-то сбоку, раздался голос Шакала:

— Мой досточтимый эмир! Вы, я знаю, не доверяете своему преданному слуге. И ошибаетесь во мне, господин. Мне самому не по душе дела наследника.

«Наследника? Не повелителя, а наследника?.. Что это значит? Какая цель у этого косоглазого, что захочет, так совратит и самого шайтана?»

Этот дервиш давно был известен Султану Джандару. Встретив его во дворце в одеянии есаула — это вместо рубища-то! — эмир очень удивился, потом догадался, что тут не обошлось без шейха Низамиддина Хомуша. Его слуга, его доносчик этот бывший дервиш! Ухо надо держать с ним остро!

Медленно затягивал эмир Джандар на своем огрузневшем животе пояс. Не глядя на Шакала, спросил, будто не понимая:

— Про какие дела говоришь, косою?

— Да про всякие разные, мой эмир... Вы-то опора ему, а чем отблагодарены?

«Моими словами говорит, моими! Но что же все это значит? Сочувствует он мне или губит?»

Было отчего разволноваться. Вчера пришел к эмиру молодой Мансур Каши, родственник. Говорил о том, что есть люди, недовольные шах-заде, что кругом беспокойно, что голод в столице и в торговле застой. А потом исподволь стал спрашивать о мавляне Мухиддине, мавляне Али Кушчи. Намекал, что ученые мужи могут многих-многих денег стоить. Выкуп, стало быть, предлагал за них. Эмир рассердился, угрозил зинданом за такие разговоры, потом почти — выгнал гостя, хоть и родственником тот был. Ну а теперь вот еще один... в сердце Султана Джандара запускает руку... Что-то пронюхивает, на что-то намекает, змей плутоватый!..

Медленно-медленно пристегивал эмир Джандар к поясу саблю. Лица к Шакалу так и не повернул.
— Удивляешь ты меня, косою. При Мирзе Улугбеке был ты нищим попрошайкой, вечно голодный слонялся по самаркандским улицам... А теперь? По милости... наследника ты теперь есаул. Чего, кажется, еще человеку желать? А?

— Говорят, господин, и так: звание высокое, да скатерть на столе пуста...

— Есаулу да ее не заставить яствами?

— Тогда позвольте напомнить еще одну пословицу, милостивый эмир: один конь не поднимет пыли... И для хлопка нужны две ладони... Есть у меня к вам дело...

— Что за дело? Почему замолчал?

— Одно дело... выгодное. И пугаться не следует — люди верные, очень верные...

«Верные люди? Верное дело?.. А может, и вправду в столице уже поспел заговор, а я, эмир Султан Джандар, не знаю о нем? Недаром приходил Мансур Каши... И где-то ведь скрывается любимый воин Улугбека — Бобо Хусейн Бахадыр. Одно его имя вызывает у шах-заде дрожь. И Мираншах крутит в последнее время, замышляет что-то. А шейх-уль-ислам Бурханиддин и подавно не приходит с поклоном: отодвинули в тень, а в тени самое место для верного дела... Осторожность нужна. Поспешность может боком выйти... Надо все разузнать. А опираться на бесноватого шах-заде все равно что на тень опираться».

Султан Джандар резко повернулся к Шакалу, схватил его за ворот.

— Коль жизнь дорога, отвечай прямо: кто поручил тебе испытать меня?.. Ну?! Не шейх ли светлейший?.. Сам шах-заде?.. Говори! Брюхо распорю и кишки намотаю на шлем! Говори, шайтан!

— Пусть меня покарает аллах, если лгу!.. Пошадите, эмир, хоть дайте досказать...

— Досказывай!.. Есть заговор?

— Нет, господин мой! Есть деньги, много денег. Есть золото, драгоценности.

— Все черные дела начинаются с золота и драгоценностей!.. И на какой улице их просыпали, эти золото и драгоценности?

Султан Джандар слегка сдавил горло Шакала.

— Хватит зенками-то вращать. Всю правду давай, шайтан!

Шакал, задыхаясь, прохрипел:

— Мавляна... Мухиддин и мавляна Али Кушчи... они... их надо...

«Вот это стервятник! Так ненавидеть ученых, как ненавидят их приспешники шейха, и на тебе, за золото ученых-то решил вызволить этот шайтан... Только кто же даст за них злото и драгоценности, не Салахиддин-заргар?.. И Мансур тоже шекал на выкуп двух ученых, большой выкуп».

Эмир разжал пальцы, поправил сползший к низу живота пояс с саблей. Отодвинул с пути есаула.

Прошел, прямой и настороженный, к двери.

— Заруби себе на носу, косою! Кто стоит в двух лодках, обязательно свалится в воду... Эмир Султан Джандар не продает своей чести за золото и драгоценности!

...Днем шел снег и было тепло, а к вечеру стало студено. Это эмир почувствовал сразу же, выйдя из дому в ночную темень. Кони у ворот застоялись и теперь взяли с места вскачь. Каменная дорога зазвенела под копытами, брызгами полетели ледяные осколки замерзших луж.

Самарканд, подобно кладбищу, был пуст и черен. Не слышалось ни колотушек сторожей, обычно как раз в это время обходивших улицы, ни тихого позвякивания сбруи на лошадях ночных дозорных, что

с недавних пор высматривали кого-то, освещая городские перекрестки чадящими факелами, ни разу не встретились всадники и дервиши, которые обычно днем и ночью бродили по городу, так что и в самое неурочное время можно было насладиться их песнопениями во славу аллаха.

Шакал следовал за эмиром, чуть приотстав, и с тревогой поглядывал на его фигуру, казавшуюся в седле темной каменной глыбой.

Тревога есаула была понятна: а ну как эмир Джандар передаст шах-заде его слова? Не должен бы вроде, да кто их знает, сановников этих?.. А слова насчет спасения ученых мужей вырвались у него, у Шакала-то, случайно. Почти случайно. Во всяком случае, не в таких условиях он хотел их произнести и не так, как оно вышло. Но в последние дни столько всего произошло с есаулом, что, право, и жалеть не надо, что приоткрыл он перед эмиром тайные помыслы разных людей.

Неделю назад Шакала снова позвал к себе шейх Низамиддин Хомуш. Как всегда, расспросил подробно обо всем, что случилось в Голубом дворце со дня последнего вызова — о переписке шах-заде с другими властителями, о делах дивана, о взаимных кознях военачальников. Дотошно узнавал шейх о тех вельможах, эмирах и ученых мужах, кого бросили в зиндан, а также и об отпущенных обратно на свободу. Словом, отчет за неделю, полный, подробный. Казалось, что отчетом этим шейх остался доволен. Но в конце разговор свернул опять на Каландара Карнаки, до сих пор не только не пойманного, но и не найденного, и наставник сурово изругал Шакала. Он, шейх, сделал Шакала дворцовым есаулом, приближенным к самому повелителю, а есаул никак не может найти и словить какого-то бродягу. Это ли не позор? Это ли не обманутое доверие?

Шакал ушел от шейха в печали и тревоге.

Та ночь была безлунно-темной. Шакал хлестал коня, словно вымещая на животном свою обиду, — несправедлив шейх, несправедлив!

Он ведь старается, он очень старается, а Каландара поймать вовсе не просто.

Шакал снова стегнул коня, но тут же и придержал его: у странноприимного дома он услышал знакомое пение дервишей. Что-то шевельнулось в его душе. Есаул! Почести! Выгоды! Все это суета сует.

Шакалу захотелось вдруг зайти в ханаку, вдохнуть раздражающе приятный дурманский запах гармалы, посидеть вместе с теми, кто оставил суетные заботы мира сего. Не лучше ли, пусть и в рубище, в лохмотьях, быть душевно спокойным, влиться в толпу дервишей, покуривать анашу, творить хвалу всевышнему? Тяжелый камень невыполненных обещаний, упреков, загадка исчезновения Каландара — все это свалится с души, и поминай как звали!

Он зашел в ханаку, В полутемном помещении под сводчатым потолком одни плясали в самозабвении, другие молчаливо застыли за кальянами, третьи, роясь в лохмотьях, пересчитывали собранные за день монеты. «Сколько пришлось им стучать в двери людские», — почти с умилением подумал Шакал.

Его заметили. И что тут поднялось! Кто стал бранить Шакала — он, мол, еретик, нечестивец, покинул дорогу богоугодную; кто в восторге, смеясь, гладил его воинский шлем, его кольчугу, хватался за прочное и недешевое сукно одежды; иные же искренне радовались его приходу, быстро сунули ему в руки чилим, пригласили отведать благовонной анаши. То ли анаша была очень крепка, то ли Шакал уже немножко отвык от нее, но после двух-трех затяжек перед глазами его поплыл туман, туман, туман, и все тревожнения улетучились, и все заботы, и все переживания, и словно иной

мир принял его в свои объятия.

Эх, какая была у него жизнь раньше! Шакал надел чей-то старый треух, выпил пиалу кукнары[74] — вот это зелье! — и пустился в пляс, священный танец дервишей, что именуется зикром... А потом снизошло на него исцеляющее размышление, он вспоминал свою полную страданий и унижений жизнь и нашел, что такой она осталась и во дворце, и подстегнутый хмельным зельем, дымом анаши, одурманенный, он долго плакал над своей обидно бедной радостями жизнью, плакал, пока не заснул в каком-то темном углу.

Сколько он проспал, Шакал не помнил. Не сразу сообразил, пробудившись, где это он. В помещении горела только одна коптилка; накидав на себя всякого тряпья, прижавшись друг к другу, дервиши спали на циновках, брошенных кое-как на земляной пол. Шакал отыскивал саблю, шлем и кольчугу. Вышел на воздух. Стояла полночь. Он определил это по созвездию Плеяд — хоть и не знал того названия их, которые знал Улугбек, — прямо над головой, будто пригоршня горячих углей, светили Плеяды. Хорошо, что конь послушно стоял неподалеку, привязанный к какой-то жердине, ждал, перебирая ногами от холода.

Дорога от «Мазари шериф» до Кок-сарая шла мимо оголенных садов, прежде чем сворачивала в узкие улицы квартала ремесленников, а потом и приземистых торговых рядов. Глухие места проезжал ночью Шакал. Пустынны были сады и виноградники; пустынна базарная площадь; вымерли торговые ряды. Вдоль речушки располагались кузнечные, плотничьи, столярные мастерские. Ни звука и тут. Почему-то стало страшно. Шакал хлестнул коня. Миновал последнюю лавку кузнечного ряда и столкнулся с тремя всадниками! Ночные стражи? Шакал так и подумал сначала и подался влево, давая им дорогу. Но всадники приблизились, придержали коней рядом с его конем. Засада? Шакал поднял своего скакуна на дыбы, хотел повернуть назад, но тут его ударили! Он продолжал натягивать поводья, руки у него были заняты, и один из всадников беспрепятственно накинул ему на голову просторный шерстяной мешок, тут же дернув веревку, стянул горловину. Шакал только и успел, выпустив поводья, схватиться за рукоятку сабли, но руку перехватили, заломили за спину.

Все остальное сохранилось в памяти так, как, бывает, застревает в ней зловещий сон. Так бывает еще и от курения анаши: замутненные картины следуют одна за другой.

Проскакав фарсанга два, его стянули на землю, втащили в какую-то пещеру или могилу; вокруг плотным кольцом стали люди то ли с темными лицами, такими, что не разобрать было этих лиц, то ли просто на них были надеты маски. По голосу одного из похитителей Шакал узнал — «вайдод[75]!» — Каландара Карнаки.

С большим трудом понял Шакал, чего от него хотели эти люди в масках. Что-то про ученых мужей спрашивал Каландар, говорил, что надо их вызволить из зиндана, а если нельзя вызволить, то хоть облегчить участь.

Шакал тут мало что мог сделать. Судьбы узников каменных подвалов в руках зиндан-беги, надзирателя темницы, и подчинен этот начальник самому повелителю, только ему! Но к нему, к есаулу, все обращали и обращали призывы и вопросы, сулили богатства, и тут вспомнил Шакал про эмира Джандара. И, вспомнив, искренне, хотя торопливо и сбивчиво, заговорил о том, что да, он постарается помочь людям, заинтересованным в этом деле, сделает все, что в его силах. Только — и тут он снова представил в мыслях своих эмира Джандара, — только нужно золото, много золота!

И тогда человек в маске, похожий на Каландара, ну да, сам Каландар, присел к полураспластанному на земле пленнику и сказал, прямо глядя на него, что ради спасения ученых мужей не пожалеют золота! Сказал так твердо, что Шакал сразу поверил. Каландар сунул ему в руки Коран и потребовал на святой книге поклясться, что тайного умысла Шакал никому не выдаст, что будет отныне их человеком. Чьим, этого Шакал не понял. Понял одно — не султана Абдул-Латифа.

«В награду же, — услышал он дальше, — ты получишь жизнь и... золото».

Ему вновь надели мешок на голову, вновь связали за спиной руки, вновь потащили куда-то.

Шакала оставили в зарослях тугая на берегу Зеравшана, в этом он убедился после того, как похитители развязали ему руки, освободили от мешка и ускакали прочь.

Они ничего не взяли у него: ни коня, ни сабли, ни шлема.

Шакал взобрался в седло, все еще не веря в спасение, огляделся вокруг. Рассвет был близок. Уже можно было увидеть очертания горы Кухак, где Каландар назначил ему следующую встречу.

Несколько дней после этого происшествия есаул ходил сам не свой. То он собирался пойти к шейху и, пав к ногам его, рассказать все, как было. Но вспоминал пещеру, похожую на могильный склеп, людей, окруживших его кольцом, себя внутри этого кольца, жалкого, словно раздавленного наполовину, вспомнил Каландара, клятву свою на Коране, мешок, наброшенный на голову. «Если нас предашь, запомни — никуда не уйдешь от расплаты. На небо полезешь, и оттуда стащим тебя. За ноги!» Эти стащат.

То овладевала им решимость и вправду помочь Каландару и людям, заинтересованным в освобождении ученых. И незаметно Шакал расспрашивал о том, что имело отношение к их «делу». Вскоре убедился он, что без эмира Джандара нельзя даже войти в подвал, где томились мавляна Али Кушчи и мавляна Мухиддин. Эмиру Джандару туда открыт доступ как приближенному к повелителю лицу. Стало быть, можно было с ним вместе...

Исподтишка присматриваясь, Шакал понял, что эмир обеспокоен чем-то, недоволен. Быстро сообразил чем: ждал многого от наследника — дождался малого от нового султана. И Шакал решился.

Вот только случая не мог выбрать подходящего, чтобы закинуть удочку для нужного разговора. Нашел было сегодня случай, да неудачно что-то получилось: эмир проявил настороженность, не раскрыл сердца...

И снова при взгляде на массивного всадника, ехавшего впереди, у Шакала засосало под ложечкой: не оказаться бы по милости эмира одним из узников того самого зиндана, откуда они с Каландаром взялись вызволить ученых мужей. Бросят туда его, бедного есаула, на съедение клопам, или еще проще — отсекут голову, как это сделал со своим отцом, с самим султаном Улугбеком, сын его, нынешний повелитель. И аллаха не убоился!

14

Мирза Абдул-Латиф лежал на боку, подперев рукою голову. Шелковые одеяла нежили теплом. Голова приятно кружилась от выпитого вина. Глаза все чаще обращались к выходу из этой залы, что несколькими коридорами была связана прямо с гаремом.

Горка шашлыка, приготовленного из перепелов, хрустальный китайский графин, наполовину наполненный золотистым вином, стояли перед Абдул-Латифом на хантахте.

Эмир Джандар, войдя в залу, сразу обратил внимание, что свеч зажжено мало, зала погружена в

полумрак, и может быть, из-за этого, а может, из-за позы, в которой лежал шах-заде, ощутил какое-то смутное беспокойство. Он сложил руки на груди, хотел опуститься на колени у порога, но шах-заде поманил к себе. Эмир подошел, выдержал взгляд красных от бессонницы и вина глаз повелителя, услышал обычный его первый вопрос, будто не расстались они лишь несколько часов назад:

— Ну, эмир, что нового? Какие вести принес из столицы?

Эмир Джандар отвел глаза от колючего взгляда шах-заде.

— Благодарение аллаху — все спокойно, благодетель.

— Если... все спокойно, то... почему же глаза от меня прячешь?

Надо было улыбнуться, и эмир Джандар выдавил из себя улыбку.

— Мои глаза не выдерживают сияния лица повелителя...

— Лиса! — засмеялся Абдул-Латиф. — Умеешь льстить, умеешь... Только знай, эмир, — шах-заде улыбался хмельно, малоосмысленно, — знай только... я насквозь тебя вижу... все, что у тебя в душе, вижу. И что в твоём сердце, какие там... цели, тоже вижу.

— Нет в моём сердце иных целей, чем умножать вашу славу. Чтоб правление ваше было все лучезарнее и лучезар...

— Хватит!.. — Шах-заде не дождался конца славословящей фразы. — Я устал... эмир... Устал от государственных забот. И душа моя, эмир, жаждет забот... иных. Как говорят поэты, жажду вдохнуть аромат розы!

Шах-заде вытащил из-под подушки золоченую трещотку, взмахнул ею. На призывный стук тотчас явился темнолицый сарайбон.

— Передай главной госпоже гарема, пусть придет сюда!

И, когда сарайбон исчез за дверьми, обратился к Султану Джандару:

— Я на слышен про одну розу, эмир. Слава ее велика... И моя душа захотела вдохнуть аромат этой розы.

Твои глаза, моя газель, мне душу опаляют.

Твои уста, как два цветка, рубинами сверкают.

А? Каковы стихи, эмир? Твой повелитель понимает толк в сложении стихов... Да ты пей, эмир!

— Стихи превосходные, благодетель. — Эмир единым духом осушил чашу.

Вино не принесло успокоения, не освободило от предчувствия чего-то дурного, что должно было случиться.

В каком цветнике растет эта роза, чей аромат хотел бы... вдохнуть лучезарный султан?

В покой вошла госпожа гарема. На лице, как полагается, прозрачный кисейный платок голубого цвета. На загнутых носках отороченных золотым шитьем кавушей красовалось по жемчужине. Руки на пышной груди. Нежно прозвенели в поклоне украшения. Хмельной взгляд шах-заде задержался не без удовольствия на ее пышных бедрах, ясно обозначавшихся сквозь тонкий шелк шаровар.

— Описание той розы пусть нам даст госпожа гарема. Проходите, ханум, присядьте к нам.

Движения этой женщины при всей ее полноте были бесшумны и изящны. Она не подошла, подплыла к сидящим мужчинам, присела перед шах-заде почтительно и в то же время готовно, столь же игриво-почтительно приняла пиалу, что протянул ей, улыбаясь, Абдул-Латиф, а другой рукой проворно, так что перстни блеснули на пальцах, откинула кисею с лица. Как положено, чуть пригубила, выгнув шею, напружинив стан, — вся почтительность и вся истома, что читалось в

глазах, устремленных на повелителя.

Эмир Джандар украдкой — но неотрывно — глядел на ее налитую, словно спелое яблоко, фигуру, на жаркую полноту рук, угадываемую за легкими рукавами, обнажившихся, когда красавица брала пиалу, на ее манящие груди, высоко вздымавшиеся под сукном красного мурсака; эмир облизнул вмиг ставшие сухими губы, проглотил комок в горле.

Шах-заде усмехнулся, заметив волнение эмира.

— Ханум, опишите-ка нам ту, розоликую...

Госпожа гарема свела тонко изогнутые брови, меж которых устроилась темно-синяя, искусно посаженная родинка.

— Эмиру, может, и не пришлось видеть ее, но слышать о ней он уж наверняка слышал. Я говорю о той, что шах-заде Абдул-Азиз отобрал у сына Ибрагимбека.

Вот оно что! Эмир быстро взглянул на шах-заде, в мыслях пронеслось: «Что еще придумал этот изверг?! Мир полон нераскрывшихся бутонов, а он хочет цветок не первой свежести. Нездоровая страсть? Нет! Это месть! Месть брату, которого... уже нет в живых! О, ужас!»

У шах-заде при упоминании имени Абдул-Азиза улыбка исчезла, будто соскочила с лица.

— Ну, что же ты молчишь, эмир?

— Мне... приходилось слышать об этой розоликой, повелитель... Но...

— Что?

Эмир вытер со лба капли пота, искоса посмотрел на госпожу гарема. Шах-заде понял этот взгляд как просьбу говорить наедине, сделал женщине знак выйти. Та неохотно направилась к дверям.

Шах-заде нетерпеливо спросил:

— Так что ты хочешь сказать, говори!

— Благодетель! Эта роза побывала в чужих руках, и не в одних... Не просто так ведь сидела она в гареме шах-заде Абдул-Азиза.

Услышав снова имя ненавистного брата, Абдул-Латиф рывком поднялся с одеял, отбросил прочь пуховые подушки. Вмиг побледнев, проговорил, кривя губы:

— Вот я и... хочу попробовать... что за роза знаменитая свела с ума этого ублюдка, чтоб он в могиле перевернулся, любимчик султана-вероотступника!

Эмир попробовал незаметно отодвинуться, но взгляд собеседника будто пригвоздил его к месту.

— Ну, что замолчал, эмир? Говори дальше!

— Да, да, вы правы, благодетель, — пролепетал эмир Джандар что-то совсем несуразное. Приходя в себя, добавил уже осмысленно: — Ваше желание закон, и да сбудется оно!

Вдруг счастливая мысль, словно луч, вспыхнула в голове:

— Только... только ведь роза эта, повелитель, из цветника мавляны Мухиддина, она оттуда... Взять в гарем дочь того, кто заточен, удобно ли это для султана султанов?

На лбу шах-заде собрались морщины, тонкие усы нервно дрогнули.

— А как там мавляна Али Кушчи? Не признался?

— Признается тот, кто боится аллаха, а этот нечестивец упрямый...

— Ну, вот что! — Абдул-Латиф снова упал на подушки, вытянул перед собой кулаки. — Не признался, так пусть и сгниет в зиндане! А мавляна Мухиддин... отпусти-ка его из зиндана, эмир!

Сказав это, шах-заде взял со столика пиалу, доверху наполнил ее вином из графина; протягивая

пиалу эмиру, подмигнул.

— Только тебя одного, эмир, потчую, из рук своих. Помни об этой чести.

— Благодарю вас, благодетель мой. И пусть всевышний щедро осыплет вас милостями своими, аминь!

— Аминь... Так когда же приведешь к нам ту розоликую?

Султан Джандар с трудом улыбнулся, поборол острый гнев, что впился когтями в сердце.

— Позвольте дать совет, повелитель... Надо неделю подождать, пока семья успокоится. Салахиддин-заргар очень влиятельный человек среди торгового люда, и к тому же ему благоволит светлейший шейх Низамиддин Хомуш... Следовало бы, благодетель, постараться не задеть чести старого ювелира, послать вельмож.

— Ну что ж, ты сам и пойдешь, эмир! — Шах-заде пьянова-то рассмеялся. — Уж выпроси мне ее, ха-ха-ха!.. Только смотри, будешь пялить на красавицу глаза, выколю их тебе, ха-ха-ха...

«У шайтана и шутки шайтаны! — подумал эмир Джандар, и эта мысль не оставляла его ни в то короткое время, которое он провел тогда с совсем уже хмельным шах-заде, ни когда покидал покои властелина. — Вот, вот чего я добился, отпав от султана Улугбека, — одни несчастья, одни неудачи... Породнился, называется, поправил свои дела... Последняя надежда, а он, „благодетель“, эту надежду как фарфоровую чашку о камень!.. Что же мне делать? С кем посоветоваться?.. Да, а что это за верные люди, о которых болтал косоглазый дьявол давеча? Не воины ли Бобо Хусейна Бахадыра? Про них ведь ходят какие-то слухи по городу...»

В одном из помещений дворца эмир натолкнулся на бодрствующего сарайбона: голубые глаза балхца смотрели на Султана Джандара удивленно и несколько недоверчиво.

— Где тут косой Шакал? Его ишу...

— Шакал?

— Косоглазый есаул! — Султан Джандар прижмурил один глаз, пальцем повел веко на сторону.

— А... он во дворе, со стражей.

— Ладно, я сам его найду!

И, с трудом умеряя чувство нетерпения, Султан Джандар тяжело шагнул к выходу.

15

— Снова за свое, мавляна, снова жалобы? Уже три месяца вы льете слезы — и какую пользу от этого получили? — Али Кушчи стоял в привычной позе: руки на груди, держится прямо, не опирается, только слегка прислоняется к холодной каменной стене.

Из темного угла послышался слабый, плачущий голос:

— Польза?.. Была бы польза, если бы вы согласились со мной...

— Сожалею, но согласиться не могу.

— Это не что иное, как упрямство, мавляна. Из-за гордыни, из-за упрямства погибнете здесь — и себя погубите и меня, слабого, сраженного недугом друга своего.

Этот тонкий голос, полный мольбы и жалобы, будто тупой нож, которым тебе ковыряют, ковыряют грудь... Али Кушчи поднял руки, прикрыл уши... Вот уже больше двух месяцев так: стенания и упреки, упреки и стенания.

От них Али Кушчи страдал едва ли не больше, чем от голода и холода, от гнилого запаха сырости, от клопов и блох, чьи нашествия вызывали невыносимый зуд во всем теле, постоянный, не

уменьшавшийся.

В первый день он сам расчувствовался, прослезился, потом несколько дней подряд успокаивал мавляну Мухиддина, словно малого ребенка.

Кто знает, что стало бы с мавляной Мухиддином без Али Кушчи, который ухаживал за больным, успокаивал его, поддерживал в нем ясное сознание. И не только словом действовал — большую часть еды своей отдавал ему, ночами укрывал собственным чекменем, а сам, дрожа от холода, все мерил и мерил шагами узкую темницу, до самого рассвета ходил, до пробуждения Мухиддина.

В одну из таких бессонных ночей Али Кушчи осенила одна счастливая мысль.

Уже несколько лет Али Кушчи был занят большой книгой. Он намеревался осветить в ней самые сложные вопросы астрономии. Первую часть успел закончить при Улугбеке — то было, по существу, лишь вступление к дальнейшему. Книгу он назвал «Рисолаи дар фалакият», что в переводе с фарси означает «Трактат о небесных телах», а первая часть подробно излагала весьма важные для астрономии геометрические понятия: точка, прямая, ломаная, плоскость, параллельные линии и плоскости, наконец, учение о круге и прочих криволинейных замкнутых фигурах. Без этого нельзя было переходить к движению небесных тел... Не успел перейти ко второй части Али Кушчи.

Так надо закончить ее здесь, в зиндане!

Вечерами и в начале ночи, когда мавляна Мухиддин впадал в дрему, Али Кушчи, вышагивая по узкой темнице, заставлял себя думать, рассчитывать, оттачивать выводы. Без бумаги, без чертежных инструментов было трудно, очень трудно. Представить в воображении прямые и ломаные линии орбиты, плоскости вращения — одно, а вычислять, точно устанавливать их связи — совсем другое. Как бы ни сложна, ни изнурительна была такая работа, — Али Кушчи сразу и не без радости понял, — она успокаивает душу, уводит от мрачных мыслей. Порою он, занятый законами неба, совсем забывал, где находится. Все печали рассеивались, все заботы о себе и даже — неутрачиваемая рана сердца! — думы о матери отодвигались куда-то далеко, далеко...

Вот и сегодня, стоило только мавляне Мухиддину заснуть, Али Кушчи позабыл обо всем, кроме одного трудного вопроса: как и почему воздействует расположение планет на смену времен года, от которых так много зависит в нашей человеческой жизни. Но Мухиддин почему-то проснулся и снова принялся стенать. Али Кушчи был особенно раздражен тем, что ему помешали в ответственный миг размышлений. «Жалкий человек, — подумал он, — а еще считается ученым! Какой же ты ученый, если не стремишься узнавать новое и во имя этого не можешь проявить терпения?.. А ведь недавно мавляна Мухиддин блистал умом, и заслуженно, особенно в математике...»

Али Кушчи воззвал к аллаху — пусть падут на голову любые беды, но только не такая вот жалкая слабость, из-за которой я перестану быть ученым!

Опять послышался из угла жалобный голос:

— О мавляна, мавляна! Какая же и кому польза от вашей непреклонности, от вашего упрямства? Кому, кому нужны теперь наши книги, эти еретические книги?..

Словно пощечину дали Али Кушчи.

— Что вы сказали? Еретические книги? Где ваша совесть, сподвижник мой, как позволила она вам произнести такое?!

— Не говорите, не говорите о совести!.. Не напиши мы противных шариату книг, разве уготовил бы нам всевышний эти муки? За свои грехи расплачиваемся, мавляна!

— Да, конечно, — усмехнулся Али Кушчи, — если аллах захочет, то сегодня же и освободит нас от этих мук!

— Истинно так, истинно... Если не будем противиться больше шах-заде и покаемся, в грехах наших покаемся!

— Где логика в том, что вы говорите, дорогой мой? Ну, допустим, я, ваш покорный слуга, спрятал, спрятал крамольные книги, чем свершил, как утверждает надменный шейх, грех против шариата. Я свершил грех — я и несу наказание. А вы?.. Ведь вы отвернулись от устода, не придали значения его завещанию, мало того, вы раскрыли тайну этого его поручения и тайну исчезновения книг из обсерватории. Так?.. Так... Тогда почему же и вы подвергаетесь наказанию, за что?

— Ваш покорный слуга, видно, и в аду будет гореть из-за вас... из-за вашего греха?

— Нет! — выкрикнул Али Кушчи, задыхаясь. — Нет! Не из-за моего, из-за собственных! Вы попрали волю устода Улугбека, предводителя ученых! Нет... не перебивайте меня, мавляна! Не сокрытие книг, перлов ума человеческого, от невежд и фанатиков есть грех... а, напротив, уничтожение разума — вот величайший грех!

— Кто собирается уничтожать книги?

— Кто? Вы не знаете кто?.. Для чего же эти книги, жемчужины светлого разума, обзывают еретическими, нечестивыми? Как поступают у нас с нечестивыми, мавляна? Их убивают... — Али Кушчи тяжело, с шумом вздохнул. — Бедный устод! В каком несчастном веке он родился! Один был светильник под небом Мавераннахра...

— Светильник! Ангела вы сделали из него...

— Нет! Он не был ангелом. Он был правителем, властелином. И жестоким, и несправедливым бывал... Но все познается в сравнении, мавляна! И по сравнению с этим фанатиком он и впрямь светильник!..

Минуту стояла тишина. Потом снова из темного угла засочился ручеек стенаний и жалоб.

— Верность учителю, верность учителю... Во имя этой верности вы не щадите себя. Хорошо. Похвально. Меня не пожалели во имя все той же верности. Хорошо! Сердобольно. Но пожалели бы хоть свою старую мать! Каково-то ей сейчас!

Али Кушчи ничего не ответил: мавляна Мухиддин ударил по самому больному месту.

С того дня, как нукеры увели его в зиндан, он ни на минуту не забывал о матери, и все время в сознании жила и мучила картина: упавшая на каменный порог в ужасе, мольбе старая женщина, вскормившая его. Иногда видение это было особенно отчетливым, и Али Кушчи терзался особенно сильно.

Али Кушчи замолчал надолго. Заныло сердце, прижав руку к груди, он присел у стены, оперся спиной о нее.

Вспомнилось безмятежное детство. Лето, поездки на крытой арбе, когда мальчиком выезжал он вместе с отцом и матерью собирать дыни. Поручая урожай Али любил больше всех других.

Али Кушчи был уже взрослым парнем, настоящим джигитом, отличался удалью и на скачках, и в козлодранье, и в лихой игре с мячом — човган, а мать все опекала сына, не отходила от него и, бывало, с криком «осторожней, верблюжонок» бросалась прямо в гущу скачущих джигитов, рискуя быть сбитой с ног и раздавленной горячими конями. Али Кушчи стыдился перед товарищами, что мать так опекает его, всякий раз уговаривал, просил ее не поступать так, будто он малое дитя, даже

ссорился с ней, но толку от всего этого не было, и, глядишь, следующая игра, а мать тут как тут, и опять — «осторожней, мой верблюжонок», и опять бежит она за их лихой юношеской ватагой...

Тягучий голос мавляны Мухиддина прервал нить воспоминаний:

— Вижу, причинил боль душе вашей, мавляна. Простите меня великодушно.

Снаружи послышались чьи-то шаги. Зазвенели тяжелые запоры. Из темного угла донесся шепот Мухиддина:

— Будь защитником раба своего, создатель!

Низкая и узкая железная дверь приоткрылась. Надсмотрщик и за ним двое воинов вошли в темницу. Нет, то были не простые воины — в слабом свете свечи, что держал надсмотрщик, можно было различить лица Султана Джандара и косоглазого есаула. Последний взял свечу из рук надсмотрщика, поднял ее повыше.

— Эй, мавляна Мухиддин! Где вы тут?

Ни слова в ответ.

— Онемел, мавляна? — громче и грубей спросил есаул. — Очнись, милостью повелителя нашего ты освобожден! Поднимайся!

— Что? Что вы сказали мне? — Мавляна Мухиддин закопошился в своем углу, все еще не показываясь в кругу света, источаемого свечой. — Освобожден? Я?.. Да, да, сейчас, сейчас я... — И что-то все искал в темном углу, бормоча себе под нос бессвязное.

— Давай мавляна, выметайся из зиндана! — весело закричал косоглазый. Повернулся к Али Кушчи. Тот вжался в стену, бледный, немой. Есаул окинул его взглядом снизу вверх, казалось услышав, как молится, молится в душе мавляна о милосердии, о милости всевышнего, и не проронил ни слова. Только повел как-то странно глазами, будто намекая на то, что рядом, мол, Султан Джандар, ослабил и повернул к выходу.

«Значит, мне ничего... значит, мне оставаться тут, в этой холодной могиле!».

Дверь скрипнула. Грохнули запоры. Бледный лучик из-под двери быстро исчез; вскоре стих и шум уходивших по коридору людей.

В изнеможении Али Кушчи упал на циновку.

Неужели прав мавляна Мухиддин и небо карает его, Али Кушчи, за непреклонность, за гордыню? Но тотчас же он прогнал эту мысль. Можно наказать того, кто остался верен велению долга и совести, но можно ли, справедливо ли одарить милостью другого, кто предал, кто отступился, кто впал в низость неблагодарности?

Али Кушчи прижал лоб к бугристо-неровной поверхности стены, отчаянно, уговаривая себя, зашептал:

— Терпение, Али, терпение!.. Чему быть, того не миновать...

Что судьбой предначертано, то и очи увидят! Так говорят в народе. Терпение, Али, терпение!

16

Хуршида проснулась на рассвете; во дворе слышались громкие голоса, топот людей, словно нарочно бегавших с целью произвести побольше шума. Постель старой кормилицы пуста.

Скорее наружу!

Со двора видны были освещенные окна мехманханы, и тени обнимающихся людей четко рисовались на занавесках. «Отец вернулся!» И Хуршида, забыв, что едва одета и что в комнате для гостей полно

мужчин, молнией кинулась туда.

Отец... это был точно — отец. И в то же время человек, непохожий на отца — заросший волосами, глаза ввалились, худой, как щепка.

Старик, да, да, отец стал стариком!.. И всхлипывал, всхлипывал, как малый ребенок, нет, как старик, из тех, о ком говорят, что он от старости уже умом тронулся.

Хуршида, заплавав навзрыд, бросилась к отцу, прижалась лицом к его груди.

Дом Салахиддина-заргара мигом превратился в обитель и слез и радости, тем более ликующей, чем быстрее высыхали слезы. Уже в саду резали и свеживали барана; уже повара, засучив рукава, готовились к своим приятным делам и заботам — нет торжества без хорошего шашлыка и доброго плова! Уже первый сосед, прослышав о возвращении мавляны Мухиддина и о прощении его повелителем, направил стопы свои к богатому дому, прокладывая путь и для других поздравителей, что приходили в течение всего дня, — соседи, знакомые, родственники близкие, родственники дальние, купцы-лавочники и оптовые торговцы, ремесленники и люди духовного звания, даже иные поэты и бывшие талибы. Не было им конца, как и любопытству их!

Отец выбрил голову, подправил бороду и усы, накрутил пышную чалму, белизна которой, правда, особенно подчеркивала бледность его исхудалого лица. В златотканом халате сидел в саям-хане, принимал поздравления, словно больной после выздоровления.

А дед, тот сразу же, как сын вернулся, стан распрямил, и недоуменно-обиженную мину с лица согнал, и походку вновь приобрел прежнюю — степенную, надменную, в чем могли убедиться все приходившие к нему в дом, ибо с каждым он беседовал лично, каждого лично провожал до ворот — ну, разумеется, если гость был хоть сколько-нибудь влиятельным, но ведь только такие и считались здесь гостями. Каждому хаджи Салахиддин сообщал, что сын его не просто прощен, но, очевидно, и приближен. И радостно за деда и почему-то тревожно за отца, за себя становилось Хуршиде-бану, когда доводилось ей видеть и слышать все это. И слова Каландара, безжалостные по отношению к отцу, вспоминались ей. И все чаще думала она, лишь схлынула первая радость, об Али Кушчи: «Вышел ли и он из темницы? Неужели нет?.. Но тогда почему отец на свободе, за что его выпустили?» Нет, нет, отец не такой, как о нем говорил Каландар!.. Если бы прав был тот, кого она по-прежнему любит, если б он был прав, то не лежал бы отец целых три месяца на вонючей подстилке в зиндане, терпя такие страдания, что из-за них не узнать его!

Расспросить бы самого отца, сбросить бы груз с души! Но все новые и новые гости шли к ним в дом. И каждого прими, каждому удели время.

Нынче, правда, народу поубавилось. В доме несколько поутихло. К вечеру, однако, прибыли опять важные гости, похоже, I из придворных.

И вокруг этих трех-четырёх вельмож забегали, засуетились хозяева, многочисленная челядь.

Наконец гости ушли, все стихло, даже, как показалось Хуршиде, зловеще тихо стало. Сам Салахиддин-заргар надел соболью шубу с суконным верхом и, несмотря на сильный ветер, дождь и мокрый снег, отправился куда-то, велел слугам крепко запереть ворота и ложиться спать, не дожидаясь его.

В комнату Хуршиды-бану пришла няня, заплаканная почему-то, напуганно-молчаливая. Пришла и сразу улеглась в постель.

Хуршида чувствовала: опять что-то случилось, какая-то новая беда пала на голову... Чью? Отца?

Или дедушки?... Или она коснулась ее самой, почему бы иначе не сказать о беде и ей, Хуршиде? Почему от нее что-то скрывают?

Она поколебалась и нерешительно направилась к отцу, зная, что тот не спит — окна большой комнаты по-прежнему были освещены.

Отец, нахохлившись под теплым чекменем, накинутом поверх другой одежды, сидел, перелистывая большую книгу в желтом сафьяновом переплете. Углубился, йидно, в чтение, потому что сначала не заметил дочери. Хуршида тихо подошла, садясь на маленькую низкую скамейку перед ним, колыхнула подолом платья пламя свечей в серебряном подсвечнике, и отец испуганно вскинул голову.

— О, это ты? Садись, садись, дочка.

Лицо его было бледным, бело-серым. Большие глаза, хотя и светились лаской, в глубине, где-то на самом дне, таили страх.

Теплый комок слез подступил к горлу Хуршиды-бану.

— Ой, как вы исстрадались, отец, сколько муки натерпелись!

Мавляна Мухиддин поправил бархатную тюбетейку. Как всегда, тихо сказал:

— Поблагодарим справедливого и всемилостивого... Я вернулся к тебе живой и невредимый...

— Да, тысячу благодарений аллаху за то, что вы избавились от тяжелой беды, — прошептала Хуршида и смолкла. Ей было очень жалко отца, но и про слова Каландара она помнила. Желая забыть их, помнила и ничего не могла поделать с собой. Ей хотелось убедиться в том, что слова неверны, несправедливы, но для этого надо было спросить отца кое о чем, а спросить она не решалась... А спросить было надо!

— Отец, — голос Хуршиды задрожал, — отец, вы один находились в страшном подземелье?

Закрыв глаза, мавляна Мухиддин отрицательно покачал головой.

— Нет, доченька, вместе с мавляной Али Кушчи... ты ведь знаешь его...

Хуршида побледнела, изменилась в лице.

— А мавляна Али Кушчи... этот досточтимый ученый, тоже вышел на волю?

— Увы, дитя мое, этого не случилось... он все еще там, в зиндане...

— Отчего же, отец?

Мавляна Мухиддин еще сильнее съежился под чекменем, словно за ворот рубашки ему бросили кусок льда. Почему она спросила его об этом? И так горячо!

Дочь опять уловила мелькнувшее в глазах отца выражение испуга, но не одного испуга — еще и настороженности.

— Видно, так было угодно богу, дитя мое, — произнес мавляна наконец и отвернулся. Увядшее серо-белое лицо его чуть-чуть порозовело.

«Все правда, все правда! — металась мысль Хуршиды. — Каландар сказал мне правду!»

Будто смерч сдвинул и перемешал чувства в ее душе.

— Ему там очень плохо, отец?

По-прежнему не глядя на дочь, мавляна Мухиддин кивнул головой — теперь утвердительно.

— Очень... очень плохо... Очень тяжело, доченька.

— За что же мучают его?... Почему не выпустят из зиндана?

Лицо мавляны Мухиддина вновь приобрело бело-серый оттенок, и черты его отвердели, заострились,

словно сделанные из алебастра.

— Виноват он сам... сам мавляна, дочь моя!.. Он слишком упрям. А в такое-то время... — отец опасливо покосился на темное окно, понизил голос, — в такое время нельзя упрямитесь... На престоле Мирза Абдул-Латиф. Нельзя, никак нельзя упрямитесь...

— Отец, я слышала недавно... — Хуршида на миг замолчала, заметив, как вдруг холодно и отчужденно стало лицо отца: глаза прищурились, губы плотно сомкнулись.

Хуршида опустила взгляд, но продолжала:

— Слышала недавно... говорят, что мавляна Али Кушчи... спрятал множество редкостных книг из библиотеки нашего благодетеля, покойного повелителя Мирзы Улугбека...

— От кого ты это слышала?!

Дочь продолжала рассматривать узоры ковра на полу. Не от замешательства, нет, а от нежелания ответить отцу.

«Все правда, все... — думала Хуршида. — Мавляна Али Кушчи сидит в зиндане из-за книг и... из-за отца».

— Я спросил, откуда ты услышала про книги?

— Многие говорят...

— Кто они, эти твои «многие»?

— Кто-то из соседей... из подруг, с кем я училась когда-то...

«Для этого я ее учил? Не послушался добрых людей. И вот тебе, выучил! Слишком умна стала. Ученая! Выучил на свою бедную голову!»

— Подруги! С кем училась когда-то? — Мавляна Мухиддин возвысил голос. — Мирза Улугбек, которого ты назвала нашим благодетелем, был гордец, не признавал святого шариата. Он сбил с истинного пути немало женщин, внушил им, что получать знание есть долг... якобы долг и мусульман и мусульманок. А это грех! Тяжкий грех! Понятно?

«Грех? А как же такой мудрый и занимательный, как сказка, трактат повелителя, который я прочла, а потом любовно переписала? То была история Мавераннахра. И поручил переписать эту историю отец! Тогда это был не грех?»

Хуршида вдруг расплакалась.

— Отец! Что с вами стало, отец?!

Она закрыла ладонями лицо, соленые капли просачивались сквозь тонкие пальцы, украшенные перстнями, скатывались с уголков губ, задерживались на округлом подбородке...

«Оплошал! Не гладко вышло... не надо было хулить ни Мирзу Улугбека, ни Али Кушчи... Она ведь помнит, как я отзывался о них раньше... Неужели теперь не только Али, но и любимое дитя мое станет презирать меня?»

Мавляна подумал с горечью: кто же теперь искренне пожалеет его, извинит ему слабость?

Мысль о собственном одиночестве так растрогала мавляну, что он и сам прослезился.

— Полно, доченька, полно, не напоминай мне про страшные мои дни! Да не пошлет аллах никому из смертных такие муки, что я изведаль... Что ж делать, доченька? Судьба моего друга мавляны Али Кушчи не в моих руках. Твой отец слабый и больной человек...

Но чуткий с детских лет мавляна Мухиддин знал сейчас, что ни слова, ни слезы его не трогают сердца дочери. Ему было и стыдно, и горько, и боязно — все вместе. Он хотел поговорить с дочерью

потверже и не смел поднять голову: он-то знал то, чего еще не знала Хуршида! Сегодня поздние вечерние гости сообщили ему о желании шах-заде иметь в своем гареме новую розу и о том, что эта честь выпала на долю его дочери. Ее надлежало приготовить к этой вести, но он не мог сразу приступить к такому щепетильному делу. Уж если отец, Салахиддин-заргар, не смог, ушел куда-то на ночь глядя за советом, то ему и подавно не просто будет сказать Хуршиде о «чести», выпавшей на ее долю.

Опять Кок-сарай, опять гарем... сначала Абдул-Азиза, теперь Мирзы Абдул-Латифа, «милостивого повелителя»!

Мавляна Мухиддин не смел ослушаться, стал сам себя убеждать, что ему истинно оказывают честь. Потому и испугался мавляна, когда пришла к нему дочь, — не был, не был готов передать ей новость. А уж теперь и совсем непонятно, как подойти к нужному разговору, чем залить пламя негодования, которое, он предвидел, охватит Хуршиду-бану.

— Не о том мы говорим сегодня, доченька... не о том... Прости меня, но сам повелитель пожелал... Тебе об этом скажет кормилица, иди к ней, иди... И прости меня...

Смерч вдруг улегся в душе Хуршиды-бану. Осталась опустошенная, голая земля. Она еще не знала, какая беда пала на нее, но при виде отца, так круто повернувшего разговор, беспомощно плакавшего в платок, подносимый к глазам и носу, поняла, что беда огромна.

Шатаясь, она вышла под остервенелый ветер, под дождь и снег. Скрипели, безнадежно стонали старые деревья в саду. Двор был пуст. Лишь от ворот невнятно долетали голоса сторожей.

Она пошла на эти голоса, не зная зачем, не чувствуя холодной влаги, струившейся по одежде и телу, и вдруг страшная догадка пронзила ее всю, и, чтоб не упасть тут же, она схватилась за подпорку для виноградных лоз.

«Прости меня, но сам повелитель пожелал... Я слабый и больной человек...» — закружились слова отца... И эти важные гости из Кок-сарая. И беготня слуг в доме... Суетливость деда, ушедшего куда-то в такую непогоду...

В памяти ее всплыло лицо Абдул-Азиза, бледное, бескровное, с трясущимся от слабости и вожделения подбородком!

«Бежать! Сейчас же!.. Кинуться в Зеравшан! Повеситься!.. Только не гарем! Только не сидеть, не ждать... Этот дом проклят, проклят!»

И под ледяными струями дождя Хуршида-бану побежала к себе.

Скорее, скорее!

17

...Али Кушчи поднялся с циновки: надо было походить, немного размять отекавшие ноги. Дважды обошел он узкую, будто клетка, темницу; ослабевшие, исхудавшие ноги едва держали его, и приходилось останавливаться, сгибаться, чтобы растереть их; но стоило наклонить голову, как начинала она кружиться, и Али Кушчи в изнеможении приваливался спиной или боком к спасительной стене.

Он закрыл глаза, и словно в насмешку тотчас пригрезилась картина: мавляна Мухиддин среди своих домашних, в тепле, закутывается поплотнее в соболью шубу, тянет ступни к огню сандала — от этой картины собственные ноги заныли еще сильнее, нестерпимая, тупо ноющая боль загнала его вновь на циновку. Но сидеть на ней все равно что сидеть на льду. «Сырой и холодный пол погубит мне

ноги», — подумалось узнику. Но ведь не простоишь день и ночь напролет стоймя...

Склониться перед шах-заде, пасть ниц, указать дорогу к Драконовой пещере — и тут же тебе избавление от этой мрачной, похожей на могилу темницы, тут же очутился бы и ты в светлой и теплой комнате, и ноги твои, протянутые к очагу, покрытые шелковым одеялом, покоились бы на решетке сандала, нежились бы в тепле, источаемом угольями. Тогда и трактат свой излюбленный, про светила, про их движение... в тепле, в уюте закончил бы... Ведь сказал же Мирза Абдул-Латиф, что сделает тебя историком при дворе.

Появятся новые книги, уже о «великих милостях» Мирзы Абдул-Латифа, книги, тобою написанные, книги, которые принесут тебе то, чего у тебя никогда не было, — богатство. А слава... будет слава, пойдет о тебе слава... только другая!

Али Кушчи мотнул головой, будто гонимый этими мыслями, быстро, отчаянно зашагал по темнице. — Сундук золота будет стоять у тебя в углу, — саркастически произнес он вслух и подумал: «О аллах, да что это со мной?.. Избавь от наваждения, поддержи меня, продли терпение мое».

Он снова помотал головой. Собрав всю волю, переключился мыслями на трактат... На чем он остановился в прошлый раз? А, на затмениях... Бывают затмения планет. Луны. Солнца... Полные и частичные — «кусуфи кулли, кусуфи джузьи». Затмение происходит из-за взаимосвязи движений земли и луны относительно Солнца. Это ясно как день... Кому ясно? Ему? Ученым мужам? Улемы содрогаются от одного только слова «движение».

Али Кушчи припомнил: споры о движении звезд, о чем он сейчас думал, желая найти своим выводам строгую математическую форму, шли еще при жизни досточтимых учителей Кази-заде Руми и Гиясиддина Джамшида. Тогда еще не было обсерватории устода, и потому о расположении и времени перемещения светил можно было говорить лишь приблизительно. За двадцать лет устод — истинно достойный рая! — создал весьма полную таблицу движения небесных тел, их верхних и нижних стояний. Вот если бы таблицы эти были сейчас здесь, под рукой, он легче обошелся бы тогда без пера и бумаги!

Драконова пещера предстала пред мысленным взором ученого. И заветный сундук, где покоятся до поры до времени (о творец, до какого времени? до какой поры?) сорок шесть таблиц, обозначающих местоположение тысячи двадцати двух звезд в небесном пространстве по временам года. Как любил устод рассматривать эти таблицы, просто рассматривать — не только работать с ними. Нанесенные золотой краской на бумагу звезды казались живыми, будто сошедшими с настоящего темно-синего небесного свода на этот, нарисованный столь искусно.

Али Кушчи попытался вспомнить таблицы, точно воспроизвести их вид в уме — это оказалось свыше сил. Зато припомнилась сразу же стычка шестилетней давности, происшедшая между повелителем-устодом и шейхом Низамиддином Хомушем, может, потому припомнилась, что, странное дело, слова шейха точь-в-точь совпадали с теми, что услышал он недавно из уст шах-заде. Была тогда пятница — джума, — день самых больших, самых торжественных молений за неделю. Улугбек и его свита, в которой был и Али Кушчи, торопились, завершив охоту, в соборную мечеть. Но, увы, опоздали, как ни торопились. У ворот мечети султана встретил шейх-уль-ислам Бурханиддин, провел их во двор: проповедь уже была прочитана, но для молитвы время еще оставалось. Они быстро совершили омовение, приступили к молитве, но тут во дворе раздался какой-то шум. Властный голос воззвал несколько раз: «Эй, правоверные!»

Али Кушчи был ближе к двери, чем остальные из свиты устода. И как ни старался сосредоточиться на молитвенных словах, то, что происходило рядом, во дворе, все больше отвлекало его от богоугодного дела. А во дворе властный голос, все больше распаляясь, обличал, гремел, призывал кары небесные на... кого?., да на него, в частности, на Али Кушчи, потому, как гремел голос, много, много развелось в столице лжемудрых ученых мужей, предерзостно покусившихся на сокрытые от человека тайны неба — царства творца, и не только себя совративших с пути истинного, но совращающих и других правоверных мусульман.

Все это слышал, конечно, и Улугбек. Закончив молитву, он порывисто встал с колен. Бледное лицо его, гневно и плотно сжатые губы промелькнули мимо Али Кушчи, который поспешил за ним из мечети. Они увидели стоящего на открытом в глубине двора айване шейха Низамиддина Хомуша, а перед ним толпу улемов в белых покрывалах и в белых чалмах; пред ними-то шейх и витийствовал, красивый, статный, в то время более стройный, чем ныне, в одной руке неизменные четки, в другой все та же, что и ныне, любимая трость. Увидев повелителя, шейх не дрогнул, напротив, гневного красноречия его будто прибавилось, он красиво взмахивал тростью, красиво играл глазами, а когда Улугбек приблизился, воскликнул:

— Да будет сам повелитель наш свидетелем истинности моих слов!

Устод взошел на айван, остановился поодаль от говорившего.

— Не понял ваших слов о кощунстве ученых мужей, шейх.

— А разве не великое кощунство, о заблудший раб аллаха, считать, будто земля, сотворенная всевышним ровной и плоской, есть шар?

Устод еще крепче сжал губы. Помолчав, молвил:

— Простите, светлейший, но истину эту задолго до нас... пятьсот лет назад доказал мудрейший Абу Рейхан Мухаммад ибн Ахмад аль-Бируни.

— Сей Мухаммад, надеюсь, не пророк Мухаммад, и потому его слово...

— Он не посланник бога, но разумом своим славен во всем мире!

— Но он не пророк и не сын пророка, продолжаю утверждать я!.. А кто надоумил ученых мужей, кто, если не дьявол, внушил им сравнения царства всевышнего — неба — с океаном, а свечей аллаха — звезд — с рыбами в том океане?

Улугбек нетерпеливо перебил шейха:

— Нет, не дьявол толкнул моего шагирда Али Кушчи на такое сравнение. Он собственным умом дошел до этого сравнения. А что в нем кажется вам страшного?

— Вот видите, вот видите. — Шейх оставил насмешливый вопрос Улугбека без ответа. —

Венценосец мусульман и его шагирды... — воззвал он снова к улемам, стоявшим пред спорящими со склоненными главами и бородами. — Венценосец мусульман и его шагирды освободили сердца свои от слов святого Корана, где сказано: «Ва лакад зайиана ас-самоад-ад-дунё бимасохибия ва жаханноха...» — «Мы украсили небо над миром светильниками, сотворив их из камней, чтобы бросать ими в шайтана...» Вы, видно, забыли сей стих, повелитель?

— Нет, стих этот у меня на памяти, светлейший шейх. Но не забыли ли вы, для чего всевышний дал рабу своему, человеку, разум — не с той ли целью, дабы он добывал им знания, оказался способен к размышлению?

— Истинная правда, для этого! — раздался вдруг возглас шейх-уль-ислама Бурханиддина. Поправив

чалму, он хотел было тоже выйти из толпы и присоединиться к спорящим на айване. Но шейх, будто не в силах совладать с гневом, закричал, распахнув руки, как бы не подпуская к себе святотатца: — Прочь, не смей подниматься сюда, шейх-уль-ислам! Пристало ли шейху-уль-исламу топтать каноны нашей веры?!

— Ну, хватит лицедейства! — Улугбек тоже повысил голос. — Ваше дело, шейх, сидеть в ханаке и заниматься тари-катом! Духовное самоочищение не только подобает вам, но и весьма необходимо. От вас все смуты, низкие наветы, заговоры. А заговорщиков... за ними я посылаю воинов, их хватают и бросают в зиндан. Знайте это, шейх!

И повелитель-устод, как помнит Али Кушчи, сошел с айвана, а растерянный шейх замкнул уста, ибо взгляд его, обращенный за поддержкой к улемам, стоявшим внизу, наткнулся на ряд белых тюрбанов, склоненных в поклоне перед всеильным в те времена Мирзой Улугбеком. Ни звука не проронили улемы!

Учитель, придя вечером того же дня в обсерваторию, все никак не мог успокоиться — вглядывался ли он в таблицы и в небо, медленно прохаживался ли по библиотеке, с губ его то и дело срывались вздохи и одно лишь слово: невежды, невежды, невежды...

Да, это он, Али Кушчи, некогда действительно сравнивал небо с океаном, а звезды с рыбами, чтобы не говорить прямо о подвижной сфере небесной, и образ этот, помнится, вызвал улыбку понимания и похвалу учителя...

Ну хорошо, он и теперь не склонится перед Абдул-Латифом, перед невеждами. Устоит! Но ведь сил его хватит ненадолго, он погибнет здесь, в этой темнице-скорлупе. Тогда-то что будет с сокровищами Драконовой пещеры? Кроме него, тайну знает Мирам Чалаби. Но он всего лишь юноша, талиб, не вышедший еще из несовершеннолетия. Что сможет Мирам Чалаби без него, Али Кушчи?

Узник откинулся к стене, расслабил мышцы: тяжелая усталость отзывалась в каждой клеточке тела, пригибала к полу.

Али Кушчи снова хотел лечь на циновку, но тут скрипнуло смотровое окно в двери. Он подошел к двери, зная, что сейчас окошко отворится и в снопике лучей, пробивающихся через отверстие, что не больше ладони взрослого мужчины, он увидит протянутую лепешку. Так случилось и на сей раз.

Только... только лепешка была непохожа на ту, что обычно ему давали. Та была из ячменя, размером с пиалу, а эта — тукач, из кукурузной муки, толстая, круглая. Окошко не закрылось тут же, как обычно, и Али Кушчи выглянул в коридор. Стражник — было чему удивиться! — не прогнал его, а, молча сделав какой-то непонятный знак, просунул в отверстие небольшой чугунный кумган.

С кумганом и лепешкой в руках Али Кушчи отошел в угол, где расстелена была холодная циновка. Поставил кумган на пол и, не присаживаясь, разломил лепешку: не потому, что очень хотел есть, в последние дни голод породил уже безразличие к еде, а скорее, чтобы убить время. Разломил тукач, и — впрямь будто услышал всевышний его моления!.. — увидел в изломе двух половин хлебца свернутую в тугую трубочку бумажку («Записка?!»), малюсенький кинжальчик и карандашик. Гулко и быстро застучало сердце. Превозмогая боль в ногах, мавляна подбежал к двери — странное дело, глазок еще не был закрыт с обратной стороны. Узник прижался спиной к двери, так, чтобы его не было видно, если посмотреть из коридора внутрь темницы, развернул бумажку («Точно, записка!») и в слабом снопике света прочел: «Дорогой устод! Мы и днем и ночью молим аллаха,

чтобы даровал он вам здоровье. Это первое. Второе: хотим знать, что нужно нам сделать, чтобы облегчить страдания, павшие на вашу долю. Напишите об этом на обратной стороне этой записки. Выпив воду из кумгана, засуньте листок в его носик — кумган вынесут верные люди и передадут нам. Мы вам верны, как отцу. Мы пробьемся к вам. Пробьем проход к вашему сердцу, вызволим вас из тьмы... Надеемся, и да исполнит аллах желаемое нами! Ваши шагирды».

Али Кушчи почувствовал, как на глаза навернулись слезы. Растроганно усмехнулся. «Ну вот, только слез не хватало, мавляна Али!»

Кто же эти верные «ваши шагирды»? Мирам Чалаби? Слишком молод Мирам. Мансур Каши? Вряд ли, уж больно тих и смирен мударрис, а это написала отчаянная голова. Каландар, ей-ей, Каландар, бесстрашный удалой степняк Каландар! А кинжальчик, видно, от Уста Тимура Самарканди...

Только что же он будет с этим кинжальчиком делать? Карандаш затачивать?.. «Мы пробьемся к вам. Пробьем проход к вашему сердцу, вызволим вас из тьмы...» В чем смысл этих слов? В том ли, что смельчаки попытаются сделать подкоп?

У Али Кушчи внезапно закружилась голова. Теперь уж ему совсем не усидеть на месте! Держась за бугристо-шершавую поверхность стен, он опять обошел всю клетку.

«Нет, невозможно пробить эти камни, сделать проход в гранитной породе! Мечта пустая!..

„Надеемся“? Но кто, кроме простаков, никогда не видевших вблизи темниц Кок-сарая, может надеяться проломить этот гранит? Его перетаскали, его сложили здесь тысячи и тысячи рабов самого Тимура Сахибки-рана!.. Шагирды мои, вы не знаете, что такое кок-сарайский зиндан!.. И тебе, мавляна Али, взрослому и, как я слышал, разумному человеку, не надо надеяться на подкоп. Надо одно: длить и длить терпение свое, мудрейший из мудрых!»

Оконце еще посылало ему снопик света. И Али Кушчи на обратной стороне записки написал всего лишь два слова: «Бумага. Карандаш». Подумав, добавил: «Мать, Тиллябиби». Потом одним духом осушил кумган, спрятал бумажку так, как его научили, подошел к двери, слегка постучал и, когда оконце в двери приоткрылось пошире, протянул кумган сторожившему воину.

18

Слух о побеге несравненной красавицы, внучки Салахиддина-заргара, быстро распространился по Самарканду и достиг ушей самого властителя. Эмиру Джандару было приказано отыскать беглянку во что бы то ни стало. Однако неделя прошла, и никаких вестей от Джандара по сему поводу Мирза Абдул-Латиф не получил.

Вот и сегодня шах-заде вынужден был послать гонца к эмиру, хотя сегодня, правду сказать, не такой день, чтобы тревожить себя из-за какой-то красавицы, пусть и несравненной. Сегодня накануне предзакатной молитвы должно было состояться сожжение еретических книг — церемония, угодная всевышнему и поучительная для подданных, ибо ничто не укрепляет прочности власти так хорошо, как зрелища ее видимого всемогущества.

Шейх Низамиддин Хомуш и другие священнослужители давно наставляли Мирзу Абдул-Латифа на свершение сего угодного всевышнему дела. Но шах-заде все не мог решиться, все откладывал и откладывал день сожжения. Несколько раз приезжал он в брошенную всеми обсерваторию, сидел в библиотеке на втором этаже, даже отобрал и взял с собой во дворец несколько книг. И каждый раз при взгляде на высокие, до потолка, полки, уставленные множеством книг, или рассматривая редкие рукописи, завернутые в тонкие шелка, он испытывал какое-то волнующее чувство, сострадание, что

ли, в котором не мог признаться не только улемам, но и самому себе. Он способен был понять, что слава отцовского книгохранилища заслуженна. Он хоть и воспитывался в ханжеском Герате, под оком набожного деда Шахруха, но изучал помимо наук духовных науки светские, интересовался изящными предметами, какова, например, поэзия. Его, пусть и не сильно, интересовали и астрономия, и математика. Сколько же здесь было ценных книг, и астрономических, и математических, и поэтических, несмотря на то что Али Кушчи скрыл ценнейшие!

Посещения шах-заде обсерватории, его времяпровождение там, в очаге ереси, не укрылись от внимания шейха Низамиддина Хомуша. И вот не далее как вчера он внезапно явился в Кок-сарай для очередной душеспасительной беседы.

Шейх начал издали, но насупленный вид его говорил больше слов. В конце концов он прямо сказал, что шах-заде, воспитанник его, положил конец многим последствиям правления нечестивого родителя своего, но все же решительного удара по ученым-вероотступникам не нанес. Винить его шейх не стал, а просто передал шах-заде послание из Шаша, от ишана Убайдуллы Ахрара. Сей благочестивый муж писал резче, нежели шейх Низамиддин говорил. Призывал к тому, чтобы нынешний венценосец не проявлял никаких, даже малейших колебаний в борьбе против богохульников за дело, угодное аллаху. Если бы и саблю следовало обнажить опять против смутьянов и нечестивцев, свивших себе гнездо в Мавераннахре, то он, ишан, и на это благословляет Абдул-Латифа. Кстати, это возрадовало бы светлый дух великого воителя за веру, прадеда шах-заде, эмира Тимура Гурагана.

После такого послания нельзя было откладывать сожжение книг. Назначено было оно на вечер следующего дня. Абдул-Латиф хотел было, правда, пересидеть столь важную церемонию в Кок-сараяе, однако шейх, вновь нахмутив брови, разъяснил властителю, сколь необходимо его собственное милостивое присутствие во время оной. И вообще следовало бы, подсказал шейх, чтобы на сожжении нечестивых книг присутствовали все видные сановники, военачальники, вся верхушка улемы, а также небесполезно наличие ученых и поэтов, всех обучавших и обучавшихся в медресе Улугбека. Поучительно своими глазами увидеть, как славно пылают в праведном огне еретические книги, да и в беспощадности властителя, радеющего за веру, правоверным подданным тоже не вредно воочию убедиться!

Желание пира надо было удовлетворить.

После того как шейх Низамиддин Хомуш оставил дворец, Абдул-Латиф вызвал к себе диван-беги и есаул-баши и приказал им назавтра послать в обсерваторию двести всадников и выставить оцепление вдоль всех улиц, что протянулись от обсерватории до Кок-сарая.

Приказ был выполнен, сановники, военачальники и прочие, кому надлежало присутствовать на церемонии, тоже были оповещены в срок. Все было готово.

А тревога не оставляла шах-заде.

Он не мог разобраться в природе этой тревоги. Вспомнил неожиданно о своем желании получить в гарем новую розу, чтобы еще таким образом наказать покойного брата, вспомнил и подумал, что нерасторопность эмира Джандара и есть причина тревоги. А потому и послал гонца к эмиру в неподходящий для любовных утех день.

Но, отдав последнее распоряжение по всем сегодняшним делам, он наедине с самим собой не мог обманываться в природе своей тревоги — не одной сегодняшней, а постоянной.

Боязнь за себя, за свое место на троне — вот в чем было дело.

Сев на трон, он из прежних вельмож и чиновников кого отстранил от ведения дел, кого бросил в зиндан, а кого и просто казнил. Столь же сурово поступил с учеными мужами. И все медресе закрыл! Навел, кажется, повсюду порядок. А тревожно сердцу, все равно тревожно. И трон словно качается под ним. И эмиры шепчутся подозрительно. Плетут заговоры обиженные и не удовлетворенные им сановники. И где-то скрывается, где-то точит и точит боевой свой клинок против него Бобо Хусейн. Еще не может он, властитель Мавераннахра, спокойно спать по ночам в своем Кок-сарая. Стоит смежить веки, и видится кто-то входящий в спальню с обнаженной саблей, мститель видится, и властитель просыпается, дрожит, сдерживается, чтобы не кликнуть стражу, не выдать своего страха. Просыпается и уже до самого утра бодрствует.

Может быть, сегодняшнее богоугодное дело, на которое получено благословение — фетва не только самаркандских улемов, но и самого высокочтимого ишана из Шаша, может быть, оно приведет к тому, что всевышний сжалится над ним, смиренным рабом своим, и подарит душе его мир и отраду? Хорошо бы!

Тихонько приоткрылась дверь. Шах-заде резко повернулся на звук. Косоглазый есаул стоял на пороге — этому есаулу, рекомендованному самим шейхом, он разрешил приходить прямо к себе, не оповещая сарайбона.

— Ну, где же эмир Джандар?

— Милостивый повелитель! Эмир Джандар... занемог. Лежит в постели!

— Своими глазами видел?

— Своими собственными, все милостивейший...

— Что ты ими мог увидеть, косоглазый шайтан? — Шах-заде зло усмехнулся. Поднялся. Подошел к есаулу. — Ну а новости про эту... беглянку развратную есть?

— Никаких, повелитель...

— Опять нет, опять нет! Вы когда-нибудь принесете мне приятные вести?.. Что мавляна Мухиддин?

— Мавляна... — Есаул склонил голову к левому плечу, искоса и робко взглянул на шах-заде. — Мавляна Мухиддин, говорят, потерял разум, повелитель. — И в ответ на недоуменный взгляд властелина, добавил проше — Ну, с ума спятил... Про то я услышал впервые от нукера, что ходил на обыск, а сегодня и сам видал мавляну на Регистане: голова непокрыта, глаза безумные, в одной рубашке по площади бегал. А потом, говорят, хаджи Салахиддин забрал его домой, кандалы на руки и ноги набил, слуг сторожить приставил к нему.

— Бедняга! — неожиданно вырвалось у шах-заде. Он поморщился, посмотрел на Шакала, добавил:

— Но... сам он виноват. Так будет со всяким, кто предаст душу дьяволу... А ты ступай. Скажи, пусть придворные будут наготове: скоро поедем!..

Известие, полученное от косоглазого есаула, еще больше разбередило душу шах-заде. Но, когда Абдул-Латиф вышел из холодных покоев Кок-сарая на свежий воздух, а день был на удивление теплый, от обильного снега, что выпал с неделю назад, и следа не осталось, он вдруг почувствовал облегчение, которого так долго и тщетно ждал. Тепло, светло, солнечно, и даже молодая травка, оказывается, проросла уже на обочинах улиц, на плоских земляных крышах, поверх глиняных дувалов. И ветки тальника, росшего вдоль говорливых арыков, пошли помаленьку краснеть, наливая живительным соком почки. И ветер с гор, ласково-теплый, нес с собой почти не слышный и все-таки

уловимый аромат весны; горьковато-волнующие запахи полыни, дикого лука и степного ковыля смешались в его дуновении.

Шах-заде дышал, дышал полной грудью. Перед его просветленным взглядом вставали почему-то картины далеких гератских зеленых холмов. В свите деда своего, Шахруха-счастливица, Абдул-Латиф каждую весну выезжал в холмистую степь под Гератом — на место козлодраний, скачек и прочих лихих игр-состязаний. Озорным он был в юности, ох каким озорным!

Шах-заде, улыбаясь воспоминаниям, ударил камчой вороного, тот нетерпеливо рванулся вперед; за султаном и приближенные отпустили поводья, и мощные улицы загрохотали под копытами лихой скачки.

Как в молодости!

Только тогда, в молодые годы, никто не охранял его особу. А теперь по обеим сторонам улиц от Коксарая до самой обсерватории стояли через каждые пятнадцать — двадцать шагов наряды копьеносцев, а неподалеку от пути следования повелителя в переулках и закоулках теснились конные ратники, одетые в кольчуги.

Мирза Абдул-Латиф, хоть и понукал коня мчаться еще быстрее, успевал сквозь частокол копий с трепещущими на ветру флажками, поверх шлемов стражников видеть глаза, лица покорных ему тысяч людей. Согнанные, они стояли молча, опустив взгляды, у заборов, в переулках, в дверных проемах лавок и мастерских; дети сидели на крышах, и в их глазах он ловил тот же страх, но еще восторженное изумление пышностью его поезда. Сердце шах-заде задрожало в ликовании. Оно было сейчас — сам нашел это поэтическое сравнение, — словно глубокое самаркандское небо. Оно было лазурное, его сердце! Не зря, не зря он сражался за Мавераннахр, за этот великий город Самарканд! Стоило, стоило не один, а сто раз рискнуть жизнью ради того, чтобы промчаться по улицам Самарканда, великого из великих городов, столицы непобедимого предка своего — эмира Тимура, промчаться и увидеть коленопреклоненные толпы, склоненные головы. Сладостна власть и величественна!.. Вот сейчас он может остановиться и приказать всем этим людям: падите в поклоне еще более низком! Целуйте землю, по которой проскакал мой конь! И падут! И будут целовать землю!

Пусть кто-нибудь посмеет не выполнить его повеления...

И перед обсерваторией была тьма народу. Невообразимый шум навис над площадью!

Сотни дервишей, размахивая кадилами с дымящей гармалой, качая в такт песнопению своими островерхими колпаками, тянули заунывно-стройно: «О аллах... о наш создатель...» Обычные нищие и убогие попрошайничали, протягивая к людям, заполонившим площадь, костлявые руки. Все прибывало и прибывало людей со всех четырех сторон, и все звонче и раздраженной звучали окрики конных стражников с обнаженными саблями, что пытались навести хотя бы подобие порядка в толпе. А на минаретах обсерватории били барабаны, сотрясал воздух рев медногорлых карнаев, способный потрясти и землю и небеса!

Двустворчатые ворота обсерватории были распахнуты: дорожку, ведущую от них в глубь двора, оставили свободной, а по обеим сторонам ее выстроились знатные люди Самарканда. Хоть и тепло было, стояли они в суконных тяжелых чекменях, лисьих и собольих шубах, в бобровых шапках. В руках имамов и улемов священные книги.

По правую сторону от входа воздвигнут высокий деревянный помост, застланный коврами и

одеялами, — это место для столпов веры, шейх Низамиддин Хомуш уже там. Помост полу-окружен белыми мантиями и чалмами знатнейших из улемов и дорогими одеждами виднейших из государственных мужей. Жемчуга на шапках, золотые рукоятки сабель, серебро поясов — все блестело так, что не сразу разберешь лица. Впрочем, градоначальник Мираншах был виден и в такой толпе.

Прямо перед помостом, если смотреть по линии, ведущей ко входу в здание обсерватории, гора саксауловых веток и поленьев, а на них груды и груды книг. Их будет еще больше, потому что из помещения обсерватории выходят все новые служки и выносят все новые и новые книги, наращивая гору...

Шах-заде пошел от ворот по дорожке прямо, потом повернул направо. Знать и духовенство у помоста расступились перед ним. Низамиддин Хомуш поднялся навстречу, приглашающим жестом указав на кучу одеял, где надлежало воссесть шах-заде, потом почтительно прижал руки к груди. Не сводя глаз с взошедшего на помост Мирзы Абдул-Латифа, шейх сказал одному из улемов:

— Пусть впускают сюда тех ученых и поэтов, кто отступил от истинной веры! Пусть они увидят своими глазами, как будут гореть греховные книги!

Ввели во двор десятка три талибов, бедно одетых, беспокойных, напуганных. Преподаватели медресе, еще в одеяниях мударрисов, стали рядом с учениками, поодаль от помоста.

— Начнем? — повернулся к Абдул-Латифу шейх. В ответ кивок головы.

Шейх поднялся во весь рост. Продолжая перебирать в пальцах тяжелые янтарные четки, поправил белую мантию, скрыв ею обнажившееся черное пятно бархатного халата. Сделав шаг вперед, к краю помоста, он обратился к народу с проповедью. Не торопясь, отбирая каждое слово, шейх заговорил о том, сколь существенным благодеянием будет сожжение еретических книг, что собрал в этом нечестивом гнезде обсерватории человек, отступивший от веры истинной вместе со своими шагирдами. И пламя костра, который изничтожит сии книги, могло бы уничтожающим смерчем пасть на головы всех согрешивших — да, так оно и будет, если рабы аллаха, совращенные искусителями-нечестивцами, не станут денно и ночью молить всевышнего об отпущении грехов своих, так оно и будет, ибо уповать можно лишь на милосердного аллаха, на то, что в милости своей он вернет их на путь истинный... Илахи аминь!

И огромная толпа громко, будто одним выдохом, повторила:

— Илахи аминь!

Абдул-Латифу почудилось, что восклицание это потрясло и стены безбожного гнезда — обсерватории, и весь город.

Сиятельный шейх принял из протянутой руки дервиша факел. Передал шах-заде. Второй факел взял для себя. Твердыми шагами спустился шейх с помоста, зная, что шах-заде пойдет за ним.

Абдул-Латиф не думал, что сожжение книг начнет он сам, даже не хотел этого, но проповедь пира, единодушные возгласы одобрения толпы, здесь собранной, торжественная мрачность ритуала — все это словно причастило его к некоему божественному волеизъявлению, взволновало его религиозное чувство, и потому твердыми шагами последовал он за шейхом к горе ветвей и книг. С молитвенной дрожью он первым протянул горящий факел к сухим ветвям в основании горы. Хворост тут же вспыхнул. Шейх добавил огня. И в один миг большущий язык красного пламени устремился вверх, по-змеиному шипя и разбрызгивая вокруг искры. Еще миг — и гора книг скрылась в дыму и огне.

Летели, рассыпаясь, искры, трещали, корчились переплеты, пеплом оседали страницы.

— Илахи аминь! — снова дружно грянула толпа.

Пение дервишей, гул людского одобрения, потрескивание сучьев — словно теплая, размягчающая, снимающая напряжение волна окатила душу шах-заде.

Он закрыл глаза. Ему казалось, что мягкая ласкающая волна вздымает его все выше и выше, но нет, не волна, он сам распростер крылья и летит, летит, купается в теплом и голубом поднебесье.

— О аллах! Прости меня, раба своего! Не пожалей милостей своих для меня, дай мне отраду, — шептал шах-заде.

Что-то заставило его вернуться к реальности, открыть глаза, какой-то переполох. Костер горел по-прежнему ровно и сильно, полыхал вовсю, трещал, разбрасывая снопы искр. Но многие смотрели уже не на костер, а на ворота. Там продолжалась непонятная свалка, слышались невнятные крики и проклятья: «Держи его», «Не пускай!», «Стой!»

Но, растолкав всех, прорвав заслон, во двор медресе вбежал босоногий и простоволосый человек с всклокоченной бородой, в рубахе с оторванным рукавом и разодранной до пупа. Юродивый, сумасшедший? Да, но... это был мавляна Мухиддин!

Абдул-Латиф почувствовал вдруг резкое головокружение, непонятный страх замкнул его уста, судорогой прошелся по мышцам лица.

Мавляна Мухиддин, сверкая глазами, кинулся к костру, остановился на полпути, застыл, а потом, вскинув руки, схваченные в запястьях железной цепочкой, начал по-дервишески пританцовывать на месте. Так же внезапно он прекратил танец, отвернулся от костра, закричал:

— Правоверные, эй, правоверные! Этот костер — пламя адское! Кто изгонит из своего сердца всемогущего аллаха, кто ступит на тропу ереси, тому гореть вот в таком огне! Глядите, глядите, рабы аллаха! В таком огне будет гореть нечестивый, впавший в ересь! Глядите, запоминайте, правоверные!

— Схватите безумца! — повелительно выкрикнул, перекрывая общий шум, шейх Низамиддин Хомуш.

Мавляна Мухиддин завертел головой, будто стряхивал с нее горящие уголья, затем безумным взглядом уставился на шейха и вдруг, радуясь чему-то, заверещал тонко, пронзительно:

— Эй, правоверные! Глядите, вот он, нечестивец Али Кушчи! Вот он, отыскался, проклятый всевышним, вот он, бежавший из зиндана, вот он... Держите его, держите!

Стражники накинулись на мавляну Мухиддина, попытались свалить его наземь. С неестественной силой мавляна отбросил их от себя, сделал несколько шагов к помосту, продолжая кричать:

— Али Кушчи! Это ты, кяфир[76], вероотступник! Держите его, люди! Держите!

Белая пена выступила на губах мавляны, дикая, безумная сила полыхала в зрачках.

Шах-заде невольно подался назад. Опомнился, рука дернулась к сабле. Сам крикнул:

— Да схватите же этого безумца!

С заломленными назад руками, как-то нелепо вывернув колени, мавляна качался, пытаясь вырваться из рук стражников. Смотрел он при этом на Мирзу Абдул-Латифа, только на него. Так казалось самому Абдул-Латифу.

— Ага-а-а... — вдруг тонким пронзительным голосом закричал мавляна. — Вот ты где, отцеубийца...; Эй, правоверные! Я нашел отцеубийцу... Я нашел того, кто убил своего

благословенного родителя Мирзу Улугбека!.. Хватайте его! Держите его! Отцеубийцу в адский огонь! В огонь его, в огонь!

На миг площадь онемела. И простой люд, и вельможи, и почтенные имамы и улемы, и сами стражники. А через минуту перед очами тех, кто сидел на помосте, предстал пробившийся сквозь толпу Салахиддин-заргар. Подбородок его дрожал от сдерживаемых рыданий, в глазах слезы, один конец чалмы развязался и волочился чуть ли не по земле.

— Пир мой, пир мой, простите, простите! — захлебываясь, говорил хаджи, обращаясь к шейху. Подскочил к сыну, которого стражники наконец повалили на землю, но старика грубо оттолкнули. Мавляну Мухиддина поволокли по земле. Он сучил ногами, скованными руками пытался за что-то зацепиться; голову, разбитую о камни, заливала кровь, а из уст безумца все еще летели хриплые зловещие слова:

— В огонь отцеубийцу, правоверные, в огонь его!..

Хаджи Салахиддин, припадая на ногу, бежал за стражниками, пытаясь схватить за рукав то одного, то другого; он рыдал, умолял о чем-то, напрасно рыдал, тщетно умолял...

Площадь, народ, стражники с ювелиром и его сумасшедшим сыном — все вдруг закружилось перед Абдул-Латифом. В глазах почернело. Боясь, что вот-вот упадет, он схватился за плечо шейха, придвинулся к нему, как бы прося защиты.

— Держитесь прямо, сын мой. Очи всех людей устремлены сейчас на вас, — прошипел шейх.

Подняв высоко голову, он оглядел сверху вниз толпу, воскликнул торжественно и властно: —

Правоверные, истинные мусульмане! Вы все свидетели, вы сами все видели: кто предался ереси, кто поддался гордыне, тот заслужил кару всевышнего и получил ее! Сие отмщение небесное!

Шейх говорил еще долго, властно, вдохновенно, и не слышал его, пожалуй, лишь один человек — шах-заде. Он слышал другие слова: «Эй, правоверные!.. В огонь отцеубийцу... в огонь!..»

19

Каландар Карнаки все сидел и сидел, преклонив колени, у свежего могильного холмика, маленького, будто похоронили в нем ребенка. Закрыв глаза, он читал молитву.

— Вставайте, шайр, времени мало у нас, а мертвую не воскресить и молитвой.

Каландар знал, кто произнес эти слова: шагах в четырехпяти под тенью вяза примостился, поджав под себя ноги, Мирам Чалаби.

Еще раз прочел молитву Каландар, поднес ладони к лицу, поднялся.

Рассвет был уже близок, сквозь редкие облака мерцали, быстро слабея, звезды; над кладбищем тихо плыл голос чтеца Корана. «Как похож этот голос на голос Али Кушчи», — подумалось Каландару...

Да, наставнику и следовало бы читать Коран над могилой матери, наставнику, а не его ученику. Но, увы, наставник в заточении и потому долг ученика...

Бедная старушка! Вихрь беды налетел и сбил ее с ног. Тиллябиби так и не оправилась от болезни.

Она угасала, словно догорающая свеча, и все глядела, глядела на двери и, стоило им скрипнуть, вскакивала с места со словами: «Мой верблюжонок, это ты, ты!» И вот жизнь ее, мучения ее прервались.

Каландар не сразу узнал о смерти матери Али Кушчи. Все последнее время он лихорадочно искал возможности спасти учителя. Каких только планов не придумывали они с Уста Тимуром! И ничего иного не смогли придумать, кроме того, что пришло в голову старому мастеру сразу же: с помощью

Шакала склонить на свою сторону одного из стражников. Склонить-то склонили, но для того, чтобы кое-что он пронес к Али Кушчи в узилище, и только!

Каландар мучился от бессилия, а тут еще, как сель в горах, как град на голову без шапки, весть об исчезновении Хуршиды!

О причинах, что толкнули молодую женщину на столь отчаянный поступок, Каландар узнал все от того же Шакала. А затем новая весть: о сумасшествии мавляны Мухиддина, о том, как вырвался он из дому на сожжение книг, и про крик его, что разнесся по всему Самарканду: «Отцеубийца!.. В огонь отцеубийцу!»

Исчезновение Хуршиды-бану ударило Каландара тяжелым молотом. Сидеть в пещере Тимура Самарканди было теперь совсем уж не в состоянии. Каландар ушел к подножию горы Кухак, целыми днями лежал в зарослях камыша на берегу Зеравшана. Глядел в небо, думал о судьбе своей, о том, как несчастно складывалась вся его жизнь.

Он даже на свадьбу Калканбека не поехал.

Калканбек, помолвленный с дочерью своих дальних родственников, очень звал его поехать в горы Ургута — брата, Уста Тимура и его звал. И Уста говорил, что надо поехать, проветриться, освободить сердце и голову от безнадежных мыслей. Но Каландар отказался наотрез. Не до свадьбы ему сейчас, не до радостей — даже радостей друга!

С наступлением темноты Каландар покидал заросли камыша, устало поднимался по склону Кухака на заранее обговоренное с Шакалом место встречи. Шакал брал то, что приготовлено было для мавляны Али Кушчи, много чего обещал, требовал еще больше денег — и все оставалось до следующей встречи без изменений.

Правда, вчера Шакал пришел очень взволнованный, нетерпеливый, сказал, что будто уговорил наконец эмира Джандара действовать, повлиять на бека, ведающего зинданом. Весьма возможно, они в скором времени выведут мавляну потайным ходом из заключения. Но для этого нужно золото, много золота. Пусть Каландар готовится к скорой встрече с мавляной.

Каландар тут же вернулся к Уста Тимуру и вот там узнал, что скончалась Тиллябиби. И что, кроме Мирама, никого не было на похоронах старушки: сын в тюрьме, сам он отсиживался в камышах, Уста Тимур и братья не вернулись со свадьбы. Мирам Чалаби и какие-то очень дальние родственники предали земле тело Тиллябиби...

...Словно с могилой собственной матери, прощался Каландар с могилой Тиллябиби. Несколько раз останавливался, оглядывался, уходя с кладбища.

Вороной аргамак с белой отметиной на лбу (пятьдесят золотых монет отсыпали за него Шакалу!) пасся в карагачевой роще, за кладбищем. Здесь Каландар и Мирам расстались. Отсюда он поехал... Но куда? Куда ему ехать?.. Мысли все еще были заняты образом бедной старушки, потом перенеслись к его родной матери, такой же любящей, тихой, ласковой... Ее-то могила осталась совсем без присмотра, пожалуй, вся травой заросла... Только позавчера, вспомнил он, только позавчера он получил первый ответ от наставника... Всего четыре слова: «Бумага. Карандаш. Мать, Тиллябиби»... Все мы грешные, только создатель безгрешен. Но если и грешен в чем-то мавляна, то уж мать его, чем она виновата?.. Просто тем, что любила сына? И вот сгорела, словно свеча от ветра, от беды, выпавшей на долю сына.

На берегу по-весеннему бурной реки Каландар придержал коня. Надо было опять скрываться в

камыши. Не хотелось! И он повернул коня к горе Кухак. Выбрал на дороге холмик посуше, поднялся на самый верх, здесь слез с коня, стреножил его, прилег на траву.

Солнце еще не поднялось, но робкая, нежно-розовая кисея, уже застлала вершины гор, осветлила их, приблизила к глазу; все ярче и гуще становилась она, воспламенялась, краснела, и вскоре весь горизонт был объят огромным костром; ликующерадостное, поднималось над землей весеннее солнце!

Трава намочла в густой росе. Или ночью дождик прошел, а он и не заметил? Утренний ветер колыхал траву, то зеленым шелковым покрывалом пригибая к земле, то взъерошивая гривой необъезженного скакуна. Нежно-зеленые холмы, снежная розовость горных вершин вдалеке, серебряная лента реки внизу — как это все похоже было на его родные края! Ну, разве не так же зеленеют сейчас невысокие холмы вокруг кишлака Карнак? И не так же готовятся к таинству раскрытия лепестков и листьев урюк и персик в густых карнакских садах? Вот если б вызвать мавляну Али Кушчи из зиндана, получить его благословение, да и махнуть на родину, благо весна, благо теплые дни впереди!

Махнуть? Без Хуршиды? Даже не узнав, где она, что с нею?

Не раз Каландар видел во сне возвращение свое в родные края, но в снах этих всегда вместе с ним была и Хуршида. Лежа в полутемной пещере Уста Тимура бессонными ночами, он часто воображал себе, как они едут вдвоем, седло к седлу, по бескрайнему степному раздолью к желанному отчему порогу... Хуршида в чабанской шапке, мужском чекмене — молодой пастух, да и только, а иначе не обезопасить ее от недобрых глаз! Лицо озарено радостью, слышался тихий, но счастливый смех... Да, счастливый, несмотря ни на что, счастливый... Он может вызвать на ее лице радостную улыбку и счастливый смех. Две последние встречи под старой орешинной в саду хаджи Салахиддина подсказали ему, что оскорбленная душа Хуршиды-бану, истерзанная и, казалось, надломленная, умершая, не умерла, не сломалась, что она может воскреснуть, что она... вновь потянулась к нему, Каландару... Счастье... Их счастье было возможно, если бы не новый и уже, видно, непоправимый удар!

Подлый отцеубийца! Сгореть бы тебе со всем своим гаремом! Десятки, сотни невольниц — из Герата, из Балха, из Самарканда! Нет, он позарился на его единственную любовь...

Бедный народ! За что тебе достался этот дьявол в облике шах-заде?

Да, его беда не единственная.

Третьего дня ночью, когда Каландар был у Уста Тимура, чтоб прихватить кое-что из одежды и оружия, а братья-кузнецы собирались ехать в горы за невестой Калканбека, в кишлаке вдруг раздались шум, грохот, лошадиный топот и крики людей. Братья не выдержали, выскочили из пещеры, Каландара удержал старый мастер. Калканбек тотчас вернулся с криком: «Где наши сабли?... Воины шах-заде грабят кишлак!» Каландар тоже схватил саблю, выскочил наружу. В кромешной тьме куда-то с криком бежали люди. Женщины плакали... Выяснилось, что воины шах-заде, словно банда разбойников, налетели, ограбили дочиста крайние дома кишлака, прихватили чью-то дочь и умчались.

В ту ночь в пещеру Уста Тимура, не сговариваясь, собрались мужчины со всей махалли. Пришли кузнецы и гончары, каменотесы и резчики по дереву; пришли и кишлачники, робкие, тихие дехкане, среди них отец похищенной девушки, маленький человек, ростом в аршин, с морщинистым лицом в

кулачок. До рассвета просидели они в пещере, говорили — и все об одном: плохо в стране, насилие кругом, сколько можно терпеть? Говорили: в городе закрыты торговые лавки, замолкли мастерские ремесленников — что от работы толку, коли нет покупателей. Из пригородных кишлаков дехкане в город не едут — среди белого дня на дорогах грабят, — и самаркандские базары, знаменитые самаркандские базары обезголосели.

Сколько же можно терпеть? Не пора ли подниматься работающему люду?

Странно иль нет, а первым такой вопрос задал морщинистый маленький дехканин. Его поддержали другие — пора, мол, пора. Но Уста Тимур, хранивший до того молчание, охладил их пыл, рассудительно заметив, что рано подниматься, силы слишком неравны пока, не надо зря проливать кровь человеческую. Надо собирать силы.

Каландару, прежде согласному со старым мастером, казалось теперь, что Уста Тимур был неправ в своей рассудительности. В молодости люди дерзки, к старости мудрая осторожность может превратиться в излишнее спокойствие. Правы ремесленники — надо поднимать людей, идти штурмом на Кок-сарай! Каландар был готов повести их, пусть и мало надежды на успех, пусть он и сам погибнет в битве. Но ведь в битве! А не в прозябании, когда ты должен только сидеть и ждать, сидеть и ждать.

Да и к чему теперь ему жизнь, и жизнь ли это, когда оборвались или вот-вот оборвутся последние нити, из-за которых стоило жить, из-за которых жизнь не до конца опостылела ему?

Рывком вскочил Каландар на ноги, с лихорадочной поспешностью взнуздal коня, пустил его вскачь вниз, не разбирая дороги, невзирая на крутизну холма. Заросли камыша впереди словно пылали — так яростно освещало их красным пламенем весеннее солнце...

Когда в сумерках Каландар поехал на очередную встречу с Шакалом, он почти уверился в том, что эмира Джандара удастся подкупить и что эмир, в свою очередь, подкупит тюремщика. Тогда придет решающая ночь. В самом деле, должна же она наступить? Разве мало повидал он на своем веку продажных, падких на золото, на выгоду вельмож, эмиров, чиновников?.. А в глубине сознания теплилась и еще одна мысль — о Хуршиде-бану. Почему-то казалось, хотя для этого не было никаких разумных оснований, что сегодня он услышит от Шакала что-то новое и о ней. «Все может быть, все может быть...» — заклинал себя Каландар.

Он долго ждал Шакала. Сидел, обхватив руками колени, невидящими глазами уставясь в темноту. Наконец сверху, по склону горы, что-то зашуршало, будто под мягкими сапогами захрустели сухие сучья. Каландар вышел из-под ветвей тутовника; на светло-синей полосе неба, четко окаймлявшей изгиб склона, сгустилась тень человека.

Каландар пошел вверх, навстречу.

— Шакал, ты?

— Я, дервиш...

Они сошлись.

— Чего же ты молчишь?

— Вести нерадостные, дервиш, оттого и молчу.

Собеседник Каландара тяжело дышал, будто после торопливой ходьбы.

«Или от страха?» — подумал Каландар.

— Все равно давай выкладывай.

— Мирза Абу Саид бежал из зиндана. В Кок-сараяе тревога, дервиш.

— Кто бежал?

— Абу Саид... Ну, племянник покойного повелителя, Улугбека. Он ведь тоже томился в зиндане.

— А когда сбежал?

— Один аллах ведает. Вчера шах-заде прошел по всем темницам и обнаружил, что Мирзы Абу Саида и след простыл. Надсмотрщик сам попал в зиндан... ну и переполох повсюду...

— А где эмир Джандар?

— Наверное, занят тем, что свою шкуру спасает.

Все, все пошло прахом! Столько усилий — и все на ветер! На ветер несколько месяцев борьбы, надежды, подготовки! «Бедный устод!» — горько, чуть не вслух произнес Каландар. Прямо из сердца рвалось спросить про Хуршиду — о ней-то какие вести? Но не спросил. Сдержался.

Процедил только сквозь зубы:

— И это все, что ты мне принес сегодня, лис?

Сжав кулаки, долго-долго вглядывался в небо, в его темную холодную глубину. «За что на обездоленных новые беды, почему на страдающих сыплются новые страдания?»

В разрывах легких весенних облаков равнодушными льдинками поблескивали звезды.

«Нельзя верить ни этому небу, ни этим звездам, ни падким на золото эмирам... Где Уста Тимур, Калканбек и Басканбек?»

И, словно забыв о Шакале, Каландар зашагал, спотыкаясь о камни, к своему коню.

20

Гонец из Кок-сарая прибыл к Султану Джандару явно не ко времени: в гостиной эмирова дома собрались пять-шесть человек, тоже эмиров, сидели, тихо беседовали друг с другом, ожидая Мираншаха и шейх-уль-ислама Бурханиддина. Ворота были на замке, двери в комнату крепко заперты, тяжелые темносиние бархатные занавеси плотно закрывали окна, так что ни один лучик света не вырывался во двор — да и много ли света даст единственная свеча, что горела в обширной мехманхане? И все же слово «гонец», принесенное верным слугою, оглушило и ослепило собравшихся. Гости повскакали с мест, сбились кучей. Эмир Джандар сам прислуживал гостям — он так и застыл у порога изваянием в белой рубахе и пестром банорасовом халате. Не потерял присутствия духа один лишь Бобо Хусейн Бахадыр — он тоже был здесь, любимый Улугбеков нукер; быстро дунул на свечу, неслышно подошел в темноте к хозяину, властно шепнул:

— Заприте залу снаружи! Сами пройдите в другую комнату, ложитесь в постель... не забудьте снять халат!.. Пусть гонец своими глазами увидит вас в постели!

Но гонец не захотел увидеть захворавшего эмира на одре болезни. Слуга, вышедший к гонцу сообщить о том, что эмир занедужил, тотчас вернулся обратно.

— Там дворцовый сарайбон... ну, тот, темнолицый, из Балха. А с ним десять всадников. Он сказал, что должен привезти вас во дворец, будь вы даже при смерти... Или вы сами выйдете, мой эмир, или... боюсь, они ворвутся в дом...

Султан Джандар соскочил с постели.

— Пойди скажи: сейчас, мол, выйду. И прикажи седлать коня! Погоди! Видно, случилось что-то недоброе в Кок-сараяе, пусть гости не расходятся, а притаятся и ждут моего возвращения.

Темнолицый из Балха, недовольно хмурясь, ожидал Султана Джандара у ворот. Он пропустил эмира

вперед, поехал следом, за ними цепочкой вытянулись всадники.

Ночь была темная, но не тихая, как бывает обычно в столь поздний час. Порой из улиц и переулков выплескивался конский топот; какие-то всадники с факелами мелькали то впереди их кавалькады, то сзади, то сбоку — тоже гонцы, что ли? Тени пеших соглядатаев то и дело возникали на протяжении всего их пути во дворец.

Что-то случилось! Несомненно, что-то случилось! Серьезное что-то.

Что же?!

«О аллах, сохрани, убереги меня от гнева этого безумца!» — молитвенно воззвал к всевышнему эмир. Предчувствие беды навалилось на него... Вот уже с месяца, как он не появляется в Кок-сарая. С того самого дня, как исчезла «роза из цветника», дочка сумасшедшего мавляны Мухиддина.

Боясь гнева Мирзы Абдул-Латифа, Султан Джандар тотчас слег в постель, всем гонцам отвечали, что эмир тяжело захворал. Даже на сожжении книг он не был, хотя прослышал, конечно, о безумном мавляне Мухиддине, о его словах, обращенных к шах-заде и ставших притчей во языцех всего Самарканда, в том числе и вельмож, сильных мира сего... И все больше, надо признаться, стало приходить их в дом эмира Джандара. Приходили будто справиться о его здоровье, и любой всенепременно заводил речь про события во дворе обсерватории: кто осудительно по отношению к мавляне, а кто осудительно по отношению... И эмир Джандар не без удивления убеждался, что недовольных повелителем среди беков, эмиров, чиновных людей больше, чем он предполагал. Говорили, что вера и правда в служении наследнику престола, когда тот вел борьбу с отцом, не поощрены как должно. Что Мирза Абдул-Латиф вверил себя лишь Низамид-дину Хомушу, и даже произносились слова о человеке, попавшем в когти черных улемов: прикажут улемы шах-заде лечь — он ляжет, прикажут встать — встанет... И многие из мудрых уже давно держатся в стороне от шах-заде, взять хоть того же шейх-уль-ислама... А во дворце нет ни благочестия, ни спокойствия. Эмир долго колебался, прежде чем решил собрать влиятельнейших из недовольных. Он хотел поглядеть на их единодушие, и, коли в самом деле они единодушны в своем недовольстве, тогда... Что тогда, об этом эмир боялся признаться и самому себе...

И вот этот вызов во дворец!

«Пронюхал, пронюхал, отцеубийца! Все! Конец. Полетит голова высокородного эмира, будто срезанная с грядки тыква. Вот уж верно — из-под дождя да в град попал! От Мирзы Улугбека — в руки головореза... Истинно, ничто не остается безнаказанным! За невинную кровь султана Улугбека — кровь Султана Джандара, за ту голову — мою собственную?..» Эмир пошатнулся, чуть не упал с коня, но удержался за луку седла.

Вот и площадь перед дворцом; эмир не спешил, охал, нарочито громко стонал. Стражники отошли от костра, освещавшего ворота Кок-сарая, приблизились, узнали эмира, поддержали под руки, помогая слезть с коня.

Эмир и вправду горел, словно в лихорадке. Но прошел сквозь ворота сам; задрав подбородок, прошагал через двор; лишь перед тем, как войти внутрь дворца, задержался на миг, стараясь унять дрожь в коленях.

Сарайбон распахнул перед ним двери в саям-хану, и эмир Джандар, почтительно сложив на груди руки, вошел. Шах-заде стоял посередине комнаты. Ноги широко расставлены, будто для того, чтобы прочнее было стоять, а лицо... о, всевышний, какое страшное лицо было у шах-заде — болезненно-

белое, как всегда, оно покрылось синими пятнами, с синими мешками под глазами. А глаза острые, колючие! А самое страшное — голова трясется мелко и часто, как у брата было, у Абдул-Азиза. Эмир Джандар согнулся в поклоне. Застыл, не желая выпрямляться, не желая вновь увидеть трясущуюся голову. Услышал, как приблизился к нему шах-заде, сквозь свистящее дыхание его разобрал:

— Ну, эмир Джандар, где же Мирза Абу Саид?

— Мирза Абу Саид? — непонимающе повторил Султан Джандар, поднял глаза и тут же опустил их: синие пятна на бескровном лице, трясется, трясется голова! Словно труп ожил!

— Что ж ты молчишь? Я же спрашиваю тебя: где Мирза Абу Саид?

— Абу... Саид... в зиндане, повелитель.

— В зиндане?! Тогда походи туда и приведи его! — Абдул-Латиф обеими руками вцепился в эмиров халат. — Приведи немедленно! Тотчас же!

«Сбежал! — мелькнула догадка. — Значит, сбежал! А ведь тоже наследник!»

— Благодетель мой, о смерти своей ведаю, об Абу Саиде нет. Вы же знаете, милостивый, тяжкий недуг свалил меня в постель!

— Недуг?! — зарычал Абдул-Латиф. — Недуг, говоришь?.. Разжирел, как осенью кабан, и жалуешься на болезни. Лежишь в постели, а сам плетешь сети против меня!

«Знает! Знает или вопит наобум?»

— Ну, отвечай! Снюхался с Абу Саидом или не успел?!

— Аллахом клянусь...

— Аллахом?.. Тогда клянись, что разыщешь этого смутьяна! Схватишь и бросишь к ногам моим!

— Брошу, повелитель...

— Сегодня же бросишь!

— Сегодня же, благодетель!

Абдул-Латиф отпустил халат эмира. Шатаясь, пошел к трону.

Эмир Джандар шумно вдохнул воздух, оперся о стену. Сил не было и у него.

Глаза закрыл, и тотчас предстали его воображению гости, что затаились сейчас в его доме. «Сегодня же бросишь его к моим ногам!» Ладно, брошу, только бы вырваться отсюда, от этого бесноватого. А там... я тебе «брошу», я тебя научу отличать, где зло, где добро».

Эмир открыл глаза. Абдул-Латиф испуганно загремел золотой колотушкой. Вбежал сарайбон.

— Эмиру Джандару из придворных нукеров... человек десять... Двадцать! Сколько спросит! Эмир поймает сегодня же этого сбежавшего дьявола... Абу Саида!.. И приведет ко мне — сюда! — закованным в цепи!

Мановением руки шах-заде отпустил эмира. Поманил сарай-бона. Темно-зеленая чалма балхца приклонилась к устам повелителя.

— Приставь соглядатая! — прошептал шах-заде. — Этот выросший на сале змеи хитрец может предать, переметнуться к Абу Саиду. Случится так — твоя голова с плеч! Понял?

— Все понял, повелитель.

— Погоди! — Мирза Абдул-Латиф остановил сарайбона, метнувшегося было к дверям, взглянул ему в лицо, но, будто забыв, о чем хотел сказать, отвел взгляд, долго смотрел в одну точку.

Сарайбон терпеливо ждал, что скажет шах-заде.

— Ну, ладно, иди! — Шах-заде махнул рукой. И, к удивлению сарайбона, добавил как бы невзначай:
— Да, передай начальнику тюрьмы, что я хочу видеть мавляну Али Кушчи. Пусть его приведут ко мне...

21

Мавляна Али Кушчи не знал, что и подумать: кукурузные лепешки перестали передавать ему. А со вчерашнего дня забыли и про ячменные, и про кумган с водой. Что это означало? Решили уморить голодом? А он-то размечтался, думал, что вот-вот завершит главу своего трактата «Рисолаи дар фалакият» и передаст ее верным шагирдам. Вложит в кумган, и пойдет его мысль на свободу. Не тут-то было. Видно, и тюремщики не дремали, разнюхали про переписку.

В последнее время ноги мавляны сильно распухли, к прежней боли прибавилась новая, не отпускавшая ни когда он сидел, ни когда ходил по своей тесной клетке. Часами растирал он опухшие суставы, сжав зубы, массировал колени, лодыжки, бедра. Устав, валился без сил на циновку, но долго лежать не мог: промозглая сырость опять набрасывалась на его ноги, словно зверь, терзала их. Али Кушчи вставал, хромя, обходил темницу вдоль стен. Надеясь забыть про боль, начинал рассуждать вслух, продолжая свой трактат. Но что-то плохо выходило: мысль, оказывается, тоже не всесильна, ее в конце концов могут одолеть голод и боль... Иногда горячий жар поднимался по телу, окутывал сознание. Возникла туманная пелена, сквозь которую виделись то мать, вся в слезах, ее потускневшие, блеклые глаза, то устод Улугбек, то наставник Кази-заде Руми — и тот и другой обращали к нему свои советы, странное дело, по тому сочинению, над которым он размышлял здесь, в зиндане. Подчас они спорили с ним, поправляли его, и удивительно, что, когда жар спадал, когда мавляна понемногу приходил в себя, поправки и советы эти припоминались отчетливо и зримо, и, надо сказать, были эти советы и поправки всегда полезны.

Сегодня боль скрутила особенно сильно. Она пронизывала его тело до кончиков пальцев на руках и ногах. Али Кушчи горел в жару. Показалось ему, что дверь в темницу приоткрылась и вошел повелитель-устод, приблизился к нему, склонился над ветхой циновкой.

— Что с тобою, сын мой?

— Как видите, учитель, совсем одолела меня болезнь, — ответил Али Кушчи, пытаясь подняться и вновь опрокидываясь навзничь. — Совсем одолела...

— Мне очень, очень жаль тебя, Али. Это я виноват во всем, я взвалил на твои плечи слишком тяжелую ношу. Пойди повинись перед шах-заде, упади ему в ноги. Иного выхода нет, Али...

— О учитель, не надо так говорить. Я скорее умру здесь, в этой готовой могиле, в холоде и голоде, чем предам вас, предам в руки шах-заде, вашу... нашу... тайну.

Но Улугбек просунул ему под мышки руки свои, приподнял его с циновки.

— Нет, нет, — бормотал Али Кушчи, — если предам... как предстану перед вами? Как посмотрю в ваши глаза... в день Страшного суда?

Устод, не обращая внимания на эти слова, продолжал тащить, поднимать Али Кушчи. И вдруг изменившимся, грубым голосом закричал:

— Да вставай же, говорят тебе!.. Поднимись! Тебя зовет солнцеликий повелитель Мирза Абдул-Латиф!

«Какой солнцеликий?..» Али Кушчи с трудом расклеил ресницы, отрешаясь от видений. Двое воинов пытались поднять его, ухватив под мышки, третий с факелом в руке стоял у порога. До скрипа

стиснув зубы, Али Кушчи все-таки выпрямился. Чтоб не упасть, привалился тут же к стене, прошептал:

— Воды!

— Эй, воды, — обратился один из воинов к тому, что стоял у порога.

Тот прокричал это слово в глубь темного коридора.

Одним махом осушил Али Кушчи чашу с водой — холодная, она обожгла его внутренности, но голова, кажется, прояснилась. «Зачем я понадобился шах-заде? Опять допрос? Или перед пыткой он желает посмотреть, в каком я сейчас жалком виде?»

Мавляна не хотел показывать своей слабости, хотел выйти сам из зиндана, однако ноги плохо слушались его, дыхание спирало, и тогда нукеры подхватили его под локти и чуть ли не понесли на руках.

Так миновал он длинный, казалось, бесконечный, подземный коридор, но наверху, отдышавшись, собрав всю волю в кулак, пошел сам. Медленно, медленно, но сам.

Во дворе стояла еще темень, а близость рассвета все равно была ощутима: по отдаленным рыдающим вскрикам ослов, петушину пению, по предутреннему ветерку, что донес до него забытый, желанный запах весенних трав. Звезды еще мерцали довольно ярко, и у водоема Али Кушчи остановился, посмотрел в небо, на горящие уголья Плеяд и Большой Медведицы, натертый до полного блеска алмаз Венеры, стоящий точно под прямым углом к перпендикуляру минарета... «Близок рассвет, упоительно прекрасны эта земля и это небо, и этот ветерок, как хочется надышаться им всласть... Прекрасна свобода, прекрасен мир божий. И низки, жестоки, немилосердны люди».

Али Кушчи пошатнулся, нукеры кинулись к нему, снова подхватили под руки, но он слабым жестом отстранил их и со словами «я сам, я сам» шагнул дальше...

Увидев Али Кушчи у дверей салям-ханы, шах-заде проворно покинул тронное кресло, пересек залу и остановился рядом с ученым.

— Ассалам алейкум, мавляна!

«Что это с ним? Лицемерит? Снова лицемерит?» Но лицо шах-заде вызывало жалость: красные от бессонницы белки косящих глаз, заостренный нос, мертвенно бледная кожа Растрепанная редкая бороденка, неприбранные, взлбхмаченные усики. Движения суетливы, и весь он какой-то смятенный. «Нет, сейчас он не лицемерит...»

Али Кушчи вздрогнул от резкого звука колотушки шах-заде, призывающего слугу. И тотчас, не выждав даже времени, пока мавляна ответит на приветствие, Абдул-Латиф заговорил, обращаясь то к Али Кушчи, то к явившемуся по вызову сарай-бону:

— Управляющий зинданом проявил жестокость... Превысил мой приказ, переусердствовал...

Уважаемый Мавляна натерпелся мучений. Увы, увы!.. Немедля отведите досточтимого в баню.

Дайте ему новое платье, накормите — и сюда, сюда, ко мне. Прошу ко мне, уважаемый...

Заложив руки за спину, в добром расположении духа после милостивого распоряжения, которое он отдал относительно Али Кушчи, шах-заде кружил по зале. Впрочем, облегчение душевное было минутным и призрачным, скрывающим глубоко подавленное настроение.

Боязнь врагов и беспомощность перед судьбой снова завладели Абдул-Латифом. Случай, что произошел на церемонии сожжения еретических книг, до сих пор казался ему зловещим предзнаменованием. Болезненные видения, подозрительные шорохи теперь стали чудиться уже не

только по ночам, но и при пете дня.

Ему было чего опасаться!

Лазутчики доставили шах-заде перехваченное письмо из Хорасана от двоюродного брата Султана Мухаммада. Адресовано послание это шейх-уль-исламу Бурханиддину, а главное, упоминались в нем имена Мирзы Абдуллы и Мирзы Абу Саида, отпрысков Тимурова древа, которые тоже могли претендовать на трон. Абдул-Латиф ничего определенного не мог вычитать из письма брата — оно, видно, было зашифровано так, чтобы понял его лишь тот, кому письмо предназначалось. Но одно то, что письмо это было адресовано шейх-уль-исламу, этому гордому, державшемуся независимо даже после поражения Улугбека законнику, насторожило шах-заде. А самое страшное — это упоминание про Абдуллу и Абу Саида, двух братьев по крови, которых он больше всего боялся и потому со дня своего воцарения держал в зиндане.

В зиндане? А может, уже и нет, может, они давно сбежали, а он сидит здесь, на троне, не ведая об этом?

Прихватив с собой зиндан-беги и есаул-баши, преодолев отвращение и страх, он спустился в подземелье Кок-сарая, отправился в самый дальний конец, туда, где в мрачных темницах грозный прадед Тимур Сахибкиран заживо гноил заклятых своих недругов. Путь был бесконечный, по-змеиному извилистый. Впереди шли нукеры с факелами. Отблески огней, пробегающие по неровным темно-бурым стенам, затхлость воздуха, непредвиденность поворотов, молчание и тяжесть дворца, навалившегося на этот узкий подземный ход, внушали невольную робость даже ему, шах-заде, тому, кому все это служило. Стражник тревожно заморгал, руки его затряслись, когда открывал двери в темницу Абу Саида. Долго возился он с замком. Есаул-баши оттолкнул стражника, вырвал у него ключ...

Свет факелов залил темницу, и... шах-заде пошатнулся, будто его нежданно ударили в грудь: узника не было. Длинная цепь, вделанная одним концом в гранитную стену, свободно змеилась по земляному полу.

Стражник подрубленно пал в ноги шах-заде, обнял его сапоги, прижался к ним лицом.

— О смерти своей ведаю, повелитель, а о бегстве... пленника... нет! Поверьте, поверьте мне!

— О смерти ведаешь? Ее и получишь! — Абдул-Латиф что было сил пнул стражника кованым сапогом, тот откатился к стене. Шах-заде вспрыгнул на него, стал яростно топтать тело, стараясь бить в лицо. Стражник руками пытался прикрыть голову и низ живота, харкая кровью, кричал, умолял простить. Но и крики и кровь лишь еще больше разъярили шах-заде. Он бил и бил, все стараясь попасть в лицо и живот. Стражник наконец перестал извиваться, завалился навзничь, потеряв сознание, раскрыв окровавленный рот и раскинув в стороны руки. Только тогда шах-заде перевел дух, взглянул на тех, с кем пришел сюда. Они торопливо отвели глаза. Покосившись на бездыханное тело стражника, шах-заде и сам почувствовал тошноту, отвращение и, круто повернувшись, выскочил из темницы.

Весь Кок-сарай был поднят по тревоге.

Больной эмир Джандар был доставлен к властителю. Обещал поймать беглеца. Но что толку от этих силой вырванных обещаний? Шах-заде не верил, что Абу Саида найдут. Сомнений больше не было: заговор существует. Неясно оставалось другое: кто стоит во главе заговора? Шейх-уль-ислам Бурханиддин или кто-то другой? Если он, то кто из эмиров и сановников поддерживает его, кто

близок к нему?.. Кто остался верен шах-заде? На кого можно опереться, кому довериться? Даже те, что пришли сюда из Балха, и те начинают косо смотреть на него, на своего благодетеля!

Внезапно Абдул-Латиф вспомнил, что сказал ему когда-то прямо здесь, в приемной зале для гостей и советов, отец, Мирза Улугбек. Этот трон, сказал тогда отец, никому не приносит счастья. Даже прадеду, потрясателю вселенной! И потому будь осторожен с мечом. Одним мечом нельзя удержать трон за собой, как нельзя насильно заставить женщину быть верной тебе. «Неужели моления султана-нечестивца дошли до всевышнего? Неужели небеса вняли отцовым слезам? Нет, нет, хоть он и родитель мой, но не может, не должно быть прощения властелину, поднявшемуся против истинной веры!» — думал Абдул-Латиф, но, думая так, знал, что лжет, самому себе лжет. Он знал, что Улугбек не был врагом веры, знал он и то, что не за веру воевал против отца. Шах-заде манил трон, влекла к себе упоительная отравка — сладость власти, безраздельной, полной, могущественно не считающейся ни с чьей иной волей.

За такое вожделение и следовало держать теперь ответ.

Но если так... то каким же будет этот ответ? Что именно ждет его впереди и когда? И нельзя ли обойти судьбу? Этот вопрос заставил Абдул-Латифа подумать об искупляющей многие грехи силе милосердия, а подумав о милосердии, вспомнить про Али Кушчи.

И, когда вошел сарайбон и сообщил, что мавляна вернулся из бани, шах-заде вновь почувствовал некое облегчение.

Абдул-Латиф поправил на себе одежду, разгладил пояс в рубиновых камнях, собравшийся в складки. Подошел к трону. Сел.

Руки его на подлокотниках тронного кресла мелко дрожали, сердце билось учащенно.

— Скажи, пусть входит!

Дворецкий ввел в залу Али Кушчи, поддерживая его под руку. Мавляна сделал несколько неуверенных шагов — так ходят в самом начале выздоровления больные, долго пролежавшие в постели. Наклонил голову — то ли в знак приветствия, то ли от болезненной слабости.

Шах-заде внимательно оглядел мавляну.

На ногах Али Кушчи новые, из желтого сафьяна сапоги; теплый добротный чекмень скрывает худобу тела; черный бобровый тельпек на голове делает выше ростом.

«Постарались одеть как надо». Шах-заде сделал знак сарай-бону, чтобы тот оставил их вдвоем.

— Как теперь чувствует себя уважаемый мавляна? — Голос шах-заде был необычно мягок и участлив.

«Неужели и впрямь усовестился?»

— Благодарение всевышнему... жив-здоров.

— Вас покормили, мавляна, как надлежит? Может быть, пригубите немножко вина?

Али Кушчи не сразу ответил. После горячей бани и сытного обеда тело расслабилось, ноющие ноги едва держали его. А глаза слипались так, что, разреши шах-заде, упал бы сейчас на пол, на ковер, и тут же заснул бы.

Из ажурно расписанного кувшинчика Абдул-Латиф налил кубок доверху.

— Отпейте, мавляна. Вино взбодрит вас.

«Ну что ж, почему и не отведать?»

Рука плохо слушалась мавляну. Тем не менее кубок он удержал и, мало того, осушил, все вино

выпил, до капли. Абдул-Латиф принял кубок из его руки, обошел залу и поставил в одну из стальных ниш.

Помолчали. Шах-заде ждал, когда окажет действие вино, выпитое Али Кушчи. Глаза мавляны вскоре и впрямь заблестели, щеки оживились румянцем. Он уже свободнее осматривал залу. Абдул-Латиф придвинул ученому одно из мягких кресел, сказал вкрадчиво:

— Садитесь, садитесь, мавляна.

Внутренне усмехаясь, Али Кушчи сел: вино прояснило сознание, а не затуманило его. Даже боль в ногах приутихла.

Мирза Абдул-Латиф продолжал стоять перед мавляной и все смотрел ему в лицо.

— Почтеннейший мавляна! Вы, может быть, недоумеваете, зачем я пригласил вас к себе. Что за странная любезность, не правда ли, если вспомнить, что произошло между нами раньше.

Но выслушайте, прошу вас, выслушайте. Когда я... когда мне пришлось отправить вас в заточение... я не думал, что мои слуги так... перестараются в исполнении моей воли... Примите мои извинения, мавляна!

«Не думал?.. Ну да, не думал. И, направляя к отцу своему убийцу, тоже не думал, что тот отрубит ему голову...»

— Поверьте, видя ваше теперешнее состояние, я испытываю глубокое сожаление. Смотритель зиндана мною наказан, он сам ныне в зиндане! Исполнители воли властителя должны быть чисты перед ним, не превышать того, что они обязаны делать... Но безгрешен один всевышний, не правда ли, мавляна? Может быть, не только зиндан-беги, но и я по неведению своему свершил грех, обидев вас... Надеюсь, вы простите меня!

«Лицемерит или впрямь какая-то беда пала на голову этого человека? И немалая, видно, если властитель просит прощения у беззащитного узника!»

Али Кушчи заметил, как переменялось выражение глаз шах-заде — с пытливого на жалостно-кроткое. «Властители не просят прощения у таких подданных, как я!» — хотел сказать он в ответ, но под просительным взглядом Абдул-Латифа сказал другое:

— Я хотел бы узнать о цели столь любезного приглашения.

Шах-заде смешался, побледнел сильнее прежнего и несколько резче, чем ему хотелось, произнес:

— Мне нужен гороскоп. Я должен знать свою судьбу... и судьбу государства, мавляна!

Абдул-Латиф поймал недоуменный взгляд Али Кушчи и, боясь, что его перебьют, заговорил скороговоркой:

— Если я непоследователен, то... простите меня и за это, мавляна. Не буду скрывать от вас — ход событий таков, что не могу я не думать, что меня ожидает... Не могу! Вам-то известно, как тесно связана судьба государства с судьбою венценосца... А вам ведомы тайны будущего, тайны звезд, мавляна.

Али Кушчи устало закрыл глаза.

«Что мне сказать тебе, тебе, отнявшему и трон и жизнь у родителя своего, у великого мудреца?..

Изменчива жизнь властителей и властолюбцев... Спрашиваешь о судьбе своей, но разве не ждешь ты ответа, заранее благоприятного для себя? Разве истину хочешь ты знать?.. Бедный, гонимый человек, вроде меня, уподобляется путнику в сказке: пойдет направо — встретится со львом, налево — попадет в пасть дракона... А судьба твоя ясна и без гороскопа: кто поднял меч на отца, проклят во

веки веков, и нет для него спасения!»

Вслух Али Кушчи сказал:

— Да простит меня шах-заде, я уже давно оставил астрологию...

— Полноте, — шах-заде нервно засмеялся. — Ваша слава прорицателя широко известна.

— Забыл я, все забыл...

— вспомните, мавляна!..

— Но тяжкий недуг одолел меня, отнял силы. В таком состоянии я ничего не смогу — ни вспомнить, — ни истолковать.

Не дослушав мавляны, Абдул-Латиф загремел колотушкой.

— Мы вас вылечим, мавляна. Лучшие табибы будут пользоваться вас. Вам разрешено будет поселиться, хотите — здесь, хотите — в обсерватории, где хотите. К вашим услугам будут лучшие бакаулы, самые расторопные слуги. Мы быстро восстановим ваши силы... — И вошедшему сарайбону: — Отведите мавляне самую уютную, тихую, самую светлую комнату в Кок-сарае. И пусть сегодня же мои личные лекари осмотрят его. И повара пусть готовят по желанию мавляны. Уже выходя из залы, Али Кушчи вспомнил предостережение матери: подальше, подальше от владык, верблюжонок мой, и от гнева их, и от милости. Вспомнил и мысленно улыбнулся. Что ж, он испытал гнев этого властелина, испытает, видно, и милость его.

22

Эмир Джандар в нетерпении расхаживал вокруг небольшого шатра, неприметно поставленного в тени деревьев на берегу сая. Услышав топот копыт, обернулся.

То был Шакал. Из-за редких горных елей, что покрывали пологий склон, показался буланый иноходец, на котором без седла восседал есаул. В руках он держал поводья породистого эмирского карабаира — конь Султана Джандара не очень охотно шел в поводу вслед за буланным. Но трудность эта, видно, не тревожила Шакала, он широко улыбался. «Ишь, доволен чем-то, шайтан косоглазый», — вскипел заждавшийся Султан Джандар, устремляясь навстречу есаулу и поигрывая тяжелой плеткой с серебряной рукоятью.

— Где ты там слоняешься?!

Шакал как бы и не обратил внимания на грубость эмира. Прищурившись, заулыбался еще шире, растянув рот и впрямь до ушей.

— Ваш слуга видел диво дивное, мой эмир!

— Брось ты свои выдумки, не до них! Снаряжай побыстрее коней! Опоздаем на совет!

Злость его была оправданной: Шакал отправился за конями раньше полудня, а сейчас уже вечерело.

А дело было такое... Через этот сай[77] прошел табун, и лихой конь эмира, что был стреножен поблизости, порвав путы, умчался за табуном. Шакалу пришлось, не успев заседлать своего буланого, кинуться в погоню. Он догнал табун довольно далеко отсюда, у горной речки, неподалеку от кишлака Куйган-тепе. Лихой карабаир эмира, откормленный и злой, заставил Шакала попотеть, прежде чем дал себя словить. Пришлось загнать коня во двор одного садовника, чей дом был расположен внизу, у самого подножия холма. Подняв шум и пыль, ломая плетеную изгородь, Шакал наконец поймал буйное животное, а потом, когда давал лошади остынуть, крепко вцепившись в поводья, натянутые на руку, он и увидел то самое «диво дивное», которым хотел заинтересовать и задобрить Султана Джандара. Диво это — молодая женщина, богато одетая и до необычайности

красивая. Шакал видел ее всего миг — она показалась на балахане и тотчас скрылась в испуге, заметив, что ее увидели. Шакал вывел коня со двора, и уже у ворот молнией вдруг ударила догадка: это же... это же дочь мавляны Мухиддина, провалиться ему на месте!

Такая красавица в тонком шелковом платье, в расшитом золотой нитью покрывале на лице — откуда она здесь, в горном бедном кишлаке, в полуразвалившемся доме садовника? Нет, не иначе это и есть Хуршида-бану, хотя Шакал ни разу до того не встречал красавицу.

В самом деле, почему бы ей не быть Хуршидой? Известно, что сбежала она из родительского дома вместе со старой служанкой — нянькой своей, а нянька была из Чор-су, то есть; той части Самарканда, где проживало много пришельцев как раз из этих горных мест. И вот, помогая и себе, и госпоже своей, служанка могла забраться сюда, в далекие от чужих глаз края. Почему так не могло быть? Очень даже могло!

Этим-то своим мыслям, этой своей догадке и улыбался Шакал, когда вел к хозяину иноходца Султана Джандара.

Грубость эмира, не пожелавшего узнать о «диве дивном», огорчила было Шакала, но, подумав, он решил, что, может, это и к лучшему. Продать тайну сразу — значит, чаще всего, продать ее дешевле, чем нужно. Стоит подождать!

Через некоторое время эмир Джандар вышел из шатра, готовый скакать на «совет», как он сказал, а точнее, на сборище заговорщиков. Вырядился, как в Кок-сарай на прием: парчовый халат, серебристый широкий пояс, дорогая сабля! Покажешься бедным — можешь прогадать в сравнении с другими сановниками — заговорщиками.

Все еще насупленный, эмир подошел к коню и с помощью Шакала вознес грузное свое тело в седло. День был на исходе, но громадное зарево на белизне горных вершин еще не погасло, отсветы его большими плоскостями желтого и розового цветов окрашивали прозрачно-зеленые подножия гор, склоны более пологих, чем горы, холмов, что поросли арчой, свежей после недавнего дождика, водную рябь сая, полного и шумного в это время года. В лучезарной прозрачности лежали лощины меж холмов, и казалось, что каждая травинка соткана из золотых нитей, и весь покров травы расстился зелено-желтым шелком, золотисто блестел, подвластный ветру. В синеве неба, где-то там, куда глазу человеческому не проникнуть, пели жаворонки; от скал и холмов доносились горловые клики горных фазанов. Эти птицы попадались и в низине: выскакивали чуть ли не из-под копыт, шумно взлетали, но собственная тучность не давала им возможности лететь долго и они снова падали в траву.

Эмир всякий раз вздрагивал он неожиданного шума, производимого фазанами при взлете, чертыхался яростно, а потом снова погружался в свои мысли, все думал и думал о том, что случилось с ним в последнее время, и о том, чему следовало бы, по его мнению, случиться. Побег Абу Саида был звонком, предупреждающим, что пора пришла.

Настало время подумать о себе, спасти себя, и вот уже больше двух недель Султан Джандар околачивается здесь, в глухих, забытых аллахом местах. Он, а с ним Шакал. Шейх Низамиддин Хомуш, а вслед за шейхом и шах-заде что-то недоверчиво стали посматривать на верного есаула. Береженого, известно, и всевышний сбережет. И Шакал подался сюда же. Зелень тогда лишь принималась расти, а нынче травы до колена, горный урюк уже с горох... Плохо вот только, что в горах этих диких они и живут, словно дикие животные: боясь, чтобы его не выследили, эмир что ни

день меняет стоянку, кочует из долины в долину, прячется по пещерам или в иных укромных местах. На дне ущелий, оврагов разбивает свой старый неприметный шатер. А Шакал должен охотиться: днем на фазанов да кекликов, по вечерам на более крупную дичь. Бывали удачливые вечера, когда из того или другого кишлака приносил он барана, козла, но промысел этот становился все более опасным не потому, что уменьшилось число «нерасторопных хозяев», а потому, что взимателей податей в кишлаках увеличилось. Дехкане их, понятно, не любили, наиболее ретивым оказывали сопротивление, и тогда сборщики податей подкреплялись воинской охраной, доблестными нукерами властителя, в чьи руки Шакал никоим образом попасть не желал...

Эмир Джандар тоже не просто отсиживался в этих глухих предгорьях. Раз в три-четыре дня он исчезал куда-то темной порой. Потом стал брать и Шакала, только близко не подпускал, чтобы не узнал, с кем именно эмир встречается. На таких «советах» Шакалу доверяли стеречь коней. Любопытство Шакала пылало, но, кроме того, что собеседники эмира тоже беглецы эмиры, недовольные шах-заде, Шакал пока об этих «советах» ничего определенного сказать не мог. Не раз думал он о том, что эти пять-шесть человек вряд ли сумеют причинить ущерб властителю с его многочисленным войском, и, коли по правде, не раз прикидывал, не вернуться ли ему, верному слуге, в Кок-сарай.

Сейчас он тоже размышлял об этом предмете, поглядывая на мощную спину ехавшего впереди эмира. «Ишь, ослиный упрямец, грубиян! Сидит, юрта в седле!.. Можно и безголовой эту юрту сделать, — подумал Шакал, и от такой мысли мурашки пробежали по телу. — А что? Вернуться в Кок-сарай, пасть к ногам шах-заде, все рассказать. Ну а ты, почему ты убежал с эмиром Джандаром? Как почему? Искал красавицу, дал себе обет не возвращаться, пока не найду. И нашел!» Тут мысли спутались. Пожалуй, за это сообщение шах-заде его и простит. Простит, но и только? Красавицу себе возьмет, а ему, верному есаулу, что?.. Не больше ли ему, бедному, от эмира перепадет?

Шакал хлестнул коня, догнал эмира. Султан Джандар угрюмо взглянул на него. Повернули вверх, к холмам. За одним из них вился ручей, что вел к кишлаку Куйган-тепе.

— Там, на другой стороне сая, кишлак Куйган-тепе, — предупредил Шакал. — Многолюдный кишлак...

— Знаю! Молчи! — Султан Джандар придержал коня у одинокой арчи. — Кишлак на той стороне, а на этой... Взберись-ка на холм, на самую макушку, огляди нашу сторону. Увидишь усадьбу. Если там будут гореть два костра, быстренько дашь мне знать. Понял, что ли, шайтан косоглазый?

— Понял, господин...

Вечернее багряное зарево угасло, и долина погрузилась во тьму. Сверху уже нельзя было разобрать ни ленты сая, ни кургана, подле которого, как объяснил эмир, была нужная усадьба. На дальнем от холма берегу в кишлаке зажглись первые огоньки. Шакал, держа лошадь в поводу, хотел было спускаться с вершины холма, как вдруг где-то впереди, в густой тьме, вспыхнул костер, да такой, что, несмотря на расстояние, смутно замаячили в его свете чьи-то тени рядом с огнем. Потом зажегся второй костер, осветил ворота и всадников возле них. Шакал хотел сказать об этом, но нетерпеливый эмир сам поднялся на холм, взгляделся в костры, коротко, будто рассерженно, бросил:

— Прибыли эмиры... За мной!

Поведение Султана Джандара, его открытое признание того, что раньше скрывалось — «прибыли

эмиры», — смутило Шакала. Видно, кончалось их двухнедельное осторожничанье. Но раздумывать, как поступить, было уже некогда. Шакал тоже пришпорил коня и быстро достиг ворот усадьбы. Здесь их встретили всадники, группа незнакомых есаулу воинов. Они помогли эмиру Джандару слезть с седла. Спрыгнувшему с коня Шакалу эмир сказал строго, но тихо:

— Не отходи от ворот. Следи, кто будет приходить... Чтоб точно знать, кто приходил, кто уходил! И, хлопая плетью по голенищу сапога, двинулся во двор, растворился в темноте.

Шакал привязал коней к высоким кустам тала, заросли которого спускались до воды... Ага, вот еще какие-то всадники. Шакал затесался в группу нукеров, помогавших всадникам спешиться, взял за повод коня одного из прибывших и чуть не вскрикнул от удивления: всадником с клиновидной бородою и в большой чалме был не кто иной, как редко появлявшийся в Кок-сараяе шейх-уль-ислам Бурханиддин!.. Вот оно что! Ва! Да тут и самаркандский градоначальник Мираншах! Тут и... Сердце Шакала учащенно забилося: Мираншаха встретил у входа в усадьбу стройный воин в особенно ладно сидящих доспехах. Любимый нукер Мирзы Улугбека Бобо Хусейн Бахадыр! Он исчез сразу же, как пал Мирза Улугбек. Его очень старательно искали люди Мирзы Абдул-Латифа, в том числе и... эмир Султан Джандар, искали, не находили, впадали оттого в неистовство и отчаяние! А теперь вот... Что тут будут делать все эти люди, сильные мира сего? Какие сделки затевают? Вот так «совет»!..

Шакал прошел в глубь двора, расстелил в углу на траве чекмень, прилег на него.

Должно быть, все, кому надлежало прийти на «совет», пришли, потому что воины в воротах погасили факелы. Были погашены и костры во дворе, только в углу чуть светились угли, на которых жарили шашлык. От шашлыка, призванного утолить голод эмиров и беков, шел, распространяясь по всему двору, приятный запах, и Шакал проглотил слюну.

Он лежал на спине, Шакал-есаул, глядел на звезды небесные и думал, думал.

Нет, сейчас он думал не о выгодной продаже своего секрета. Светлые звезды, казалось ему, подмигивают, будто дразнят человека. Будто сами они живые существа, которые знают людские секреты. Мирзу Улугбека называли властелином звезд, он был великим ученым, познавшим тайны звезд, а кто знает чьи-нибудь тайны, тот... Улемы льстили в глаза Улугбеку, а за глаза проклинали. Они ненавидели его и боялись... И впрямь: из тех, кто враждовал с мудрецом Улугбеком, ни один не остался без кары. Так или иначе, но отмщение их настигло. Саид Аббас, убийца султана, как его покарал аллах! А разные эмиры и беки, что наплевали в ту самую солонку, из которой отведывали соли Мирзы Улугбека? Многие из них получили по заслугам. Теперь, похоже, мщение настигает и шах-заде.

Шакал даже съежился от страха, но не из-за таких крамольных мыслей, а потому, что вспомнил недавнее свое желание прийти с повинной в Кок-сарай. Нет, отцеубийца не та опора, на которую стоит рассчитывать. Если уж на «совет» собрались и Мираншах, и шейх-уль-ислам Бурханиддин, и Бобо Хусейн... и этот, ослиного норова, эмир Султан Джандар... Нет, видно, дни благоденствия для шах-заде сочтены.

И странная печаль овладела при этом соображении сердцем Шакала... Будто мрак охватил долину. И долиной оказалась его душа. Да не долиной, а ущельем, расселиной в скалах, меж двух гор, меж двух огромных костров. Как выйти на волю из этой расселины?

Не помнил Шакал своих родителей. Единственное, что помнил с детских лет — самаркандский базар. Громадный! Прославленный от запада до востока! Там он был водоносом. Там он подметал в

торговых рядах, в караван-сараях. Там был истопником в бане. Не было такого низкого ремесла, которым он не занимался бы. Не было переулка с дурной славой, где бы он какое-то время не обитал. Воровал. И грабил. И даже убивал по найму, не зная, кого, не зная, за что. Пожелав исправиться, замолить свои грехи, стал дервишем, но и в дервишеском уединении не нашел спокойствия для себя. Несмысленным юнцом попал в руки к одному знаменитому вору. Усталым взрослым человеком — в руки шейха Низамиддина Хомуша. Стал соглядатаем, доносчиком презренным!.. А теперь вот всецело зависит от этого свирепого, упрямого, словно осел, эмира... Уже за сорок перевалило, а что видел в жизни хорошего, светлого? Явился в сей грешный, в сей грязный и лживый мир, а зачем? Шакал неожиданно почувствовал на губах соленый привкус. Он плачет? А почему бы и не поплакать? Почему бы и ему не перестать жить греховной жизнью, не выбраться куда-нибудь из этого города, залитого кровью тысяч невинных?..

— Эй, есаул, спишь, что ли? Снаряжай коней! Гости расходятся.

Шакал поспешно вскочил на ноги. Он не спал, он мечтал, и, судя по небу, мечтал довольно долго: полная луна, подобно огромному золотому блюду, уже сияла над цепью гор. В нежном сиянии этом мир вокруг преобразился. Будто омылась молоком лощина, уходящая вдаль между холмами, темные сады по ту сторону сая, журчащий откуда-то сверху ручеек, кони, пасшиеся вокруг усадьбы, горы вдали, горы... Минуту стоял в изумлении перед открывшейся вдруг красотой ночи есаул, словно стряхнул с себя дивный сон, когда кажется, что попал ты в иной мир, минуту стоял, а потом вышел к коням, очарованно-медленно стал подтягивать их подпруги, и лишь громкий шум у ворот заставил руки его двигаться побыстрее.

Он подвел коней к воротам, посторонился, потому что со двора, на белом, лебедино-белом скакуне выплыл из темноты Бобо Хусейн Бахадыр; за ним тронулся градоначальник Мираншах и сиятельный шейх-уль-ислам Бурханиддин. Воины стояли в стороне, почтительно сложив на груди руки, а сильные мира сего степенно прощались с эмиром Джандаром, который вышел вслед за ними. Заметив в темноте Шакала, эмир зло буркнул:

— Ну что, опять заставляешь себя ждать? — и всунул ногу в стремя. Один из нукеров кинулся помочь, но эмир, оттолкнув его, хекнул и рывком вскинулся в седло.

...Султан Джандар горячил коня до самого подъема на холм. Поднявшись, остановился, долго смотрел вниз, туда, где темнели в лунном свете очертания кургана и где ловко спряталась от глаз усадьба.

— Ну, узнал ты тех, кто приезжал?

— В темноте разве разберешь, господин мой? — как всегда, состорожничал Шакал.

— Притворяешься, шайтан косоглазый, — сказал Султан Джандар, но уже без прежнего раздражения.

— Клянусь аллахом...

— Да ладно! — Эмир улыбнулся довольно. — Пожаловали туда, где мы были недавно, досточтимый Мираншах и сиятельный шейх-уль-ислам Бурханиддин! Понял теперь, почему я так торопился и тебя поторапливал?

— Понял, понял, мой эмир! — Шакал подъехал поближе и доверительно прошептал: — Что порешили на совете? Скоро ли избавимся от жизни обиженных скитальцев, господин мой?

— Наберись терпения, есаул! — почему-то развеселившись, громко произнес эмир Джандар. —

Потерпи, потерпи и не только скитальцем не останешься, а, глядишь, побываешь в гареме шах-заде, наобнимаешься там с красотками всласть!

«Дни шах-заде сочтены, сочтены».

Настал, видно, миг, когда стоило рассказать эмиру про ту красавицу, что была им замечена в доме садовника.

Стоит ли, однако? Ведь совсем недавно думалось о другом — о высоком, о чистом, но сожаление такого рода мелькнуло и скрылось у Шакала, и если он ничего не сказал о красавице, то из-за обычной своей осторожности.

«Не будем торопиться, не будем торопиться... Поспешешь — добрых мусульман насмешишь. Всему свое время», — так подумал он. А вслух, захихикав в ответ на шутку эмира, сказал:

— Не знаю, сдержит ли эмир свое обещание... это, значит, насчет пообниматься с красавицами из гарема, но... ваш слуга не останется в долгу, благодетель мой!

23

Шах-заде приехал в «Баги майдан» ненадолго. Всего лишь проветриться, осмотреть сад, так он думал. Но в Кок-сарай возвращаться вдруг не пожелал.

В полдень пронесся над садом ливень. Все заиграло после него, все помолодело, посвежело, расцвело, будто невеста после купанья. Омытые щедрой влагой кипарисы нежно переглядывались друг с другом через дорожки аллей. Сквозь арчу можно было видеть кипень цветов — белых, желтых, фиолетовых, красных, и в чашечке каждого блестками горели прозрачные капли, как вино в тонкостенных миниатюрных пиалах.

Сад звенел соловьиными трелями, точно под каждым листом, каждой веткой прятались соловьи, точно сговорились они своим восторженно ликующим пением перекрыть всех других птиц.

Здесь, в раю «Баги майдан», печали отпустили сердце шах-заде. Спокойно расхаживал он по дорожкам, заводившим в самые отдаленные уголки сада, вслушиваясь в мягкое поскрипывание красноватого песка под ногами. Кружил вокруг цветников, разбитых в виде месяца и звезд и ухоженных с особой любовью и тщанием.

Ходил и вспоминал свое детство. Торжество, устроенное однажды отцом в его, отрока, честь в этом райском саду. И состязания поэтов, и пиршества отцовские, знаменитые баги-майданские пиршества с участием сладкогласых певцов и лучших танцовщиц.

Слезы навернулись на ресницы Абдул-Латифа.

Вспомнилось, как однажды приехал он сюда на какой-то праздник из самого Герата с дедом Шахрухом, да удостоит его аллах рая! Точно такая же стояла погода, теплая, весенняя. Он ехал на лихом скакуне, и все тянуло его в головную часть каравана — огромного, тысяча всадников одних сопровождающих, — а там легкие кабульские арбы везли бабку, величавонадменную Гаухаршод-бегим, и ее двор — приближенных, служанок и невольниц. Прекрасные, юные, они волновали его сердце, а то, что их лица были скрыты под шелковыми покрывалами, еще больше разжигало воображение шах-заде. Абдул-Латиф гарцевал близ крытых арб, а то, в нетерпении нахлестывая аргмака, срывался вперед, обгонял караван. Дед Шахрух не любил быстрой езды, его лошадь тихой иноходью несла повелителя, давая ему возможность степенно беседовать с ехавшими рядом столпами веры. Однако же у молодых внуков удаль не возбранялась, а поощрялась — в виде лихой скачки, джигитовки, фехтования.

Вечерами большой караван останавливался в широкой степи у подножия холмов. В высокой траве ставились многоцветные шатры; ярко вспыхивали костры, и знаменитые гератские бакаулы показывали свое искусство в приготовлении шашлыка из молодого барашка и душистой шурпы, приправленной травами, приятными по аромату и полезными по лечебным свойствам. Тогда стоянка каравана напоминала юному шах-заде лагерь огромного войска, и мысли его уносились вдаль, манили в походы, завоевания. Абдул-Латиф вздрагивал от ржания коней, уведенных погнаться в степь, от призывно-нежного смеха невольниц в близких шатрах, от мелодичного перезвона их украшений; он лежал на спине, вглядывался в звезды, разбросанные по всему пространству степного неба, и жизнь казалась ему прекрасной, безмятежной, открытой для исполнения желаний. Душа жаждала побед на полях брани, славы и доблести, женского восхищения и власти, власти! И в седьмом, самом дурном сне не могло ему тогда присниться, что власть, престол принесут ему не славу и счастье, а страдания и горе.

О, как много бы отдал он теперь за то, чтобы вернуться к нему отважно-безмятежные настроения юности!..

Неспешно, словно не желая расставаться с воспоминаниями, столь далекими и столь приятными, зашагал Абдул-Латиф к дворцу «Сорок колонн» — «Чил устун». Подойдя поближе, он невольно залюбовался радужной игрой света на китайских изразцах, которыми были выложены стены дворца, лишь четыре тонких минарета по углам, неподвластные этой игре света, взмывали ввысь, четко лазурные на фоне неба.

Шах-заде прошел сквозь строй слуг и охраны, медленно пересчитывая ступени, поднялся на второй ярус дворца. В роскошно обставленной комнате его встретил темнолицый сарайбон с серьгой в мочке правого уха. Абдул-Латиф не обратил внимания на его низкий поклон. Вышел на айван, огороженный частоколом причудливых реек-балясин. Не заметил шах-заде и шелковых одеял, умело сложенных посередине террасы перед низким столиком, уставленным яствами. Шах-заде смотрел в сад. Отсюда, сверху, тот выглядел еще прекраснее со всеми своими цветниками и краснопесочными дорожками. Отсюда, сверху, четко просматривались сквозь тонкую розоватую дымку дальние цепи гор, а вот Самарканд из-за деревьев разглядеть было нельзя — только одно здание, вернее, купол его переливался в лучах заката. То был купол стоявшей на возвышении, как бы на одной плоскости с дворцом обсерватории Улугбека.

— Да простит меня повелитель... — услышал шах-заде несмелый голос, — но... пришло время возвращения в столицу... скоро запрут городские ворота.

Возвращение в столицу? А зачем ему возвращаться в Кок-сарай? Нет, нет, сегодня он заночует в этом райском саду. И может быть, здесь вовсе избавится от гнетущей тоски.

— Есть вино? — спросил шах-заде, не сводя глаз с далеких гор.

— Вино?.. О, есть, есть, повелитель!

Через минуту он вернулся. Абдул-Латиф все смотрел на горы.

— Прошу вас, пригубите, повелитель.

Терпкое золотистое вино шах-заде выпил залпом. Стоя все еще спиной к сарайбону, протянул цветастую китайскую чашу: повтори! После второй чаши сказал, повернувшись наконец лицом:

— Сегодня заночуем здесь. Повара тут?

— К вашим услугам, повелитель.

— Скажи, пусть приготовят шашлык из перепелок!

— Будет исполнено!

— Да не торопись. Вот еще что... — Шах-заде поставил чашу точно в центр хантахты. — Пошли-ка в Кок-сарай гонца с повелением моим госпоже гарема прислать нам сюда певиц и рабынь помоложе. Вместе вкусим блаженства. — Он игриво подмигнул дворецкому. — Выберешь себе, какая приглянется.

— Благодарю, повелитель!

Шах-заде сам налил в чашу вина из хрустального графина, выпил снова залпом, шепотью взял с блюда каких-то ягод, закусил. Потом прилег на одеяла, оперся на локоть, рукой подпер голову. Темнота наконец победила вечернюю зарю. Сквозь редкие облака были видны теперь первые, робкие еще звезды. Шах-заде прислушался к топоту ног внизу — то слуги кинулись выполнять приказания сарайбона. А вскоре теплая истома начала разливаться по телу, расслабляя мышцы. Шах-заде вытянул руку, положил голову на подушку, смежил ресницы.

Сон вначале был добрым, приятным. В Кок-сараяе, в помещении, примыкающем к гарему, шел пир на весь мир. Все эмиры и беки, все сановники и охранники были тут и славили его, Абдул-Латифа. Слуги мелькали среди гостей с блюдами на вытянутых руках — яства, вина, фрукты. У дверей музыканты из самых известных пленяли слух мелодиями. Тонкая кисея отделяла помост для танцовщиц; они грациозно изгибались, мягко ступали в ритме танца, четко, в такт позванивали украшениями, и кисея ничуть не скрывала их прелестей, она не препятствовала их томных взглядам, зажигавшим у гостей сладострастные помыслы.

Внезапно веселье было прервано появлением эмира Джан-дара.

— А, он тут! — закричал шах-заде. — Хватайте этого подлого заговорщика! Он скрылся! Он бежал! Он роет нам яму!

Несколько эмиров, что сидели неподалеку от входа, выхватили сабли из ножен, подскочили к Султану Джандару. Но тот отстранил их и приблизился к шах-заде.

— Защитник престола! Ваш слуга не помышляет о заговорах...

— Где же ты пропадал тогда?

— Ваш слуга скитался по горам. Он охотился за газелью для своего благодетеля... И сегодня я принес ее голову вам! Вкусите, и вы избавитесь от всех своих недугов, почувствуете себя как в раю! И с этими словами оборотился к дверям, кивнул. Двери распахнулись, вошел какой-то незнакомый воин, неся на вытянутых руках большое золотое блюдо, сверху накрытое белой скатертью.

Эмир Джандар взял это блюдо из рук воина, протянул шах-заде.

— Вкусите, и вы избавитесь от всех своих недугов!

Шах-заде приподнял скатерть и... закричал в ужасе: собственная его голова, окровавленная, с ощерившейся, навеки замершей улыбкой, смотрела на него... Шах-заде выбил блюдо из рук эмира, и голова покатила по полу, оставляя за собою кровавый след.

Истошным воплем прервался сон Абдул-Латифа.

Из соседней комнаты, где музыканты настраивали чанги[78] и сетары, прибежали на крик сарайбон и слуга.

Они увидели шах-заде, обнявшего левой рукой колонну айвана, а правой сжимавшего рукоять обнаженной сабли. Шах-заде раскачивался, как пьяный, грозя вывалиться через перила. Глаза его

дико блуждали. Сарайбон и слуга так и застыли у входа на айван.

— Что... что случилось, повелитель?

Голос дворецкого словно отрезвил шах-заде. «Сон... Это был сон», — наконец понял он и сразу как-то обмяк, оторвался от колонны и, сделав шаг навстречу слугам, закрыл глаза. И тотчас зловещее видение вновь предстало взору — ощерившаяся голова на золотом блюде опять уставилась на него, — и шах-заде в ярости почти полного безумия замахал саблей, наступая на прибежавших. Сарайбон и прислужник, пятась, отступили внутрь комнаты. Шах-заде вошел туда следом, все еще бессмысленно размахивая саблей. Музыканты и певицы, что стояли у противоположных дверей, кинулись наутек, вниз, на первый этаж; девушки-рабыни замерли в ужасе, и лишь одна, совсем молоденькая, жавшаяся к своим товаркам, закричала в голос, кинулась было бежать, запуталась в шелковой занавеси и закричала еще громче.

Этот крик привел шах-заде в себя.

Он сделал шаг назад к выходу на айван. Опустил саблю.

— Вон, вон отсюда! — гаркнул он. — Все убирайтесь! Вон из дворца!

Полуобнаженные невольницы испуганными ланями выскочили из комнаты, их туфельки стремительно простучали по мраморной лестнице.

Шах-заде отвел глаза. «И там голые, и здесь голые. Сон ли это был? Кончился он или нет?.. Прости, прости своего бедного, несчастного раба, всевышний!»

Он остался один. Вложил саблю в ножны. Оглядел еще раз опустевшую комнату.

«Благодарение создателю, то был сон! Сон!.. Эта окровавленная голова... как она покатила по полу!.. О, аллах, какие же еще беды уготовила мне судьба?.. Судьба?»

Это слово напомнило ему о гороскопе.

«А где этот Али Кушчи? Мы же уговорились продолжить наш разговор».

Шах-заде хлопнул в ладоши. В дверях возникла фигура сарайбона.

— Гонца в Кок-сарай!.. Немедленно... Пусть доставят сюда мавляну Али Кушчи!

Сарайбон осмелился войти в комнату.

— Повелитель, но сейчас уже за полночь, ворота в городе наверняка заперты.

Шах-заде нетерпеливо завертел головой.

— Какое мне дело?! Дай гонцу мою грамоту, скрепи ее печатью... Или мчись сам! Хоть из-под земли достань! Мавляна должен быть тут. Все! Выполняй!

Больше всего Абдул-Латифу хотелось сейчас лечь на курпачу, закрыться одеялом по макушку, постараться забыться сном. Но сна он и боялся, знал, что лишь закроет глаза, и опять будет щериться отрубленная его голова.

Шах-заде осушил еще одну — уж какую за ночь? — чашу с вином. Все думал опьянеть. Но на сей раз мусаллас не помогал.

Медленно тянулось время.

Абдул-Латиф непроизвольно ловил каждый шорох, каждый легкий звук внизу и на лестнице, ведущей сюда. Вот-вот, казалось ему, войдет Султан Джандар с блюдом-подносом, накрытым скатертью!

Блуждая взглядом по стенам комнаты, он увидел книги, стоявшие в небольшой нише как раз над дверью, что выводила на айван[79]. К ним, видно, давно никто не притрагивался: куполовидная ниша

запылилась, цвет зеленых, красных, желтых переплетов померк.

Шах-заде взял толстую книгу в зеленоватом переплете. Золотое тиснение извещало, что у него в руках книга великого Низами Гянджеви.

В молодости, обучаясь в медресе, Абдул-Латиф любил читать звучные, как музыка, стихи Низами, его мудрые дастаны[80] и рассуждения. Мудрость приносит успокоение душе, подумалось и теперь, и не без поспешности раскрыл он книгу наугад, жаждая прочесть что-то такое, что сняло бы тяжесть с сердца. Пробежал первые строки, попавшие на глаза, и... покачнулся. Будто тяжелой булавой ударили по шлему: все загудело вокруг, закружилось, померкло. Том выпал из рук. Желая удержать его, Абдул-Латиф непроизвольно вырвал несколько страниц, и они рассыпались по ковру, а сама книга покатилась... Опять покатилась! И из зеленой стала вдруг красной, окровавленной... Он с силой сомкнул веки, боясь разомкнуть их, увидеть голову на полу... Но что там голова!

Таинственные строки, прочитанные им, золотые буквы не исчезали из памяти, все стояли, извиваясь, перед глазами.

Чем кончались два бейта[81], открытые им наугад и потому обозначающие его судьбу, этого он не помнил. Зато начало... начало... оно было пострашнее окровавленного видения... «Отцеубийца не протянет и полугодом на престоле...» Эти слова каленым железом жгли мозг шах-заде.

«Отцеубийца не протянет и полугодом на престоле...»

«А я... сколько я сижу?» Он сглотнул слюну и стал судорожно подсчитывать. «Тогда был... шагбан. Сейчас? Сейчас раббиулаввал[82]... Значит, прошло... шесть месяцев!»

Шах-заде пал на колени там же, где стоял. Горестно застонал:

— Значит, я грешен, и ты, создатель, караешь меня? Грешен... что казнил крамольников, свернувших с пути твоего, сеявших смуту в души правоверных рабов твоих?.. Что сжег еретические книги, созданные вероотступниками?.. Вразуми, вразуми раба твоего — в чем мой грех?!

Он плакал, целовал пол, молил о ниспослании милосердия. И были слезы его жалки, а слова невразумительны.

24

Когда Али Кушчи был разбужен среди глухой ночи, он сразу догадался о причине: «Это шах-заде... будет снова настаивать, чтобы я предсказал ему судьбу».

Мавляна очень не хотел этой встречи. Он знал об отсутствии за собой дара предвиденья, необходимого для астролога. Дожив до седых волос, Али Кушчи так и не уверился в том, что такой дар возможен, хотя и не отрицал его в других людях. Во всяком случае, он не желал обманывать, делать вид, будто обладает таким даром. Но ведь нескладно получалось — шах-заде две недели кормил, поил его, содержал на всем готовом, в хорошо протапливаемых светлых комнатах и, понятно, ожидал хотя бы из-за таких хлопот благоприятного предсказания, а он, Али Кушчи, никоим образом этих надежд не оправдывает. Нескладно, право слово, нескладно!

Али Кушчи удивился, когда нукеры вывели его из Кок-сарая и помогли взобраться на арабского скакуна. Путь их сначала был к площади Регистан.

Теплый день сменился ветреной студеной ночью. Тучи закрыли небо, и пустынные улицы встретили всадников холодом и клубами пыли.

«Куда это они везут меня? — удивленно подумал Али Кушчи. — В такую ночь только и свершать убийства! — Но одернул себя: — Полно, мавляна, не дрожи от страха... Хуже того, что с тобой уже

было, не будет!»

Воины, ехавшие впереди, повели его за городские ворота, свернули налево, миновали какие-то овраги и арыки, сады и поля, и вот она наконец, прямая широкая дорога. Али Кушчи узнал ее. Еще бы! Это была дорога к обсерватории... «Неужели они едут в обсерваторию? Зачем? Что-то они замышляют... Что? Как мне подготовиться?»

Но нет, трое всадников — воин спереди, воин сзади, и он, Али Кушчи, в середине — свернули снова влево, не доезжая до обсерватории. Теперь дорога вела только к «Баги майдан». Сюда они и прибыли. У ворот Али Кушчи был встречен темнолицым сарайбоном, который не проронил ни слова, а сразу же повел его во дворец. Молчание сарайбона не сулило ничего доброго, и вообще этот огромный сад, что шумел, как лес, объятый тьмой, показался Али Кушчи почти зловещим.

Внизу «Чил устун» был погружен в темноту, а из окна второго яруса падал сноп яркого света, который выглядел тоже каким-то холодно-неживым, может быть, потому, что весь дворец хранил глубокое молчание.

Сарайбон поднялся по мраморным ступеням вверх. Али Кушчи следом. У каких-то дверей, сначала чуть-чуть приоткрыв их, сарайбон пропустил ученого вперед.

Комната была ярко освещена; в глаза бросились пестрая куча одеял и хантахта с яствами, и лишь во вторую очередь Али Кушчи заметил в углу склоненного в молитве человека, припавшего лбом к полу, да так и замершего.

Шах-заде!

У порога валялась книга в зеленом переплете и белели на красном ковре странички, видно, вырванные из нее.

Али Кушчи не без удивления взглянул на сарайбона. Тот пожал плечами и, непроизвольно пригнувшись, словно передразнивая позу шах-заде, прошел чуть вперед. Тихо произнес:

— Повелитель, мавляна Али Кушчи здесь...

— А? Что? — быстро обернулся к ним шах-заде. На бескровных запавших щеках его, неприбранно торчащих усах, всклокоченной бороде блестели слезинки. — А-а, да, да... мавляна Али Кушчи!..

Добро пожаловать, мавляна, добро пожаловать...

Шах-заде торопливо поднялся с пола, качнулся, сделал два-три шага навстречу, задев ножнами сабли столик.

— Рад, рад вас видеть, мавляна, весьма рад...

Он почти заикался, и движения рук его были беспорядочны, как у безумного человека.

«Если и безумец передо мной, — подумал Али Кушчи, — то не такой, как раньше, не буйный, а скорее надломленный... Что происходит с этим несчастным?»

Дрожащей рукой шах-заде указал на книгу, зеленевшую на ярком ковре, брезгливо и со страхом, словно это была не книга, а скорпион, приказал сарайбону:

— Возьми... Брось в огонь!

Сарайбон вложил в книгу вырванные страницы и молча покинул комнату. Шах-заде вскинул на Али Кушчи глаза, все еще полные слез:

— Достопочтенный мавляна! Я просил вас составить мой гороскоп. Вы осуществили мое пожелание?.. Что говорят звезды?

Обращение было любезным, на лице Абдул-Латифа задержалась, будто приклеенная, улыбка.

Жалкое подобие улыбки.

Али Кушчи отвел взгляд. Почувствовав жалость к этому опустошенному человеку, тихо, почти робко сказал:

— Простите меня, шах-заде... Но ведь я признался вам однажды, что не сведущ в астрологии.

— Нет, нет! — Шах-заде испуганно взмахнул обеими руками. — Не может быть, чтобы вы, столь известный ученый муж, были не сведущи в звездах...

В голосе его звучала мольба. Али Кушчи помедлил с ответом, подбирая такие слова, чтобы не ударить ими больную душу Абдул-Латифа:

— Прошу простить, шах-заде... Если пожелания ваши касались бы геометрии... расположения небесных светил, я, возможно, оказался бы полезным для вас... А вот...

— Вы постигли тайны звезд! Значит... должны быть сведущи в их воздействии на нашу судьбу.

Тайны звезд — это и тайны астрологии.

— Прошу простить меня, это не так...

— Нет, так. Так!.. Вы знаете, знаете, что мне суждено, что суждено государству моему. Все знаете, мавляна. Только не желаете сказать мне об этом!

Шах-заде отступил на шаг. Правая рука легла на рукоять сабли. В глазах мелькнуло уже знакомое выражение лишаящей разума беспощадности. Вот-вот взорвется, закричит, позовет воинов.

Прикажет: «Кончайте с этим вероотступником!»

«Что же делать? Сказать, что смотрел на расположение звезд, составил гороскоп, благоприятный его будущему? Но это ведь ложь! И дважды ложь, потому что сделаю вид, что разбираюсь в том, в чем не разбираюсь!.. Нет, недостойно ученому заниматься обманом. И потом... судьба отцеубийцы написана была на его челе давно, в тот миг, когда поднял он меч на родителя своего!»

Али Кушчи безмолвно стоял перед шах-заде. Ожидал взрыва. Был готов ко всему.

Но взрыва не последовало. Шах-заде закрыл лицо ладонями, вновь плачуще заговорил:

— Сжальтесь надо мной, мавляна. Почему вы такой непреклонный?.. Знаю, вы верите сплетням, наветам недругов моих... Что ж делать, если на долю моего отца, вашего устода, выпало то, что случилось? Я покарал тех, кто поднял руку на его особу!.. Что я мог еще предпринять? В чем вина моя, мавляна? В сожжении крамольных книг? Может быть, я ошибся, но это было сделано во имя веры и справедливости-и-и! — И шах-заде совсем зашелся в плаче.

Он по-прежнему был униженно-просящим, но слова про «крамольные книги» погасили луч тепла, который почувствовал было к шах-заде Али Кушчи.

«Нет, не крамольные книги то были, а факелы истины и красоты, а без этих факелов и страна, и сам ты, невежда, погрузились во мрак!» Так хотелось крикнуть в лицо шах-заде. Но при взгляде на трясущиеся плечи и льющие слезы Абдул-Латифа Али Кушчи сдержал свой мятежный порыв.

— Мне приснился сегодня сон, — вдруг круто повернул разговор шах-заде. — Очень дурной сон, мавляна, очень дурной...

И опять Абдул-Латиф спрятал в ладони лицо, словно не желая еще раз увидеть то, что ему привиделось во сне.

Простонал тяжело. Замолчал.

Али Кушчи не знал, что делать. Сострадания к Абдул-Латифу не было в его сердце, но смотреть на рыдания и болезненные конвульсии мучающегося человека всегда тяжело.

— Прошу прощения, шах-заде, — сказал мавляна Али Кушчи как можно мягче. — Но я, ваш слуга, не удостоен дара принести вам облегчение, успокоить вашу душу. Лучше бы мне удалиться.

Разрешите, шах-заде?

Не ответив ему, шах-заде вдруг опять повалился у стены на пол, стал бить молитвенные поклоны, приговаривая что-то невнятное.

На цыпочках Али Кушчи вышел из комнаты. В конце крутых ступенек, уже внизу, услышал надрывный крик Абдул-Латифа:

— В чем мой грех, скажи, о создатель?!

Али Кушчи ускорил шаг.

Внизу сарайбон, ходивший с заложенными за спину руками, вопросительно посмотрел на Али Кушчи. Теперь тот пожал плечами, а сарайбон приложил палец к виску: дескать, с ума сошел властитель, не так ли?

Али Кушчи пошел каким-то коридором, мимо дверей, из-под которых пробивался робкий свет. Слышались бречание музыкальных инструментов, тихий женский смех. «Все продолжается... — подумал Али Кушчи, — музыка, любовная игра, простые заботы людей, которым никакого нет дела до страданий венценосцев. И это, наверное, справедливо».

Сарайбон толкнул одну из боковых дверей и скрылся за нею. Странно: ни с собой не позвал мавляну, ни передал с рук на руки нукерам, которые сопровождали ученого в «Бапд майдан» из Кок-сарая.

Али Кушчи очутился в саду.

Сад чуть посветлел, поредели на небе тучи, и ярко светились звезды, последние перед скорым утром. Громадный сад трепетал от наслаждения соловьиным пением, как будто доверху наполнявшим его. Вокруг дворца ни души. На веранде под куполом, что стояла в центре одного из цветников, мирно храпели нукеры, те, что доставили его сюда. Вновь пожав плечами, Али Кушчи пошел по аллее в глубину сада.

Он не переставал думать о шах-заде, видеть его жалкое в слезах лицо, слышать надрывные стенания и моления.

«Кто сказал, что в этом мире, в этом брэнном нашем мире нет справедливости? Кто бы ни сказал так, он или сознательно лжет, или добросовестно, но горько заблуждается. Есть справедливость, есть правда! Свершивший зло, будь то шах или нищий, не останется без возмездия. И, чтобы понять эту истину, человеку дан разум и дана совесть. Возмездие настигнет и того, кто не захочет понять эту истину, и дважды потерпит тот, кто чинит зло своекорыстно и потому отвергает эту истину!.. Вот что сейчас происходит с отцеубийцей шах-заде!»

За спиной Али Кушчи услышал грузноватый топот: нукер.

«Опять зовет шах-заде? Или боятся, что я от них сбегу?»

Али Кушчи повернул обратно, навстречу встревоженному воину.

Но нет, нукеры повели его не в «Чил устун», а к воротам.

Помогли влезть на коня. Видно, предстояло возвращение в Кок-сарай. Подумал он при этом не о временном своем светлом жилье в Кок-сараяе, а о зиндане. Туда, поди, и сунут снова!

Двое нукеров ехали обочь его, один справа, другой слева.

Али Кушчи, словно прощаясь, вглядывался в небо, полное звезд, не спеша всматривался в высокие тополя по обеим сторонам пути, в темную массу садов, в холмы, покрытые росной травой.

Прекрасен сей мир, прекрасен! Прекрасны плакучие ивы, что стоят на берегу арыка, красуются, точно юные, нежные невесты, скромно опустив голову; и прекрасны эти белые тополя, на чьих листьях поблескивают, словно драгоценности, капли влаги; и пение птиц прекрасно, и тихое, издали бляенье проснувшихся овец, и прекрасен горьковатый дымок, невесть откуда примешавшийся в эту пору не ушедшей еще ночи к благоухающему ветру степей, что доносит запахи молодой весенней травы.

И всего этого он будет лишен, опять лишен, когда его бросят в каменный мешок...

Вдруг тишина опрокинулась, разбилась вдребезги. Яростный топот копыт! Четыре всадника вымахнули из низины, из камышовых зарослей, стремительно подскакали к ним. Над головами готовые к бою сабли; лица скрыты черными кожаными масками. Нукеры не успели обнажить оружия, как на них набросили мешки, свалили с коней.

Один из нападавших схватил за поводья лошадь Али Кушчи.

«Откуда нагрянули эти разбойники?» — успел подумать мавляна, но коня его стегнули, гикнули, свистнули, и мгновение спустя Али Кушчи оказался в самой гуще камышовых зарослей. А схвативший его лошадь за узду великан сорвал с лица маску, обернулся...

— Каландар Карнаки!

— О наставник! — Каландар перегнулся через седло, широко раскрыл объятия. — Видно, чисты были наши помыслы, раз им суждено осуществиться и мы встретились!

Али Кушчи все глядел, будто не веря, на лицо Каландара, заросшее и суровое, на его глаза, в которых блеснули слезы. Потом перевел взгляд на двух других «разбойников», вышедших из камыша уже пешими, не на конях.

— Мирам, сын мой! Мансур Каши!

— Устод!

Еще два джигита в черных масках подошли к Каландару, о чем-то спросили.

— А, привяжите их к какому-нибудь кусту. Да так, чтоб не скоро их распутали. И побыстрее, Калканбек, побыстрее, Басканбек, времени у нас в обрез!

Торопливость Каландара была оправдана. В небе гасли звезды, поздняя ночь все заметнее переходила в раннее утро.

Они не успели отъехать и ста шагов, пробив себе дорогу через камыши, как услышали снова топот и ржание коней. Отряд шел из «Баги майдан». Каландар и его спутники спешили. Спрятались в зарослях.

Десяток всадников показался на большой дороге, их было хорошо видно в светлеющей полосе горизонта. Всадники миновали место, которое было для Каландара и его молодцев засадой, стали подниматься вверх по мощеной дороге.

Но что это? Неожиданно на той же дороге сверху выросла еще одна группа всадников и тут же, заметив первую, с диким криком понеслась ей навстречу. «Видно, не одна была наша засада», — подумал Каландар.

Те, кто ехал от «Баги майдан», остановились, замешкались, кое-кто уже повернул коней обратно. Это была ошибка. Второй отряд, с обнаженными саблями, смерчем налетел на первый, и некоторые воины его пали, не успев выхватить клинков из ножен.

— Поедемте, наставник, — сказал Каландар. — Здесь и нам оставаться опасно!

Али Кушчи всматривался в сечу. Он заметил шах-заде в первом отряде, заметил! «Я видел сон, мавляна, очень дурной сон», — вспомнилось Али Кушчи.

На дороге звенели сабли, ржали кони, яростно кричали люди...

Да, среди тех, кто подвергся нападению на дороге, был и Мирза Абдул-Латиф.

С десятью нукерами и сарайбонами выехал он из «Баги майдан», когда небосвод только-только начинал светлеть. Ни на минуту в течение всей ночи не заснул больше шах-заде, и потому, наверное, казалось ему, что вокруг стоял холодный туман и небо мрачно нависло над головой. Шах-заде ехал впереди и все время вздрагивал, то прищпоривая, то придерживая скакуна: какие-то тени чудились ему по сторонам от дороги, под ветвями тополей.

Часто озирался он на своих балхцев, на смуглых носатых воинов, каждый из которых был украшен большой серьгой. Встречаясь взглядом с властелином, воины натягивали поводья, замедляли бег своих коней. Они робели и пятились, а он хотел видеть другое — поддержку, готовность в их глазах, а не почтительную робость. Злясь на них, недогадливых, трусливых, шах-заде хотел остановиться, развернуться, потоптать их всех конем, но надо было торопиться в Кок-сарай, где он, так вдруг стало ему казаться, избавится от навязчивого ночного кошмара своего.

Показались холмы Афрасиаба, перегораживающие горизонт зубчатые крепостные стены. Там под древней стеной безводный ров. Вот проедут его и, можно сказать, будут уже в Самарканде.

Но как раз в тот момент, когда шах-заде первым приблизился ко рву, с правой стороны, до поры скрытые холмами, выскочили на пригорок, а потом и на дорогу всадники. Черным смерчем полетели они на отряд шах-заде, да и были все всадники черные — в одинаковых темных чекменях, лохматых темных шапках — тельпеках, а на некоторых черные маски.

Странное оцепенение сковало шах-заде. Поднял коня на дыбы, но не поскакал, однако, ни навстречу черному вихрю, ни назад. Он видел, как заворачивали своих лошадей его верные балхцы, но не последовал за ними, а стоял на месте, смотря, как приближается к нему смерть.

Вот черный вихрь с диким криком перемахнул через сухой ров, вот два всадника выделились из него, первыми, настегивая коней, вылетели на дорогу.

Один из них — он срывает с себя маску! — это Султан Джандар. А второй, кто так похож издали на воина во сне, на того самого, кто вошел в залу с золотым блюдом... о аллах, это Бобо Хусейн Бахадыр! Нашелся! Вот он, его упорный, злокозненный враг!

Шах-заде схватился за рукоять сабли, вновь поднял коня на дыбы. Он будет драться!

Но кем-то пущенная на скаку стрела впилась в его плечо, заставив согнуться от боли. Так и не вытянув сабли из ножен, хватая ртом воздух и нелепо размахивая руками, Абдул-Латиф стал сползать с седла.

«Все? Конец?... Неужели это конец?... Всему конец — трону, власти моей, славе... жизни?»

Шах-заде тяжело рухнул наземь у ног коня. Новый приступ боли впился ему в сердце, он перевернулся на спину...

Конь исчез из поля зрения.

Все исчезло, кроме неба.

Бездонное и багровое небо простиралось над ним.

Кровавое море. Огненные облака.

«А кто этот человек, который спускается с облаков? Он в сверкающем — глазам больно! —

златотканом халате, в красной чалме, будто в крови ее искупали! Даже усы его красные... Все красное! Все в крови!.. Кто этот человек?..

О, простите, простите меня, благословенный родитель!»

25

...Каландар рвался в горы Ургута, просто рвался! Уже несколько дней как места себе не находил! Ошеломляющую новость привез ему Калканбек со своей свадьбы: у соседней невесты, в горном кишлаке Куйган-тепе, появилась некая молодая богатая женщина, самаркандка, убежавшая из родного дома. Вместе со служанкой-няней она скрывается в горах от преследований. Никто не знает ее имени. Так что нельзя было быть уверенным, что это Хуршида-бану. Хозяева домика, где она жила, держали язык за зубами. Но не было и оснований думать, что это не она. Наоборот, то, что женщина бежала из Самарканда, то, что при ней старая нянька, что поразительна красота беглянки... Да, не случись тут удобной возможности освободить наставника, он, Каландар, давно бы уж был в Ургутских горах!

А освобождение, слава аллаху, прошло как по маслу!

Как только Али Кушчи обосновался в пещере Уста Тимура Самарканди, куда его доставили «похитители», Каландар объявил о своем решении поехать в Ургутские горы. А оттуда домой, в свои степные края... Если слухи не подтвердятся и таинственная беглянка окажется не Хуршидой, он, Каландар, прямо оттуда махнет домой — с него хватит Самарканда! Если же — да поможет в том аллах! — встретит он свою любимую Хуршиду, то они тем более не вернуться в Самарканд, а переждут, пока все утрясется в этом вечно беспокойном городе. И пережидать будут тоже в родных краях Каландара.

— Ну а если ты уедешь без нее, а она только потом отыщется? — обескураженно спросил Уста Тимур, который, как и все друзья Каландара, не мог свыкнуться с мыслью о предстоящей разлуке. Каландар развел руками.

— Если узнаю, тогда прискачу, отец...

— Узнаешь... и на крыльях прилетишь, — грустно пошутил Калканбек, которому предстояло проводить Каландара в горы.

Они собирались отправиться в полночь, чтобы к рассвету быть в кишлаке Куйган-тепе.

Вечером, когда стемнело, Каландар и старый мастер поехали вместе с мавляной Али Кушчи к могиле Тиллябиби. И месяца не прошло с часа ее кончины, а могила уже поросла травой.

Али Кушчи долго, до густых сумерек сидел над могилой. Молча, не шелохнувшись, Каландар смотрел на ссутулившегося мавляну, на его закрытые глаза и беззвучно шевелящиеся губы и думал с замиранием сердца о старом кладбище в Карнаке, у подножия Караул-тепе. Там без призора была другая могила — другой матери.

Ни слова не обронил Али Кушчи, возвращаясь с кладбища. Молчал Уста Тимур. Молчал, не находя слов утешения, и Каландар.

Подходил час отъезда, а все собравшиеся в пещере Уста Тимура люди смотрели на мавляну и молчали. Знакомые Каландару ремесленники, зашедшие для того, чтобы попрощаться с ним, тоже не нарушали молчания. Каландар взглянул наконец на старого мастера, сидевшего у наковальни. Тот понял его взгляд, поднялся, подошел к мавляне, который выбрал самый темный угол в помещении. Что-то шепнул ему. Мавляна встал, приготовился сказать напутствие Каландару. Но помешали

явившиеся в пещеру Мансур Каши и Мирам Чалаби. И Каландар вновь задержался с отъездом. Мансур Каши рассказал, что победившие заговорщики выставили для всеобщего обозрения и надругательства голову шах-заде на воротах медресе Улугбека. На трон посажен — прямо из зиндана! — шах-заде Абдулла. В городе вроде бы спокойно. Все попрятались в свои норы, но нашлись любители, которые ходят на Регистан смотреть эту пугающую новинку — отрубленную голову бывшего властелина Мирзы Абдул-Латифа. Многие, конечно, радуются тому, что произошло, но никто не знает, что их ждет завтра — лучшее, чем было, иль Худшее.

Каландару припомнились строки четверостишия, и он произнес их вслух:

Тот, кто на золоте едал,

Кто с трона всем повелевал,

Простому смертному подобно

Безгласным трупом тоже стал.

Уста Тимур удовлетворенно усмехнулся.

— Истинно так: «Безгласным трупом тоже стал...»

Али Кушчи как бы в размышлении тихо добавил:

— Только до этого крови человеческой пролил реку и подлостей свершил целую гору... Ах, эта изменчивая сладость власти! Огнем готовы себя сжечь за нее эти властолюбцы! У скольких жизнь кончалась так же, как у шах-заде, а урок все не впрок! — Мавляна посмотрел на Каландара. — Впрочем, о Мирзе Абдулле я слышал хорошие мнения, говорили, что человек этот добронравен. Может, для него будет поучительна судьба кровожадного отцеубийцы? Может, он постепенно и медресе откроет? А, шайр?

Каландар понял намек. Но, слушая свое сердце, все больше убеждался, что душою он уже в родном Карнаке. И вместе с Хуршидой — да исполнится эта его мечта! Он и сейчас, среди этих близких, дорогих людей видел в воображении, как едет с Хуршидой по зеленым холмам, по цветущей степи.

— О наставник! Да будет так, как сказано вами... Только мне никак нельзя оставаться. Надо ехать на родину!

— Почему, почему? — взволнованно заговорил Мирам Чалаби. — Не всегда же темная туча будет висеть над Самаркандом!..

Мансур Каши тоже принялся было уговаривать Каландара остаться, но его перебил Уста Тимур:

— Как говорится, лучше в родном краю быть чабаном, чем на чужбине султаном... Дети мои! Не невольте Каландара, пусть он сам выбирает, как ему поступить... Он мне сына родного заменил, и очень не хочется расставаться с ним, но ведь на родной сторонке и жаворонок — райская птица! Мой сын, я вижу, истосковался по земле предков. Отпустим его...

И старый кузнец воздел руки для напутственной молитвы.

Али Кушчи достал припрятанный в пещере хурджун. Протянул Каландару пригоршню драгоценных камней и похожий на пиалушку с невысокими стенками слиток золота.

— Пусть золото Улугбека служит доброму делу! — воскликнул Али Кушчи с чувством. — За все твое добро тысячу и тысячу раз спасибо тебе, Каландар! Не суждено будет мне еще и еще отблагодарить тебя, так пусть воздаст тебе всевышний за добрые дела твои...

Вот и остался позади Самарканд. А мысли Каландара все еще были с ним, этим удивительным, вечным городом, с его людьми. Печальное лицо наставника... Трогательное напутствие Уста

Тимура... Он не забудет их никогда!.. И сейчас душа его бродила по улицам и площадям самаркандским, по его бесчисленным переулкам и тупичкам. Мысленно попрощался Каландар с обсерваторией, с медресе Улугбека — сколько лет, лучших лет жизни провел он в их стенах! Молодым юношей он приехал в Самарканд. Покидает, когда ему перевалило за сорок и на висках проступила седина. Двадцать пять годков был он самаркандцем, и каких только мытарств не досталось на его долю! Но всевышний удостоил его и милостей своих, редких, не всякому доступных милостей: в этом великом городе стал он шагирдом больших людей, больших мудрецов — Мирзы Улугбека и Али Кушчи. И еще благодарение создателю за то, что он не допустил вступить на путь измены. Да, он, Каландар Карнаки, выполнил долг ученика перед учителями своими... А как он мучился, как терзался, когда этот прохвост Шакал исчез и казалось, уже ничем и никогда не помочь Али Кушчи. Но прав был старый мастер-кузнец: среди приближенных шах-заде нет таких, кто не продался бы за золото. Нашелся другой есаул. И вот вчера наконец наставник получил свободу. Из его, можно сказать, рук получил, рук Каландара Карнаки.

Теперь можно спокойно ехать на родину.

Спокойно? А если весть, принесенная Калканбеком и породившая у Каландара столько надежд, неверна, если беглянка, что прячется в кишлаке в горах, вовсе не Хуршида? Спокойно ли поедет он тогда домой? Сможет ли вообще уехать, так ничего и не разузнав о любимой?

Неясное, темное предчувствие томило Каландара. Болело в груди, и чем дальше отступал Самарканд, тем сильнее давала знать о себе эта непонятная, прежде не возникавшая боль.

Каландар и Калканбек ехали уже несколько часов. Ночь перешла во вторую половину, мягкая, черная, словно бархат, ночь. Каландар поднял голову. Звездное небо сияло над ним. Рассыпал золото свое Млечный Путь. Над ним чеканные очертания Большой Медведицы. Ниже горсть горячих угольков — Плеяды. Венеры — звезды утра — еще не видно, но уже слышались лай собак и первые крики петухов. Потом вершины гор озарились, будто от пламени огромного костра. То луна, большая, круглая, багровая, вступила в права, и все вокруг в ее свете стало еще более величественным и таинственным.

Каландар подстегнул коня... Удивительно: за последние недели две трава в степи вымахала так, что пешеходу доставала до колен. Даже лошади скакать было непросто... На его родину весна приходит позже, чем сюда. Там трава сейчас ниже, но вдоль берегов Сайхуна пламенеют первые тюльпаны. Это уж точно... Алым ковром лягут цветы перед ними, перед Хуршидой-бану и Каландаром, когда счастливая пара направит коней в родной Карнак... Если направит!

Взошла Венера. Еще заметней посветлел горизонт.

С холма на холм ехали всадники.

Вот впереди засверкала извилистая речка, за нею смутной массой темнели сады. Каландар обернулся к спутнику. Тот подбодрил своего коня, подъехал ближе, утвердительно кивнул головой: да, это и есть кишлак Куйган-тепе.

Опять нахлынула на Каландара неясная боль. Он спрыгнул с коня, в ручейке, бежавшем к речке, вымыл руки, ополоснул лицо. Свершив омовение, прочитал молитву — бомдод. Сердце билось встревоженно.

Они прибыли слишком рано, кишлак еще спит. Хуршиду он может и не увидеть сразу. «Да что ты городишь? — оборвал себя Каландар. — Мы же поедем не в дом садовника, а в дом невесты

Калканбека».

— Кончили молиться? Поехали, Каландар-ака.

Каландар открыл глаза, посмотрел вдаль. Туда, где над пологими холмами на фоне светлеющего неба глухой стеной поднималась темная полоса зеленых садов.

Щемящее предчувствие беды не проходило. Досадуя на себя, Каландар рывком поднялся, легко вскинул сильное тело в седло и, борясь со все возрастающим чувством тревоги, пустил аргамака[83] вскачь.

Эпилог

Осенний день восемьсот семьдесят второго года хиджры[84].

Большой караван — сто верблюдов — вышел из Самарканда утром, в час первой трапезы, в полдень миновал реку Даргом, и к трапезе обеденной открылась перед ним бескрайняя степь.

Ровная, она уходила до самого горизонта, разнообразили ее лишь плоские пригорки, полуразвалившиеся старинные крепости, небольшие, дворов пять-шесть, кишлаки и редкие, не то что в пригородных кишлаках-садах, купы деревьев.

Во главе каравана ехали четверо всадников. Четверо замыкали караван.

Могучие самцы-верблюды везли главные тяжести; ярко сверкали на солнце и мелодично в такт движению звенели медные колокольчики на шеях величавых животных. Много было в караване лошадей, в том числе благородных кровей, а также ослов и мулов... Люди в караване тоже были очень разные: важные вельможи, гарцевавшие на конях, в то время как жены их восседали в крытых шелком арбах, богатые купцы и купцы победнее — уж, конечно, без них и караван не караван; охрана, необходимая во всяком сколько-нибудь дальнем пути; бедный люд оседлал ишачков; дервиши топали пешком — поднимали пыль, покачивали дырявыми своими колпаками, славили аллаха.

Резко выделялись в караване двое в темных бархатных тюбетейках — знак мударрисов, — на которые были накручены легкие чалмы, в белых халатах — ридо — без рукавов поверх суконных чекменей. Один по возрасту подошел, пожалуй, к семидесяти, но выглядел бодро, снежно-белая борода подстрижена коротко, да и весь вид его прибранный, не по-стариковски подобранный. Второму, видно, лет пятьдесят, но он тоже выглядел моложе своего возраста, может, из-за отсутствия хотя бы единого седого волоса.

Благообразный худощавый старик, сдвинув широкие брови, что столь шли к его смуглому волевому лицу, напряженно всматривался то назад, туда, где остался Самарканд, то в гряде Ургутских гор, что тянулась по правую сторону от каравана; спокойная иноходь коня, на котором ехал старик, давала возможность для такого разглядывания, но во взглядах всадника были и беспокойство и какая-то нерешительность.

Караван пересекал очередное плоскогорье, когда неподалеку показался кишлак Карнаки-тепе, и тогда старик свернул налево и стал отъезжать от большой караванной тропы.

— Мавляна Али Кушчи! Куда вы?

Благообразный старик обернулся, крикнул:

— Не опасайтесь за меня, есаул. Не сбегу!

Есаул чуть смутился, прокашлялся, потом снова крикнул:

— Боюсь, чтобы вы не отстали от каравана, почтенный.

— Не беспокойтесь. Я помолюсь и догоню вас.

Воин проехал вперед, а спутник старика приотстал и присоединился к нему. Али Кушчи, приставив ладонь к бровям — старый, привычный жест, — долго вглядывался в Ургутские горы. Вздыхнул, слез с коня. Спутнику своему сказал:

— Мирам Чалаби подъедет сюда. Вы, мавляна Каши, ожидайте его здесь, хорошо? Я же скоро вернусь.

Медленно зашагал он вниз по лощине, к поляне у подножия холма.

«Вот она, та низина, то самое место!» Да, и тогда стояла осень. Только поздняя осень. И тогда был вечерний час, малооблачное небо... Они с Каландаром Карнаки, опасаясь нукеров шах-заде, спустились в эту малозаметную низину, укрылись тут, а потом узнали среди всадников повелителя-устода, и он сам догнал их, не дал выехать вновь на опасную дорогу. Вот здесь, на этой поляне, долго стояли они, обнявшись, и устод опять говорил о своем последнем желании. А на следующий день горестная весть, жестокая весть потрясла Самарканд, и не только Самарканд, весь Мавераннахр. Да, да, будто это было вчера: звучат наставления устода — вся его надежда на него, на Али Кушчи... Впрочем, в тот последний, роковой час устод Улугбек вспомнил и про любимца своего, мавляну Мухиддина...

Али Кушчи закрыл глаза. Жуткое, навеки запечатленное видение вдруг встало перед его взором...

Во мраке достиг Али Кушчи дома хаджи Салахиддина. Сколько бы Мухиддин ни совершил недостойных поступков, Али Кушчи не мог не навестить его, узнав о расстройстве разума мавляны, о том, что тот закован в цепи.

Странно, двустворчатые, обитые железом ворота в особняке ювелира, обычно накрепко запертые и с тщанием охраняемые, стояли распахнутыми. Под навесом у ворот, где всегда дежурили сторожа, было пусто. Огромный, как дворец, дом ярко освещен; по двору сновали женщины с кумганами и тазами.

«Что тут происходит? Стряслось что-то?» Али Кушчи поспешил к согнутому маленькому старичку, вышедшему во внутренний двор. Этот тщедушный старичок и был тот самый гордый, знаменитый ювелир хаджи Салахиддин! Увидев Али Кушчи, он разрыдался:

— Помогите нам, мавляна... Лекарь... Там лекарь!

Али Кушчи несмело открыл дверь в комнату мавляны Мухиддина.

Возле постели, на которой бесчувственно лежала, рассыпав волосы по подушке, молодая женщина, суетилась старушка и сидел на корточках худощавый человек в островерхом белом колпаке табиба.

Он быстро обернулся к вошедшему Али Кушчи, развел руками, сказал что-то старушке.

Это была нянька Хуршиды-бану, а молодая женщина — о, аллах! — сама Хуршида. Что сказал табиб, этого Али Кушчи не слышал, но тотчас догадался, когда через мгновение весь дом потряс вопль старухи.

На пороге появился Салахиддин-заргар, спотыкаясь, сделал несколько шагов и плашмя рухнул перед постелью внучки.

— О-о-о! Цветок моего сада! Увял, увял!.. Почему я не умер вместо тебя?! О-о моя последняя надежда! Кому теперь я отдам... все это? Этот дом. Все, что есть в этом доме... О, несчастный я!..

Дверь с резким стуком распахнулась, и в комнату вбежал мавляна Мухиддин. Рубашка его из грубой ткани была разорвана и обнажала костлявую грудь. Высоко задрав куцую бороденку и странно

подергивая головой, мавляна Мухиддин рассмеялся и сказал:

— Свадьба? Что такое? В нашем доме свадьба, а меня на нее не приглашают?

Он перевел взгляд с застывших в ужасе женщин на постель. Мгновение стоял, всматриваясь. Потом в глазах его мелькнуло что-то осмысленное. И лицо преобразилось трижды: лицо безумца, отталкивающее, дикое, лицо человека, сильно напуганного, наконец, лицо страдальца. Мавляна Мухиддин вновь посмотрел на Али Кушчи, на отца, на женщин, на постель.

— Доченька!!

Мавляна Мухиддин простер к телу Хуршиды руки, опутанные цепью, споткнулся о таз, с грохотом упал на пол и забился в припадке...

Али Кушчи незаметно вышел из комнаты.

А через час его постигло еще одно горе. Али Кушчи узнал о гибели Каландара: его незабвенный друг, его шагирд пал в неравной схватке с воинами Джандара, которыми, как потом говорили, предводительствовал какой-то Шакал. Каландар нашел в горах свою возлюбленную и тут же потерял ее — теперь уже навсегда. И Хуршида не выдержала позора, уготованного ей эмиром Джандаром, не захотела пережить любимого, погибшего, защищая ее от воинов эмира. Старая нянька доставила Хуршиду домой, и здесь, уже дома, она приняла яд.

Али Кушчи устало опустился на землю. Он вновь подумал о том, что часто мучило его в последнее время, что он старался отогнать от себя и что все-таки не уходило из глубин сознания. Он думал о том, что жизнь несправедлива и милосердие создателя не доказывается жизнью, которою живут добрые, честные люди, и что разум, в могущество которого он верил свято, вовсе не всемогущ и не может объяснить сколько-нибудь понятно, почему создатель всего сущего обрушивает меч правосудия то на таких кровожадных убийц, как шах-заде Абдул-Латиф, то на невинные жертвы, вроде Хуршиды-бану, на добрых и чистых людей, подобных Каландару. «Если есть правосудие в том, что ты всех наказываешь одинаково, а бедных и чистых к тому же чаще, чем жестоких и алчных, то есть ли в правосудии таком милосердие, человечность и справедливость? А если их нет, то правосудие ли это?»

Да, сколько лет прошло с тех пор! Сколько воды утекло!

Сколько событий пронеслось над миром, сколько людей покинуло его, этот бранный мир! А земля, небо, горы, повитые тончайшей пеленой тумана, все те же. Не двадцать лет, а двадцать дней, да что там, миг какой-то пролетел, а грустное лицо учителя стоит перед тобой живое, видишь его печально-заду мчи вый, отрешенный взгляд, а закрой глаза, и почувится, что слышишь его голос, глуховатый, проникающий в душу.

Прощаясь двадцать лет назад с Али Кушчи, повелитель-устод признавался ему здесь в этой низине у холма, что главная боль его сердца — неуверенность в том, увидит ли он еще раз свою родную землю, вернется ли в родимый край. А сегодня это главная боль сердца самого Али Кушчи. Он решил уехать из Самарканда, и боль эта теперь ни днем, ни ночью не покидает его.

А решил он уехать из Самарканда, любимого, трижды любимого, потому, что...

Двадцать лет он ждал, что рассеются тучи мрака над Мавераннахром. Двадцать лет жил в царстве тьмы, стараясь по мере сил следовать заветам устода. Скрывая труды свои от фанатиков-невежд, написал трактат по астрономии (да, да, тот самый, что начат был до зиндана, продолжен в зиндане), трактат по математике, комментарии к книгам устода. Горение свечи Улугбека, как мог,

поддерживал. То Мирза Абу Саид, взошедший на престол после брата, то сам ишан Ахрар, власть которого так и не кончалась, а богатства росли неимоверно, пытались выманить у него тайну клада сокровищ Улугбека — и прямо, и через доверенных своих лиц; его заманивали почестями; ему грозили казнью. Нет, он не поддался ни на посулы, ни на угрозы... Но есть ли польза в этой его преданности памяти учителя? Лучшее, что создал великий астроном Улугбек, все еще неведомо людям, науке. Оно скрыто. Его нельзя показать мудрецам Мавераннахра. И выходило: для того чтобы довести до людей науки великие открытия устода, надо было уехать из отчего края.

Нет, хотелось бы думать, что оставляет он не народ, не землю, которая слышала его первый младенческий крик, а оставляет он властителей этой земли и этого народа, недалеких умом фанатиков. Надо было ехать, потому что и помереть было можно, так и не доведя мысли учителя до тех, кто их понял бы и оценил по достоинству. Благо еще, что достопочтимые Абдурахман Джами и Мир Алишер Навои[85] протянули ему из далекого Герата руку помощи, ходатайствовали, чтобы ему разрешено было выехать туда. Славные люди! Но... как невыразимо тяжело уезжать, как тягостна мысль, что он, может быть, не увидит больше отчего края. Не слабый характером, Али Кушчи не удерживал слез, когда думал об этом.

Не сдерживал он слез и сейчас, в этой низине, на поляне, где последний раз видел незабвенного устода.

«Всевышний, я согласен на все невзгоды, что ждут меня в чужих краях, но молю тебя об одном: пусть прах мой будет покоиться здесь, в этой земле!»

Так он воззвал к небесам.

Потом стальным ножом, подаренным некогда Уста Тимуром, вырезал из почвы кусок земли. Он добавил эту горсть к другой, с могилы матери взятой, завязал дорогой мешочек потуже в пояс и пошел к условленному месту.

Там стояли двое: Мансур Каши и сравнительно молодой рыжебородый и голубоглазый мужчина в одежде мударриса.

— Ассалям алейкум, устод!

— Здравствуй, здравствуй, сын мой, Мирам. Вижу, хурджун твой полон. Все ли в порядке в Драконовой пещере?

— Все в порядке, все книги на месте. Я, как вы сказали, открыл лишь один сундук устода Мирзы Улугбека. От каждой рукописи взял из него по одному списку, а из рукописи «Таблиц» — три...

— А из книг достойного рая Кази-заде Руми?

— Здесь со мной одна книга его «Математики», одна книга по геометрии светлейшего Гиясиддина Джамшида, учитель.

— Похвально, сын мой. И все сундуки на месте?

— На месте.

— И вход ты хорошо закрыл?

— Хорошо закрыл, учитель.

— Благодарю тебя... Прошу, перенеси хурджун на моего коня.

И снова все смотрел и смотрел Али Кушчи на Ургутские горы, словно отсюда хотел увидеть Драконову пещеру. Но горы плохо были видны; день уходил, и облака, недавно редкие, густели на глазах.

Шагирды стояли перед Али Кушчи, склонив головы.

— Все, все помню... До сих пор помню. Перед той зловещей ночью г мы стояли вот здесь с устомом, и он поручал мне беречь спрятанные сокровища... Теперь я поручаю это вам. Всегда помните: сокровища, где собраны жемчужины разума мудрецов, необходимы если не этим, то будущим поколениям, потомкам нашим. Придет день, когда царство тьмы рассеется и над родной землей засияет солнце... Я не теряю надежды, что успею вернуться к тому радостному дню. Если же нет, если суждено мне умереть на чужбине, то вы передайте тайну сокровищ Улугбека своим доверенным шагирдам, а они — своим. И так от наших сыновей к сыновьям наших сыновей оно и пойдет, пока не дождется счастливого племени, при котором взойдет солнце над Мавераннахром! Тысячу раз благодарен я судьбе за то, что у меня такие шагирды, как вы. Если я чем-нибудь и когда-нибудь обидел вас, простите меня и благословите в путь...

Мирам Чалаби и Мансур Каши проводили его до большой караванной дороги. Поднимаясь на холм, Али Кушчи оглянулся назад в последний раз. Шагирдов своих он увидел, они долго махали ему вслед. А Самарканда увидеть уже не смог И садов не увидел. Не потому лишь, что все это было слишком далеко, а потому еще, что слезы застлали глаза Али Кушчи. Он решительно смахнул их с лица и направился догонять караван.

1971–1974

Примечания

1

Мавляна (ист.) — букв.: господин наш; титул мусульманских богословов и ученых.

2

Талиб — учащийся духовного училища — медресе.

3

Нукеры — дружинники на службе феодальной знати, правителей.

4

Устод (устоз) — учитель, наставник.

5

Шагирд — ученик, последователь.

6

Раджаб — название седьмого месяца мусульманского лунного календаря.

7

Джейхун (араб.) — бешеная, так арабы прозвали Амударью

8

Кеш — старинное название города Шахрисабза.

9

Чекмень — верхняя одежда типа халата из грубого сукна верблюжьей шерсти. Чилим — прибор для курения типа кальяна.

10

Шагбан — десятый месяц мусульманского лунного календаря.

11

Регистан — дворцовая площадь.

12

Дервиш — отшельник, аскет, блаженный, не от мира сего.

13

Ханака — странноприимный дом.

14

Шейх-уль-ислам — глава духовенства в государствах Средней Азии.

15

Меджлис — совет, собрание, съезд.

16

Бакаул (и с т.) — кухмистер, повар, лицо, ведающее дворцовой кухней.

17

Пир — духовный наставник мусульман, глава религиозной общины, глава религиозной секты.

18

Кулох — конусообразная шапка дервиша.

19

Хаджи — человек, совершивший паломничество — хадж.

20

Тархан — высокопоставленный вельможа, освобожденный от всех налогов.

21

Улем — представитель высшего мусульманского духовенства.

22

Маддох — рьяный последователь и восхвалитель веры.

23

Мюрид — последователь, ученик ишана.

24

Хассакаш — родной или близкий покойного, шествующий перед погребальной процессией с посохом.

25

Баги джахан — сад вселенной.

26

Дивана — юродивый, одержимый, сумасшедший.

27

Махалля — квартал.

28

Карнай — духовой музыкальный инструмент в виде длинной медной трубы.

29

Гармала — растение, применяемое при некоторых заболеваниях нервной системы. Считается, что дым гармалы оберегает от дурного глаза.

30

Самса — треугольный или круглый пирожок, обычно с мясом, который пекут в особой печи.

31

Курпача — узкое ватное одеяло, подстилка.

32

Фетва — решение по какому-либо юридическому вопросу, вынесенное духовным лицом на основании догматов религии и шариата.

33

Имам — 1) руководитель богослужения в мечети; 2) светский и духовный наставник общины.

34

Барласы — племя, из которого родом был Тимур.

35

Мюршид — духовный руководитель, наставник.

36

«Султан — тень аллаха на земле» (араб.).

37

Казий — судья, судивший по законам шариата.

38

Тарикат — путь духовного совершенствования. Согласно учению мистиков, состоит в глубоком «внутреннем» соблюдении законов религии, в отличие от шариата, требующего внешнего исполнения религиозных обрядов и правил.

39

Мурсак — верхний халат с короткими рукавами, который обычно носят старухи.

40

Хурджун — переметная сума из ковровой ткани.

41

Пирим — обращение: отец мой духовный.

42

Муфтий — толкователь шариата, законовед, дающий заключение по духовным и юридическим вопросам.

43

Фарсанг (пер с.) — мера длины, равная примерно 7–8 км.

44

Дувал — стена, глинобитный забор.

45

Шурпа — бульон, суп, преимущественно картофельный.

46

Хадж — паломничество к мусульманской святыне в Мекку, к храму Кааба.

47

Дубби акбар — Большая Медведица.

48

Хадис — предание о поступках и изречениях пророка Мухаммеда.

49

Счастливый царевич! (перс.)

50

Книги по астрономии.

51

Книги по медицине.

52

Джайляу — летнее пастбище.

53

Супа — глиняное возвышение, устраиваемое в саду или во дворе, рядом с арыком.

54

Таньга — серебряная монета в 15 или 20 копеек СССР.

55

Арбакеш — возница.

56

Махарам (ист.) — смотритель дворца.

57

Карабаир — название породы лошади.

58

Тельпек — мохнатая папаха из каракуля со свисающими завитками, которую носят туркмены.

59

Заргар — золотых дел мастер; ювелир.

60

Сеид — потомок пророка Мухаммеда.

61

Табиб — лекарь, врачеватель.

62

Карагач — лиственное дерево с густой кроной.

63

Кетмень — род мотыги с широким лезвием.

64

Кавуши (кауши) — кожаные калоши национального образца.

65

Сандал — сооружение для согревания зимой. В земляном полу есть выемка, куда кладут горячие древесные угли, сверху ставят квадратный столик — хантахту, накрывают его большим ватным одеялом. Потом садятся вокруг столика и прячут ноги под одеяло.

66

Танбур — струнный музыкальный инструмент.

67

Медиатр — тонкая металлическая пластинка, приспособление для игры на щипковых инструментах.

68

Диван—1) сборник стихотворений одного поэта; 2) государственный совет; государственная канцелярия, управление в средневековых государствах мусульманского Востока.

69

Хутба — проповедь имама в мечети по пятницам и праздникам.

70

Диван-беги (ист.) — 1) один из высших чинов при дворе; 2) лицо, ведавшее финансами во дворце крупного феодального правителя

71

Касыда — ода.

72

Чапан — теплый стеганный халат, заменяющий пальто.

73

Шайр — поэт.

74

Кукнар — мак; наркотическое средство в виде сиропа, приготовленного из сухих коробочек мака.

75

Вайдод! — о, ужас! Крик о помощи.

76

Кяфир — неверный, нечестивый, богоотступник.

77

Сай — горная река.

78

Чанг — струнный музыкальный инструмент типа цимбал.

79

Айван — веранда, терраса, навес.

80

Дастан — поэма, эпос, сказание.

81

Бейт — двустишие в поэзии народов Ближнего и Среднего Востока, обычно содержит законченную мысль. Из бейтов составляются газели, касыды, месневи, рубаи и произведения других жанров классической восточной поэзии.

82

Раббиулаввал — название третьего месяца мусульманского лунного календаря.

83

Аргамак — старинное название породистых верховых лошадей в странах Ближнего и Среднего Востока.

84

Хиджра — начало мусульманского летосчисления, 16 июля 622 г. пророк Мухаммед, спасаясь от преследований врагов, бежал из Мекки в Медину.

85

Навои (мелодичный) — тюркский поэт, философ суфийского направления, государственный деятель тимуридского Хорасана. См. истор. роман Айбека — Навои.